

«СРЕДНЯЯ РЕКА» В ЦЕНТРЕ СЕВЕРА

Становясь старше, а тем более – старее, всё более убеждаюсь в абсолюте той простой истины, что «нам не дано предугадать...». Мы, конечно, изо всех сил стремимся предвидеть, планировать, готовиться. Но...

Родители познакомились по переписке, когда мой будущий отец-сибиряк служил в армии. Будущая мама, родившаяся и выросшая на Северном Кавказе, оказалась из-за своих романтических грёз после окончания Кисловодского медучилища в Южном Казахстане. Юное создание, видите ли, перед распределением посмотрело фильм «Девушка-джигит» и обнаружило в себе тягу к лошадям и юртам. В невыносимую жару и пыль, в дальний аул за своей «заочницей» и приехал Николай Гриценко. Несмотря на то, что фотография, глядя на которую Николай писал письма, оказалась всего лишь фотографией её подруги (о, это женское коварство!), брак был немедленно зарегистрирован, и молодые уехали в Омск.

Перед планируемым появлением на свет первенца родители направились на благодатный Кавказ к Софье Величко – будущей бабушке. Доехать не успели. Во время пересадки с поезда на поезд в Москве пришлось срочно посетить роддом в районе ВДНХ, у гостиницы «Колхозная». Таким образом, получилось, что я родился проездом.

Может, потому-то мне особенно и близка строка Есенина: «В этом мире я только прохожий...».

Рабочий пригород Омска, в котором пришлось вырасти, с начала века носит экзотическое название Порт-Артур. Почему – Бог знает. Пригород – махрово пролетарский, и традиция хранит его криминальную славу. Как я понимаю, заработана она была в тяжёлые послевоенные годы. Но, и спустя тридцать лет после капитуляции окаянных гитлеровцев, представители разных концов миллионного Омска с уважением узнавали о моём порт-артурском происхождении.

Это я так долго подвожу к особенностям родной школы.

Бедные мои учителя! Я на самом деле до сих пор не пойму, как они умудрялись обучать по сорок-сорок пять оглоедов в каждом классе. Их вечный стресс, их руки в вечном мелу, их лоснящиеся брюки – ветераны педагогического труда!.. И ладно – я... Туп в алгебре, как дедушкины валенки. А Серёга Кудымов?! Он же в выпускном классе читал по слогам!!!

В общем, учителем я быть не собирался.

Ну и последнее из предыстории.

Мой старший двоюродный брат Сергей жил в Норильске и, приезжая в отпуск, рассказывал о Крайнем Севере. Он был рыбаком и охотником, романтичным и жизнерадостным. Рассказы меня завораживали, хотелось быстрее повзрослеть и оказаться в том краю чудес. Я начал бессознательно готовиться к тому, чтобы куда-то туда уехать. Но школьнику край чудес «светил» еще очень нескоро. Между тем получалось, что в детстве и юности приходилось проезжать на поезде через Тюмень. И только зимой. Помнятся вечерние тюменские окрестности из окна вагона. Мелькание бесконечной череды чёрных елей.

Сумрак длинных теней на снегу. Холодно. Неуютно. Мрачно. Таким сложился в голове образ этой громадной области. Как тогда казалось – чужого и чуждого края.

«Нам не дано предугадать...».

ЗВЁЗДЫ ПОРТ-АРТУРА

Воспоминания детства

*Что ж выцедила память, Боже мой,
Сквозь времена с ушедшими страстями?
Ряды заборов мокрых под дождями,
Дом деда Павла с крышей земляной.
Наш пригород бандитский, знаменитый,
Где в лужи смотрит каждое окно,
Где сладостно дешевое вино
И фонари шпаною перебиты.
Где вечный грохот черных поездов,
Соседских драк хмельные переливы,
Оркестров похоронные мотивы
Да надоедливость июльских комаров.
Другу детства*

Города по-разному причудливы. В том числе и названиями частей своих. Например, в Омске был когда-то Семипалатинск, и до сих пор есть Сахалин, Амур и Порт-Артур.

Омский Порт-Артур – это деревянный, в тополях и сирени пригород, где я вырос, откуда разлетелись по свету мои школьные друзья. До революции его называли также Атаманским хутором, после революции, в двадцатые годы – городом Ленинском. Но при этом он всегда был и остается Порт-Артуром. Там строили гнезда наши родители. Оттуда произошли и мы. Там куражились, пока не повзрослели, будучи при этом уже не первый год женатыми. Балбесы.

«Мы все – птенцы из Порт-Артура.

И так навек заведено,

Что наши пьяные натуры

Переменить нам не дано».

Незамысловато? Согласен! Но другу Кольке понравилось, и это я посчитал главным.

Была такая песенка: «Детство мое, постой! Не спеши, погоди...». Были времена, когда каждое дерево, каждая травинка, каждая доска в заборе имели свой смысл, а каждый день был длинным и наполнен массой событий.

Высоко-высоко, неслышно прополз самолет, оставив белый след.

По улице проехал на велосипеде дядька в штиблетах. Заднее колесо виляло «восьмеркой», а цепь поскрипывала с каждым оборотом педалей. Правая штанина у дядьки была задрана и стянута бельевого прищепкой.

В тени сирени, обернув передние лапки хвостиком, сидел на завалинке черный соседский кот. В неподвижном напряжении он разглядывал муху, которая ползала рядом. Муха часто взлетала и, сделав небольшую петлю, садилась туда же. Кот нервно подергивал ушком.

Каждая минута была эпохой.

Озеро Моховое. Июльский полдень. Зной.

Неподвижный мир на этой и той стороне изнывает под белесым небом. Взлетев с камышинки, огромная стрекоза трепетно прошелестела возле уха. Сквозь прозрачную воду с рыжеватым оттенком идеально просматривается дно.

Штиль.

Мне не до купания. Дома живут и регулярно хотят есть аквариумные рыбки, и отец, как всегда, отправил меня, десятилетнего, за кормом. Потому мне интересны здесь только дафнии, скопления которых я, аккуратно поведя сачком туда-сюда, переправляю в алюминиевый бидончик, стоящий у ног. Но это, во-вторых.

А во-первых, жара разносит приторную вонь тины и дохлятины. В нескольких шагах, на уресе воды, среди зелени битых бутылок разлагается труп собаки.

Оскалился белыми клыками череп. Пара ребер вылезла через прогнившую шкуру. В ту сторону лучше не смотреть, стошнит.

Вдали отгрохотал и утих грузовой поезд.

В тишине на соседней Первой Новой завыл духовой оркестр. Кого-то начинали хоронить.

Детскую душу кольнула тревога: неужели и я когда-нибудь умру?

Оркестр выл все ближе и громче. Процессия показалась из-за поворота. Горе двигалось медленно-медленно.

Музыкант, обернутый удавом толстой трубы, глядел на ноты и надувал щеки, вгоняя в тоску все ближние улочки, которые его слышали.

Повзрослев, придя из библиотеки, прочитаю:

«Какая сила в духовых оркестрах!

Какая сила и какая грусть

В мелодиях забытых и известных

И вытверженных нами наизусть...».

В детстве смена времени года означала коренную перемену собственной жизни.

Поздняя осень, когда мертвые листья шуршали по замерзшим лужам и окаменевшей земле, а снега еще не было, вызывала отторжение. И я замыкался, отгораживался от природы. К зиме относился равнодушно. Прочие периоды были куда лучше.

В разгар весны по улице Клары Цеткин бойко тек ручей, и можно было пускать кораблики. А также измерять глубину, зачерпывая воду в сапожки и вообще намокая по пояс.

Потом разливался Иртыш, желтели одуванчики, цвели яблони и заканчивалась школа. После краткого, но нервозного ритуала показа родителям итогового табеля начиналась полнокровная жизнь.

В июне природа Порт-Артура благоухала вечной юностью. За эту сказочную, обманчивую перспективу я и любил больше всего июнь.

Имел свое очарование и сентябрь.

Бабьим летом все жгли по вечерам сухую ботву. Улочками от костров разливались сладкий дым и умиротворение. Звуки становились мягкими, приглушенными. Старушки на лавках отсиживали последнюю теплую неделю. Только скверно было, что начинался учебный год и подготовка к урокам. Вместе с этим наступал ералаш, когда в школу не пускали без сменной обуви, которую одни забывали, а другие не хотели носить.

По утрам на входе орду школяров сдерживали и проверяли дежурные с красными повязками. Стоял завуч. А невидимые ему мальчишки выглядывали из окон второго этажа и через форточку бросали сменку товарищам на улице. Товарищи проходили, поднимались на второй этаж и бросали ее следующим. Потом звенел звонок, и в переполненных неблагополучных классах появлялись учителя. Они были добрыми, забитыми жизнью людьми с обидными прозвищами: Гиббон, Елена Пьяная, Иван в Квадрате. Мы огорчали их, и они ставили двойки.

Затем все расходились, обоюдно довольные лишь тем, что на сегодня неприятности закончились.

А еще в сентябре проводилась кампания по сбору металлолома. Ученики, разбредясь по огромному пригороду, соревновались в том, кто больше свезет на школьный двор ржавых железяк.

За тархтящей телегой нашего класса каждый вечер следовало по два-три десятка рыскающих по сторонам оглоедов. На телегу летело все, что плохо лежало, плохо стояло или было плохо закреплено.

Когда темнело, не желая идти домой и готовить уроки, мы жгли на пустыре костер и пекли картошку, добавляя штанам к полученной ранее ржавчине костровой пепел.

Когда говорят о благах старых, добрых времен, я вспоминаю зимние ботинки, в которых посещал школу. Почему-то они были не кожаные на натуральном меху, а дерматиновые на искусственном. Ноги мерзли нещадно. И пальтишко покупалось на два-три года. Оно быстро становилось коротким, особенно рукава. Так что пока идешь – не вспотеешь.

После школы надевались валенки и стеганые, ватные телогрейки. Всеми способами обманывая родителей, под предлогом чистки двора или привоза воды с колонки, мы рвались на улицу, чтоб вернуться с ног до головы в снегу, с обледенелыми варежками и подмороженными на руках пальцами.

Зато на новогоднюю елку для нас вешали несколько сказочных фруктов – мандаринов.

Весна всегда приходила в феврале, и каждый раз это бывало ночью.

Когда Порт-Артур спал под старым снегом с вуалью печной сажи, прилетал ветер. Он прилетал внезапно из ниоткуда черного звездного неба. Он был первым сырым ветром за зиму. Он прилетал яростно, начинал гудеть в проводах и покачивать фонари на столбах. Своим напором он ставил зиме ультиматум, начиная тут же поедать её снежный саван.

Мрачным, серым утром жители Порт-Артура выходили из своих калиток на гололед. Подняв воротники и поеживаясь, они шли на остановки автобусов и к проходным заводам. Они мысленно ворчали на непогоду. Глупые люди не знали, что ветер – это весна.

Потом у ветра иссякали силы, и он улетал куда-то набраться их заново. А холода держались еще почти месяц. Когда же весна приходила вновь, в ипостаси дневного тепла, время зимы кончалось.

Летом, слоняясь по траве и пыльным канавам деревянных улиц, пацанва собиралась гурьбой. Играли в разные войны, индейцев, крестonosцев, вышибалы, прятки, казаков-разбойников. Ходили купаться на Иртыш и озеро Чередовое, крутились на великах или гоняли футбол. Жизнь текла мирно.

Но среди нас, подростков, были отверженные.

Когда все наскучивало, а на горизонте появлялся Валерка с Шестой Моховой или Ромка с Третьей Новой, толпа с улюлюканьем гналась за ними. И не для того, чтобы отдубасить, а так просто, из глубокой неприязни.

Не знаю, с чего эта неприязнь завелась и как охватила компанию. Помню только, что данные типы мне тоже были не очень симпатичны, хоть я и не участвовал в погонях.

Потом в околотке поселился Серега. За смесь замкнутости и заносчивости его тоже не полюбили сразу и стойко не любили потом. Изредка давали в морду. Продолжение было печальным.

Все незаметно повзрослели. Сбитый телом, кривоногий Валерка, отвертевшись от обвинения в изнасиловании, сел по малолетке за воровство. А красавцы Ромка с Серегой, едва отметив совершеннолетие, ушли на двенадцать лет за убийство.

Беззаботно прихлебывая портвейн, они поздним вечером на автобусной остановке запинали насмерть пьяного мужичка. В несколько приемов, не торопясь.

Очень хотели папа с мамой, чтобы я учился хорошо. И, видимо, понимали, что не вся сила в зубрежке. Поэтому, заставив читать в пять лет, до четырнадцати заботились, чтобы книги имелись в изобилии.

У всех был телевизор, у нас нет. Из ленивых радостей оставалось только содержимое библиотек.

Между тем, в средних классах к ценным доблестям незаметно добавился кругозор. И как ни странно, обнаружилось, что персоны отличников и всезнаек не совпадают. Саня Тертышный учился еще более-менее сносно. А вот Серега Есмагамбетов по прозвищу Студент был троечником и ушел в профтехучилище. Вечный же второгодник Мишка Винарьев, открывший мне Уэлса, Беляева и прочих фантастов, как-то быстро после восьмого класса отправился в лагерь общего режима.

Скажу по опыту: самое трудное дело – учиться в школе. Можно сказать и наоборот: учиться в школе – самое трудное дело.

Мои родители молчали, а вот чужие заявляли: «Работать тяжело, это вам не в школу ходить». Оказалось враньем.

Получив аттестат и не добрав баллов в университет, я устроился работать на большой завод, в инструментальный цех. И что? Красота! После смены – никакой головной боли о страшных уроках. И стало понятно, что самое безответственное – быть пролетарием. Как те, кто страдал послешкольным ярмом. А может, они никогда нормально-то и не учились?

Дома спрашивали:

– Ну, что ты получил за диктант?

– Четыре.

– А Саша Закутаев?

– Пять.

В семье повисала тягостная тишина.

Тройка по математике породила немую драму. И в любом случае следовал оргвывод: «Сегодня гулять не пойдешь!»

И когда в универ я, все-таки, поступил, алгебры не было. Слава Богу, факультет гуманитарный. Заканчивая первый курс, шел с отцом из бани. Рассказывал ему о занятиях. «А ведь меня, Вадька, из третьего класса в свое время выгнали», – признался батя.

Порт-артурцы любят собирать грибы. За городом начинаются березовые рощицы, называемые колками. По их краям в урочное время появляются белые, обабки, подосиновики, сыроежки, грузди и тому подобное.

Самый хищный грибник – мой отец. Обычную для других фразу: «Я собрал два (три, четыре) ведра», или, тем более со словом «целых», – отец не произносил никогда. Не было повода. Только в байду, которую он всегда вешал на плечи, двигая в лес, входило шесть ведер. Плюс в каждую руку брал по четырехведерной корзине. И никогда в корзинах на обратном пути не было березовых веников или полевых цветов, маскирующих бесплодность усилий. Только грибы.

Так что одно из основных воспоминаний детства – обработка бесконечного количества даров леса.

Как-то стало известно, что пошли опять, и поехал отец за ними с соседом на электричке. Через сутки вернулся и сказал: «Бери тележку, айда!».

Взял я повозку с двумя большими железными колесами, на которой мы всегда воду возили с колонки, и покатил. Прикатил туда, где на перроне дядя Саша Яковлев сидел и караулил двенадцать мешков опят. Перевезти их я смог только за два раза. Изрядно надрываясь.

В другой раз вернулся батя на «Жигулях» из леса и стал машину опорожнять. Сначала пристегнутый багажник над салоном, потом багажник сзади, потом салон. А пара мужиков, ремонтировавших нашу кровлю, в это время спустились. Подошли они к гаражу. Увидели горы белых грибов, мотнули головами и захохотали дико. Наверное, это была истерика.

Рыбаков в Омске всегда водилось больше, чем рыбы. И в Порт-Артуре многие мужики – рыболовы в мыслях заядлые, но редко им улыбается удача. В основном утешаются они мифами о том, что однажды...

А теперь – былъ.

Раннее зимнее утро. Засветло будит меня отец: «Поехали! Я информацию получил».

Приехали на озеро Чередовое. Рядом – телевизионный завод, с которого в этот водоём почему-то в том году теплую воду спускали, и потому не замерзала огромная полынья.

«Делай, как я!», – сказал отец и стал огромным сачком водить в черной бездне туда-сюда. Скоро в сачке оказался карп. Потом – следующий. Через час – третий. Уже рассвело, и мы поехали домой.

На кухне безменом взвесили рыбин, получилось почти десять килограммов.

Радостные разбудили маму. Она вышла, посмотрела. Сказала: «На кой черт мне это сдалось!» – и вернулась досыпать.

Детские впечатления о садизме и мазохизме.

Сначала о мазохизме.

Чтобы в семье бывало мясо, отец держал ненасытных кроликов. В июле мы с ним ехали мотоциклом на луга за сеном.

Все знают: «Коси, коса, пока роса...». На самом же деле, пока докатишь от города, пока найдешь подходящее место – солнце уже высоко.

Отец косил, я ждал. А вокруг жара. Стрекот кузнечиков. Запах клевера и кашки. Истома.

Под яриллом в этих ароматах отключался я на часок, прикрыв глаза рукой.

Специфическое было удовольствие. Вставал от пекла дурак дураком, но надышавшись луговой прелестью и набрав сил от земли.

А как-то раз поехали с друзьями на рыбалку. Всю ночь зверствовали комары, и мы дурачились. С утра проверяли закидушки. Потом пили чай.

Наконец-то, забравшись подальше от всех на высокий берег, натянул я на глаза кепку и завалился среди степной полыни. Дурманил горький дух, палило солнце. Кайф! Уснул мгновенно.

Проснулся к вечеру. Всё это время я пролежал недвижно, с одной рукой на груди. И теперь наискосок белела полоса, а все остальное было красным. Через полчаса багровеющая грудь стала ныть очень сильно. Невыносимым болезненным было даже прикосновение рубахи. Когда приехали домой, уже появились гнойники, поднялась температура. В общем, сильный солнечный ожог.

Дальше о садизме.

Сосед-ветеран дядя Ваня Гавриленко сказал: «Клин вышибают клином. Давай я тебе, Вадик, баню истоплю. Попаришься, и все мигом пройдет». Я, конечно, засомневался, но герой обороны Мурманска был непреклонен.

Зашел я в парилку. Мамочка! Грудь как кипятком ошпарило. Упал я на пол, облился холодной водой. А дядя Ваня из-за двери вещает. «Ты у меня хрен выйдешь. Я тебя запер. Парься так, чтоб слышно было».

Что делать? Давай я веником по полу хлестать и кричать, якобы от удовольствия. А дядя Ваня из предбанника: «Молодец! Давай еще шибче!». Ну, я веника не жалею, мочалю его об пол. Себя же водичкой прохладной успокаиваю.

Тем не менее, когда вернулся домой, температура скакнула и вовсе под сорок. Всю ночь мама лечила меня сметаной и ругала дядю Ваню.

Был в Порт-Артуре большой кинотеатр «Мир». Сколько помню – родители еженедельно туда ходили. Под ручку, как положено. Дома фильмы обсуждались во время чистки картошки, мытья посуды или шинковки капусты. В «Мире» начали показывать американский фильм «Спартак». Родители его посмотрели. Пошел и я, но взять билет с первого раза не смог. К кассе народ проникал буквально по головам. В зале же не только не было свободных мест, но и стоящими зрителями были заняты все проходы. При этом некоторые мальчишки сидели на сцене перед экраном, а также виделись тени ползающих по вентиляционным решеткам потолка.

Воистину, для пролетарского Порт-Артура кино было «важнейшим из искусств», а точнее – единственным.

У пригорода свой исторический эпос.

Из рассказов взрослых я уяснил, что самое интересное время было после войны.

Территория Порт-Артура с востока опоясана железной дорогой, линией, по которой ходят грузовые составы. По ту сторону железнодорожной насыпи когда-то располагался Красный поселок. Так вот эта насыпь периодически становилась линией фронта между тамошней шпаной и нашей. Как кое-кто утверждал, при этом сталкивались одновременно сотни человек. Не только кастеты, палки и камни, но даже ружья порою применялись.

А самое интересное место было у кладбища на улице Марьяновской, где жилой сектор вплотную подходит к кладбищенской ограде. Про банду «Черная кошка» я узнал в глубоком детстве от бати, который братьев Вайнеров никогда не читал, а до выхода фильма оставалось еще лет пятнадцать. «Кошка» омского фасона грабила способами экзотическими, используя страх мирных жителей перед покойниками.

Порт-Артур – безусловный лидер по бандитской исторической славе в городе. Когда представляешься: «Я из Порт-Артура», – ты сразу же в авторитете известного свойства.

Раньше Порт-Артур пел. И как пел!!!

В начале двадцатого века на территорию Омской области перебралось много хохлов. В том числе и мои предки по отцу прикатили на телеге из Таврической губернии. И район, где они поселились, был назван Таврическим. А рядом – Полтавский, Одесский.

Из тысяч семей сотни потом переехали в город и по праздникам, и без особого повода собирались вместе по родственному и дружескому признаку. В нашем доме бывали часто.

Это происходило еще до появления майонеза, а значит – до эры «селетки под шубой» и «оливье», то есть во времена классической простоты: утром ошипанная и к обеду изжаренная курица, огурчики, грибочки, картошечка... Сначала – весёлый родственный галдеж и стук вилок, а после третьей рюмки кто-нибудь запевал:

*«Всюди буйно квітне черемшина
Мов до шлюбу вбралася калина...»*

И два десятка голосов подхватывало:

*«Вівчара в садочку,
В тихому куточку
Жде дивчина, жде».*

Начало лета, благоухание. В распахнутые окна заглядывают свежезелёные ветви яблони. Последние лучи тихого, ласкового заката.

В наступившей после песни короткой паузе слышно от соседей – Карчевских:

*«Ой, мороз, моро-оз,
Не морозь меня...».*

Там предпочитают русский репертуар и поют очень здорово.

Что ж, ладно. Наш стол набирает в грудь воздуха и выдает:

*«Розпрягайте, хлопці коней
Та лягайте спочивать,
А я піду в сад зелени,
В сад – криниченьку копать...».*

Пели несравненно больше, чем пили. Пели с гармонью и без. Пели весь вечер до темна за столом. Пели ночью на улице, когда расходились:

*«Рідна мати моя, ти ночей не доспала,
Ти водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала...».*
Пели...

А на почве алкоголизма в Порт-Артуре всегда было много неимущих.

Любимым местом люмпен-пролетариев были подступы к магазинам, которые в народе называли «одинадцатым», «восемнадцатым» и «пятнашкой». В них торговали продуктами, а также спиртным: водкой по два восемьдесят семь и бурдой под этикеткой «Портвейн». Тут же принимали стеклотару и изредка сюда завозили пиво, разлив которого становился для окрестностей событием очень значительным. Нужно было видеть, с каким энтузиазмом красноносые мужики подкачивали падающее в бочках давление!

Алкаши бывали одинокими, бывали семейными парами, а случались и целыми династиями. Поскольку пустая бутылка из-под кефира равнялась ценою булке хлеба, то голодная смерть пьяницам не очень-то грозила. А вот интоксикация с летальным исходом случалась. Это называлось «сгореть».

Насчет магазина.

Почти всегда за продуктами семья отправляла меня. Команду давала, как правило, мама: «Купишь пачку маргарина и комбижира полкило. Только

возьми комбижир, а не говяжий. Хлеба – две булки. Одну – за шестнадцать, другую – за двадцать. И бутылку кефира. Всё запомнил?».

Чтоб от нашего закоулка дойти до ближайшего гастронома, нужно преодолеть полтора километра. Это легко, ведь никто не гонит. Да и обратно волочись, как знаешь.

В магазине, как правило, стояла небольшая очередь, и было время разглядеть, что в пирамидах рыбных консервов и грязном халате продавщицы за последний год ничего не изменилось. Потом я складывал продукты в сумку, получал сдачу и топал домой.

Тяжело было только однажды. В шестьдесят девятом году возникла угроза войны с Китаем, а родители помнили, что такое война. В общем, пришлось тащить из гастронома пятнадцать килограммов соли. А сам я в это время не весил и тридцати.

Периодически, летом, в хорошую погоду устраивался народный суд над добрейшим холостяком дядей Васей Гамызенковым. Из дома на улицу выволакивали стол, крыли его кумачом. Над столом поднимался серьезный чужой человек в мятом галстуке и зачитывал какую-то бумагу. Во время этого мероприятия полтора десятка старух кучно сидело на табуретах у крыжовника, а перед ними сутулился похмельный дядя Вася. Он краснел, но даже при всем напряжении своем не умел говорить не матом.

Вообще, зрелища для порт-артурских пацанов были редкими, но порою чрезвычайными: то на Иртыше половодье, то на чьем-то дворе жена мужем зарубленная.

Но чаще всего зрелищами становились пожары. Порт-Артур всегда был деревянным и горел охотно.

Дым видели издали и бежали в ту сторону. На соседней улице присоединялась еще ватага. У горящего дома переминались с ноги на ногу группы «болельщиков» с вытянутыми шеями. Невдалеке, как правило, стоял комод – единственное, что успели вынести хозяева.

Сновали вокруг дома и кричали друг другу пожарные: «Поддай! Ещё! Ещё!». Начиная «стрелять» шифер на крыше. «Ох, ё...» – пронеслось по толпе. Пацаны смотрели зачарованно, без шуточек. Огонь показывал себя мощной, грозной стихией, с которой не побалуешь.

А пожарище специфически воняло потом несколько суток, нагоняя тревогу на всякого, проходившего мимо.

Сегодня Порт-Артур числится в Ленинском административном округе, который до этого назывался Ленинским районом города Омска. Поэтому и рынок здесь – «ленинский», и даже церковь – тоже, прости, Господи, «ленинская».

Хорошо, что я – не ровесник советской власти и не видел разгара-угара культурной революции, когда храмы превращали в склады, клубы и конюшни. Тем не менее, борьба с религией велась и при мне. Выражалось это, в частности в том, что в пасхальную ночь у входа в церковный двор дежурили сотрудники

неброского ведомства и делали то, что сейчас называют фэйс-контролем. В отдалении от фонарей стоял «воронок».

Нас, подростков (профилактически почти поголовно принятых в комсомол), не пускали. А попасть внутрь хотелось. Тогда мы обходили двор с другой стороны и перелезали через высокий забор, падая на головы старушек, ожидавших освящения куличей. Потом протискивались в храм, набитый народом, как трамвай в час пик.

А утром колотили крашеные яйца с чувством добытой культурной сопричастности.

Опять насчет пасхи и борьбы с религией.

Ежегодно за пару дней до Воскресения Христова в булочном магазине, называемом в народе «девяткой», появлялись куличи. Нормальные куличи классической формы. Но было довольно смешно, что на ценнике писалось: «Кекс весенний».

И весь околоток знал, когда «кексовая весна» наступит в следующий раз.

Родители были железнодорожниками и, пользуясь бесплатным билетом, каждое лето возили нас с братом на Кавказ.

Южные родственники искренне полагали, что в Сибири медведи ходят даже по улицам. И при этом относились к сибирякам как к людям, которым в жизни не очень повезло. А ведь где-то так и было на самом деле.

Например, как-то в начале осени одноклассник по восьмому «бэ», Юрка Попов зашел к нам во двор.

«Это что такое?» – спросил он, ткнув пальцем в сторону виноградной лозы.

Получив ботаническую экзотику в подарок от соседа, мой батя растил её пятый год. Закапывал в сентябре под землю и извлекал оттуда, подвешивая к карнизу в мае. При этом он добивался размера виноградин до крупного гороха. Но и «горох» этот поспевал только через раз, да и то весьма относительно.

«Это – виноград», – ответил я.

«Как? – по-настоящему обалдел Юрка, – А я думал, что он на деревьях растет».

Ставропольская бабушка Соня помидоры никогда не сажала. Они каждый год всходили на её огороде просто так.

Но самые вкусные помидоры растут не на Ставрополье. Самые вкусные и мясистые растут в Порт-Артуре. Впрочем, в южных краях томаты, действительно, растут, а здесь их выращивают «через не могу». Несколько дней в блюдцах под мокрыми тряпочками замачивают семена и в конце февраля сеют их в деревянные ящики на подоконниках. В марте рассаду пересаживают пореже в большее количество ящиков. В мае её поселяют в парник. В июне высаживают в грядки, накрывая почти все лето на ночь целлофаном. И поливают, поливают, поливают. Каждый вечер.

Да уж. Сельскохозяйственные усилия везде разные.

Мы с женой приезжали в город Гагра еще при социализме. В СССР начиналась перестройка, но до Абхазии она пока не докатились. Под мандаринами и

пальмами-дикоросами здесь было сказочно уютно. Даже милиционеры в ежедневно-белых, праздничных рубашках были томными. На всем побережье не водилось ни одного «Москвича», только «Волги» и «Жигули» последней модели. Настоящие субтропики и всегда теплое море. Рай.

Домовладелец, у которого мы сняли комнату, – лицо кавказской национальности – был очень важный. Он не разговаривал с нами. Даже здоровался, кивая таким образом, что не понятно было, кивнул он или только показалось. В общем, сноб.

Через неделю квартирования мы в очередной раз возвращались от моря на ночевку. Заасфальтированный двор, представлявший из себя огромную виноградную беседку, как обычно освещался электричеством. На средину двора в тот вечер был водружен стол, за которым сидел с мрачноватым видом хозяин. В большой керамической миске громоздился нарезанный салат, рядом угрожающе, как баллистическая ракета, стояла заткнутая бумагой темно-зеленая бутылка из-под шампанского, этикетка на которой отсутствовала.

Хозяин вдруг открыл рот и сказал с легким акцентом:

– Добрый вечер! Прошу за стол.

Он желал продолжить какой-то преждевременно законченный праздник.

Разговорились.

– Меня звать, – заявил он, – как президента Эйзенхауэра!

– Дуайтом?

– Нэт. Аиком! Его тоже звали Аиком.

– Дуайта Эйзенхауэра сокращенно звали Айком.

– Какая разница!

Выяснилось, что эрудит получил инженерное образование в большом городе Ростове-на-Дону, но решил вернуться и жить дома, в обстановке скромного парадиза.

– Откуда овощи, – спрашиваю, – я видел в вашем саду только деревья.

– Да вот, вскопал небольшой участок на склоне горы...

– А поливать?

– Зачэм?

Это «зачэм» вызвало у меня глубокий вздох огорчения за родителей, Порт-Артур и всех земледельцев Сибири.

В Порт-Артуре минимум в радиусе полукилометра все знают друг друга. Как в деревне. Чем дольше живешь здесь, тем больше наблюдаешь печальное. Русские, обрусевшие украинцы и казахи никак не могут вырваться из бедности. Их аккуратные палисадники с ирисами и сиренью составляют какой-то уют, но не особо подают надежду.

Богатеют лишь неприкаянные в забытые времена цыгане. Осев на здешних улицах, они строят каменные особняки, которые высятся гулливерами над деревянными карликами. Периодически у особняков собираются иномарки.

* * *

Ночь. Силуэты крыш слушают тишину. Открываю калитку. Лампы на электрических столбах перебиты давным-давно и их никто не вкручивает, потому на улице мрак. Мрак и безмолвие.

Непроизвольно, как в юности, вспоминаю Лермонтова:

«Выхожу один я на дорогу,

В темноте кремнистый путь блестит...».

На самом-то деле – ничего не блестит. Только звезды.

ГОСТИНИЦА

*Почему ж эти птицы на север летят,
Если птицам положено – только на юг?*

Владимир Высоцкий

– Мы не можем взять Вас на работу. Звонили из окружного отдела образования. Им стало известно, что Вы сбежали от распределения. Вас ведь распределили в Омск?

– Да.

– Ну, так и возвращайтесь к себе. Мы не можем взять Вас на работу.

* * *

Возвращаться я не имел права. Меня сильно отговаривали ехать на Север, а потом слишком громко провожали.

* * *

Под серым небом на дворе моросил холодный дождик. Потемнели и уплотнились песчаные колеи строящегося Надыма. По бетонке улицы Комсомольской туда-сюда торопливо шли люди. Город был оживлен окончанием северного лета, возвращением надымчан из отпусков.

Респектабельно одетые дамы, из-под зонтиков внимательно глядя под ноги, энергично обходили редкие лужи. Мне же идти было некуда.

Успокаивающее занятие – смотреть, как на воде лопаются пузыри. Только сигаретку надо прятать под ладошку от капель.

Начинается самостоятельная жизнь.

– Скажите, где у Вас гостиница?

– Какая?

– Любая.

– Там, во вставке – «Полярная».

– Спасибо.

Рядом с тем местом, куда было указано, на невысокой, но крутой бетонной лестнице и подле неё стояла, поеживаясь, толпа мужиков. Большинство из них были одеты в защитного цвета энцефалитки, на ногах – бродни. За дверью на лестнице был винно-водочный отдел, который пока не работал.

Прохожу мимо, к другому подъезду, мурлычу под нос:

«Ах, гостиница моя, ты – гостиница.»

На кровать присяду я – ты подвинешься...».

Певали когда-то. Я и два товарища в позапрошлом году ехали в экспедицию через Салехард. Поселились, как сейчас помню, в филиале гостиницы «Ямал» на улице Республики. Купили польской водки и венгерских салатов. Вытащили гитару. Сначала пел Андрей – про гостиницу. Потом Игорь – про девушку. Высокохудожественные пальцы чертовски элегантно брютета – Игоря Белича по прозвищу Бей – чарующе бродили по струнам:

«У ней такая маленькая грудь

И губы, губы алые, как маки.

Уходит капитан в далёкий путь

И любит девушку из Нагасаки».

Баллада. За окном снежные вершины Полярного Урала. Белая ночь.

Музыка умолкла. Стало грустно. Потому что «джентльмен во фраке, однажды накурившись гашиша, зарезал девушку из Нагасаки». Негодяй.

Вспоминаю свою невесту. У неё тоже маленькие. И губы пухлые и свежие. Как маки...

– Ребята! Я ещё днем засёк, что в номере напротив – четыре девчонки. Как бы подкатить?

Этот вопрос Игорь задаёт, конечно, себе. И тут же импровизирует: «Загляну, попрошу ниток. Через десять минут буду возвращать и познакомлюсь. А там и вы поддержите».

Возвращается немедленно, с нитками, мрачный.

Ну, как девочки?

– Там у них три каких-то чучмека сидят. Вот такие рожи. Кто нитки пойдёт относить?

– Сам и отнесёшь.

Печальный вздох: «Наливайте!»

Просыпаюсь. Утро. «Чертовски элегантно брютет» стоит между кроватями и, круто выгнув шею, скребёт ногтем резинку своих плавок.

– Чего это ты?

Сопение. Пауза.

– Да ты знаешь... Чешется... А вот и она!

С торжествующим видом воздевает собранные в щепотку пальцы правой руки.

– Вот она?

– Да кто – она?

– Кто-кто... Вошь!

Мы подскакиваем. Я ещё ни разу в жизни не видел вшей. Любопытно.

Игорь давит насекомое ногтем о стену, приговаривая: «А мы её – «пок»!

«Пок», конечно, означает звук лопания паразитки. Хорошенькие дела. «Ах, гостиница моя, ты – гостиница...».

Надымский двор. Кое-где кустики чахлого тальника. Сырой песок. «Полярная» располагается в обыкновенном подъезде обыкновенного дома. Полумрак.

Чистота. Номер на четырех человек пуст. Я один. Глянув на место своих будущих ночёвок, возвращаю ключ и снова выхожу под дождь.

– Где тут у вас переговорный пункт?

– Там.

Через два дня договорился со знакомой в Омске о том, что она уладит мои дела, и меня не будут искать, и не будут требовать обратно. С мамой договорился о немедленном телеграфном переводе денег. У меня в кармане оставалось семь рублей. Во всём Надыме – ни одного знакомого. Хорошо, что за гостиницу уплачено далеко наперёд.

Брожу. Хотя бродить особо некуда. Обалдеваю от продовольственных прилавков: болгарские компоты, венгерские салаты. Вкуснятина. В Омске такого не только нет, но и не было никогда. В столовой «Дома торговли» кормят замечательно. Мужики в энцефалитках берут помногу и денег, кажется, вообще не считают. По улицам ездят «Ураганы», «Уралы» и «УАЗики». Почти везде, кроме «Комсомольской», глубокие песчаные колеи. Север!

От столицы округа Надым отличается очень сильно. Здесь – многоэтажные дома в центре и балочные посёлки по краям. Здесь посреди города – классный парк с кедрами и лиственницами.

Там – несчастный, приморенный горсад, горькая насмешка над общепринятыми представлениями о садах и парках. Там, как помнится, – четыре капитальных сооружения: «Красный чум», то есть – окрисполком вместе с окружком партии, рядом стоящий панельный дом на сваях, да ещё далеко в стороне – забытая, заброшенная церковь и чей-то гараж, сложенный из бетонных плит. Всё остальное в городке деревянное. Даже дорога к речному вокзалу – из брёвен, плах и досок.

Надым же явно стремится к цивилизации. Причем, главное отличие Надыма от Салехарда – дамы. В Салехарде этой респектабельностью не пахнет.

И, всё-таки, три недели назад в городе на Полярном круге мне жилось лучше, душевнее. Там хоть был случайный знакомый – Саня Разбойников. Ожидая несколько суток теплоход, мы болтали обо всём. Саня – интеллектуал, учительствующий в Яр-Сале. Он знает слово «фрондёрствовать» и смотрит на жизнь философски. А здесь, в Надыме, я не знаю никого. И знакомиться толком не умею. Интеллигент хренов.

В очередной раз иду на почту.

Мне должен быть перевод.

– А, это опять Вы?! Пока ничего нет.

Снова вызвал маму на переговоры.

– Где деньги?

– Я в тот же день отправила телеграфом.

– ???

Из-за туч выглянуло солнце, осветило остановку. Подошедший автобус увёз ожидавших. Деньги у меня уже отсутствовали. Хотелось есть. Увидел под ногами десять копеек – удача!

Через пару часов убедился, что самое лучшее место для поисков монет – у кассы в столовой: за оброненной мелочью, как правило, никто не нагибался. В течение дня насобирал сорок четыре копейки. Борщ – большая тарелка – стоил тридцать шесть. Хлеб – ещё копейку. Хватило и на компот.

Завтра – то же самое. Послезавтра – опять. А труженицы почты дают только отрицательные ответы. Каждый раз возвращаюсь в гостиницу.

Полночь. Читаю лежа в кровати найденную где-то газету. Заморить бы червячка! Грустно. В комнате кроме меня по-прежнему никто не живёт, и поговорить-то не с кем. Пора спать, что ли?

Бум! Дверь в номер распахнулась пинком.

Медленно, но решительно, как броненосец, вплыл пьяный мужчина с пузцом. На голове сидела мятая, выдавшая виды, темно-зелёная шляпа. В руках – довольно потрепанный, раздутый портфель. Общий вид махрового алиментщика.

Мужчина уперся в меня взглядом.

– Водку пить будешь?

– Ты откуда такой?

– Водку пить будешь?

Встаю. Надеваю брюки. Пришелец ставит портфель на стол. Открывает. Достает бутылку, потом половинку арбуза. Садится. Неуверенной рукой наполняет стаканы, плеснув каплю мимо.

– Тебя как звать-то?

– Вадим.

– А я – Анатолий. Пей!

Пью. Он тоже. Потом занюхивает арбузом, вытирает нос рукавом. Пауза.

– Тебя как звать-то?

– Вадимом.

– А я – Анатолий.

Он медленно озирается, оглядывая комнату. Плотный корпус при этом колеблется со значительной амплитудой.

Снова наливает.

Возвращает взгляд ко мне.

– Ну, что?

Я не знаю, как ответить. Вопросительно глядя исподлобья, ночной гость обессилено клонится к столу. Его приспущенные веки закрываются-открываются очень плавно. Во взоре – сумерки.

– Эх, ты... Тебя как звать-то?

– Вадимом меня звать.

– Ну, здорово, Вадим. А я – Анатолий.

– Знаю.

Пауза. Анатолий удивлен. Потом выговаривает с трудом и почти шепотом:

– Откуда?

Веки его окончательно закрываются, и лысеющая голова падает на стол, слегка задев арбуз.

Тишина.

Открываю глаза. Номер залит солнечным светом. Выбритый, причесанный Анатолий стоит у окна и смотрит на меня.

– Ну, здорово. Тебя как звать-то?

– Вадим.

– А меня – Анатолий.

– Очень приятно.

- Пойдем завтракать!
- У меня нет денег.
- Зато у меня есть.
- Тогда пойдем.

Анатолий Ильич Порубин трудился снабженцем в каком-то стройуправлении Нового Уренгоя. В Надым его завели два интереса: командировочное задание и любовница. Мою историю он выслушал внимательно, хлопнул по плечу и сказал, что даже если денег не будет ещё долго – не беда.

А денег и не было. Ещё целую неделю.

Анатолий Ильич каждое утро вёл меня в столовую. Заставлял брать побольше, настаивая особенно на аппетитной сдобе, посыпанной сахаром. «Сладкое любит», – по-родственному пояснял он слушавшей наши тихие препирательства кассирше. Кассирша улыбалась.

После завтрака Анатолий Ильич покупал ворох газет и отдавал мне. Я шел в гостиницу читать. Порубин исчезал по делам. К обеду он возвращался в номер и опять вел меня на кормежку с непременно булочкой.

Вечером начиналось главное. Анатолий Ильич рассказывал мне об Уренгое, работе, друзьях, родном Поволжье. Иногда – о женщинах. Потом говорил:

– Ну, что, Вадим? Пойдем-ка в ресторан, съедим по гуляшу!

– Знаю я Ваши гуляши, товарищ Порубин. Опять напьёмся.

– Да что ты! Съедим по гуляшу и музыку послушаем.

– Не пойду. Хватит. И есть я не хочу.

– Я прошу тебя. И, честное слово, возьмем по салатику и гуляшу. Ансамбль послушаем. Чего в гостинице торчать?

– Вам, как я понял, нечего торчать. Вам есть куда сходить.

– С этим я успею. Давай-давай! Не ломайся!

В «65 параллели» играла музыка. В полумраке зала редко мелькали официанты. Бывалые, раскрасневшиеся дядьки за соседним столиком оживленно беседовали. Женщин в заведении было мало.

Над нами завис шустрый, деловой гарсон потасканного возраста – сразу видно, что хват из разряда «сорок и сорок – рубль сорок».

Порубин в позе барина и с интонацией плута:

– Нам по оливье и гуляшу... Нет! Беф-строганов!!!

Потом испытующе смотрит на меня и с хохотком добавляет: «А также бутылочку портвейна».

Началось...

Из ресторана мы выходили разогретыми. Особенно Анатолий Ильич. Подав мне на прощание пухлую руку, он растворился во тьме и появлялся в номере глубокой ночью.

В отсутствии Порубина я иногда днём гулял, продолжая разглядывать город и его обитателей. Бросалось в глаза кипение жизни. Я понял, что главное здесь – не импозантные дамы, а те самые мужики в энцефалитках. Они пешком и на машинах сновали в разных направлениях. Они, как на подбор были молоды, здоровы и уверены в себе. Они знали что-то такое, чего не знал я. Мне казалось, что начинаю завидовать их светлой тайне.

За тройной рамой гостиничного номера – хмурый, ветреный день. Постукивает приоткрытая форточка. Тоскливо. Где же этот перевод?

Бесцельно выхожу в коридор. Ковровая дорожка. Журнальный столик.

Крашенные стены. Каторга вынужденного безделья.

Из-за чьей-то двери доносится вокал. Распевка: «А-а-а-а... О-о-о-о». Опять тишина. Дверь открывается. Высокий, представительный парень.

– Простите, у Вас нет ножа?

– Есть.

Приношу перочинный нож.

– В связи с чем такие звуки?

– У меня через два часа концерт.

– Вы – певец?

– Да. Сегодня пою в «Победе». Приходите, послушаете.

В общем, познакомились. Леонид работал в какой-то белорусской филармонии, и сейчас у него шли гастроли по Северу.

– Бедно живем. У меня, в общем-то, даже нет собственного концертного костюма. Вот этот пиджак, например, достался по наследству от Виктора Васильевича Вуютича.

Смеётся. Я разглядываю слегка потёртый, но шикарный с моей точки зрения синий велюровый пиджак с накладными плечами.

Вечером из центра зала наблюдаю и слушаю единственного лично знакомого певца: «Любовь моя, что отшумела ливнями –

Оливия. Оливия...».

Красиво!

Как-то раз Порубин зашел перед обедом.

– Пошли!

– Куда?

– Куда надо!

Мы спустились ниже этажом. Анатолий толкнул дверь. Вошли в маленький двухместный номер.

За столом сидел парень лет двадцати восьми. В энцефалитке. Один из тех, кто наполнял этот молодой город. На столе – початая бутылка водки и фаршированный болгарский перец. Горбушка хлеба. Дымящаяся папироска. Парня звали Юрием.

Я был приглашен просто так, а Юра с Анатолием тут же занялись розливом и воспоминаниями. Зазвучали слова мне до сих пор не известные: «вахта», «зимник», «гэпэ», «плети», Ханымей, Вынгапур. «А помнишь, помнишь?..», – přátельски толкали они друг друга.

Потом довелось впервые в жизни слушать рассказы о белой горячке. Особо впечатляющими были воспоминания Юрия. Я смотрел на него и видел, что парень и в данную минуту «на верном пути». Налицо были признаки не просто пьянства, а настоящего запоя. Глубокого. Но этот запойный пьяница совсем не был похож на запойных пьяниц-соседей из моего детства. От него исходило улыбочиво-спокойное достоинство.

Очередное утро. «Умывалка» – в общем коридоре, который сейчас пуст, потому что все уже разбрелись по своим делам. Кроме меня, бездельника.

В зеркале – некто худой и конопатый, но довольно наглый, жизнью не битый.

Ну, вот! Опять обручальным кольцом ободрал переносицу! Снимаю кольцо, кладу на полочку. Продолжаю полоскаться.

Дверь открывается, заглядывает дама с ведром и тряпкой. Даме – лет тридцать.

Напомаженная, хорошенькая, взгляд изучающий.

– Извините! Я потом приберусь. Тут мыло есть?

– Нет, ничего страшного. А мыло у меня своё.

Продолжаю процедуры. В голове – её взгляд. Наверное, не замужем. Больно старательно губки подведены, и про мыло могла бы не спрашивать. Явно не переутомлена семейными дрызгами.

Потом ловлю себя на том, что и я мог бы не придавать значения этому внезапному визиту. Как там, в песенке про гостиницу? Ах, да:

«Заиграла в жилах кровь коня троянского.

Переводим мы любовь с итальянского».

Впрочем, при моих обстоятельствах вернее:

«Ничего у нас с тобой не получится.

Так зачем же голубой мукой мучиться?

На кровать присяду я – ты не подвинешься.

Ах, гостиница моя, ты – гостиница...».

Пойду-ка я почитаю газету и двину на почту.

Просмотрев газету, обнаруживаю, что кольца на руке нет. Забыл надеть обратно. Вот, чёрт! Иду к умывальнику. Прошло минут десять. Двери на этаже не хлопали...

Кольца нет.

Иду к портье: так, мол, и так. Женщина смотрит на меня подчеркнуто равнодушно: «Хорошо. Сейчас позову Наташу».

Наташей оказалась дамочка, заглядывавшая при умывании: «Нет, я ничего не видела».

У меня единственный, жалкий аргумент: «Так, ведь, на этаже никого уже нет. Только я и Вы. Да и прошло не более десяти минут».

Аккуратные губки Наташи немы. Наманикюренный пальчик ковыряет лакированную стойку. Портье молчит.

Ладно. Всё ясно.

Порубин сказал: «Сегодня в четыре будь у КАВТа. Я тебя кое-куда свожу».

– А что такое КАВТ и где он?

– Это спросишь у кого-нибудь на улице.

В три часа я вышел на автобусную остановку. Солнышко баловало нежарким теплом. Лиственницы в парке начинали приобретать желтеющий наряд. На остановке сосредоточенно курил мужик. Широкоплечий, смуглый и суровый, в прорезиненном плаще и броднях.

После минутных размышлений я решился заговорить.

– Вы не скажете, как добраться до КАВТа?

- Я сам еду в ту сторону. Сейчас подойдёт машина – доброшу.
- Спасибо!
- А ты что, не местный?
- Нет.
- Командировочный?
- Что-то вроде.
- А ночевать есть где?
- Есть.
- А то смотри.
- Ничего себе, – думаю, – ты не знаешь даже, как звать меня, а уже о ночлеге заботишься.

Через полчаса мы встретились с Порубиным. Рассказал ему о мужике. Анатолий сказал: «Не пойму, что тебя удивляет. Ты же не на Большой Земле! Тут все помогают друг другу. Привыкай! А сейчас я тебя с Костей познакомлю. Ты таких людей вообще не видел». Костя предстал простым, сорокалетним стропальщиком, с которым мы потом дружили лет восемь, пока он не уехал в свой Волгоград. Человеком Костя, действительно, оказался интереснейшим. И очень добрым.

Наконец-то пришли деньги. Я дозвонился до Омска и получил гарантию «неприкосновенности». Меня взяли на работу в национальную школу-интернат. В тот самый Кутопьюган, о котором я давно наслушался восторженных рассказов приятеля-этнографа Головнёва. Надымская эпопея заканчивалась. Остались позади неожиданности и голодные поиски монет, спасительная встреча с новоуренгойским снабженцем и прочие мелкие приключения. Мы стояли с Порубиным на улице под ветром, рябившим лужу перед Домом торговли. Обнялись. Попрощались.

- Напиши письмо, когда устроишься.
- Хорошо.

* * *

В течение последовавшей зимы я писал ему дважды, но ответа не получил.

ПОСЁЛОК

*Угрюмых шуток простота
И местных тем однообразье...
Скажи себе: ну в том ли счастье,
Что дики здешние места?
Николаю Баляеву*

На южном берегу Обской губы приютился маленький посёлок с хантыйским названием Кутопьюган. За время его существования, с конца девятнадцатого века, это имя писалось по-разному: Кутоп-Еган, Кутопъеган, Котопьюган, Кутоп-Юган, Кутопьюган. Оно означает в переводе на русский – «средняя

река». У ненцев в употреблении свой аналог – Ер-Яха. Что означает ту же «среднюю реку».

Хантыйское название явно указывает на то, что прежде хозяевами места были ханты. Но, как известно историкам и этнографам, на протяжении последних веков ненцы потеснили и частично ассимилировали здешних ханты. В результате кровного и культурного смешения возникла этническая группа, которую русские называли «самоедившимися остяками». Этот термин в документах чиновников и трудах учёных дожил вплоть до тридцатых годов двадцатого века.

Сегодня, например, мой приятель, Иван Пенгович Салиндер пишется в паспорте ненцем. Будучи «хаби», то есть ханты по происхождению своего рода, он одновременно является носителем ненецкой культуры. И таких на берегах Обской и Тазовской губы много.

В девятнадцатом веке, а может быть и ранее, хозяевами здешнего побережья стали «самоеды» рода Югомпелик. Они же – Юганпелек. Кстати, так их называли местные аборигены-ханты. Сегодня предков этих Югомпелик все знают под ненецкой фамилией Анагуричи.

Но к чёрту историю с этнографией!

Если сегодня спросить у надымчан о том, какой населённый пункт огромного, размером с Венгрию или Болгарию, Надымского района связан в их представлении с рыбным изобилием, то практически все назовут именно посёлок Кутопьюган. А каждый кутопьюганец вам уверенно скажет, что частота посещений посёлка вертолётами и самолётами зависит вовсе не от погоды и пассажиропотока. Она напрямую и в первую очередь зависит от того, насколько хорошо в этот период ловится рыба.

А вот и девятое сентября восемьдесят первого. Теплоход, называемый в народе «омиком», шёл по Обской губе с единственным пассажиром на борту. Этот пассажир хотел есть, но буфет не работал. А попросить чего-нибудь у команды было как-то стыдно. Берега исчезли, и наблюдение одинаковой, рыжей, воды быстро наскучило. Сначала маета несколько перебивалась обшариванием рундуков с индивидуальными плавсредствами. Потом и это осточертело. В памяти мелькал калейдоскоп первых впечатлений: тихая, смиренная толпа на салехардском речном вокзале, армянский коньяк с малосольной нельмой в Ныде, надымские встречи, номер в гостинице «Полярной», странный архитектурный термин «вставка», вездеход на постаменте. И какие-то другие, необычные для моего прежнего мира люди.

Кстати, в студенчестве, за два года до описываемых дней, уже пришлось побывать на Крайнем Севере. Это была этнографическая экспедиция с будущим светилом науки, а тогда четверокурсником истфака Андрюхой Головнёвым. Полярный Урал, Гыдан, льды Карского моря...

Это была другая планета, и те люди были – инопланетяне. Они не экономили, их не угнетало твоё присутствие, они не мечтали о бытовом уюте и не заботились особенно о своём завтрашнем дне. Простор и свежий воздух, чистая вода и азарт охоты были для них символами веры, способом существования.

Они жили вне времени и вне какой-то одной точки. В одном месте ты мог видеть только их брэнное тело, а душа была растворена во всей громадности Севера. В захламленных посёлках и на дальних факториях, в ненецких стойбищах и на местном флоте – всюду были эти люди.

Они были начальниками и поселковыми бичами, оленеводами-кочевниками и загадочными, маргинальными личностями, поменявшими Крым или Закарпатье на морозящую дождями тундру.

Они были одинаковы в главном: они по-особенному легко дышали. И жили они так же просто, как дышали. И все они очень любили свой Север. Они любили эти льды в августе. Они любили эту фантастически вкусную сырую рыбу, только что выловленную из хрустальных, холодных вод.

Они имели странный, загадочный для посторонних обычай садиться на снегоход или собачью упряжку, чтобы, отъехав вёрст так двадцать от тундрового посёлка, выпить в небольшой компании бутылку водки специально «на природе».

Вот к этим-то людям я и ехал.

Было девятое сентября восемьдесят первого.

Солнце перевалило за полдень. И если бы не голод, им можно было бы даже любоваться. Наконец-то показался берег, и теплоход пошёл вдоль него.

Остановились. Наверное, целый час ждали, пока кто-нибудь подъедет к кораблю. Бесполезно. Спустили свою шлюпку и отвезли меня с чемоданом на берег, километрах в двух от посёлка. Ткнулись в бесконечный дикий пляж.

На берегу несколько мужиков распиливали мотопилой брёвна на чурбаки.

Спросили, кто я. Сказал, что новый учитель истории. Я не мог отвести взгляда от лежащего на газете разделанного муксуна и решил более не скромничать.

Мужики пожали плечами: «Ешь, конечно!». Потом подошел трактор. Чемодан был втиснут в кабину, и «ДТ-75» пополз, ввозя меня в Кутопьюган.

Тихое, клонящееся к закату солнце, безветрие, разбитые деревянные тротуары, повсеместно дремлющие без привязи псы, идущая по посёлку в шлёпанцах женщина. А в руке у неё болтаются три нанизанные за жабры тяжёлые рыбины. Казалось, что здесь не происходит ничего, никогда.

Молодая жена, маленький сын, многочисленные друзья, университет, миллионный город – всё осталось где-то. Почему-то большинство ехавших в те времена на Север рассчитывали на срок в три года. Вот и я полагал прожить в этом ненецком посёлке с хантыйским названием столько же. Наивный!

В октябре лёг снег, заметелило. Запомнилась шутка толстого северного татарина Ромки Бабшанова: «У нас в Кутопе холодно только два месяца в году. Остальное время – очень холодно». Это, как и многое другое потом, прозвучало в бане. А баня... Баня стала спасением для меня. Я бы, наверное, с ума сошёл, если бы не она. Только там все учительские стрессы по-настоящему и снимались.

В Кутопе, как коротко называют местные жители свой посёлок, баня в те годы являлась своеобразным клубом. В сельсовете прописано было шестьсот человек. Почти двести из них – школьники. Они водились на мойку по средам

принудительно. Из остальных четырёхсот кутопьюганцев мыльный храм еженедельно посещали по шестьдесят человек от мужчин и женщин. Прочие устойчиво полагали обычай посещения бани чем-то лишним. Заметная группа жителей не бывала там вообще никогда. И не потому, что дома была ванна. Дома были шкуры, печка и низенький столик.

Короче говоря, баня в определённом смысле была элитарным клубом с несменяемым составом. Опоздавший к первому пару, считался неудачником. Не появившийся через полчаса-час после открытия обсуждался. Группа распаренных мужиков выясняла, где он есть или может быть в данное время. Появление опоздавшего, казалось, приносило моющимся какое-то облегчение. Мол, слава Богу, наконец-то теперь всё по уму!

Каждый раз после парилки я нырял в прорубь или три-четыре раза за одно посещение бани выходил и зарывался в снег. Когда мороз был особенно силён (ну, скажем, сорок – сорок пять), на пятках за выход успевал намерзнуть лёд. Возвращаясь в предбанник, я обколачивал его, молотя ногами по полу. Куски с шелестом разлетались по углам. Наблюдая очевидную безвредность моих забав, мужики всё же отказывались выходить со мной на мороз без штанов и обуви. Так я зарабатывал не очень дорогостоящий авторитет.

Выдающейся страничкой в истории кутопской бани был короткий период, когда её возглавлял Николай Гаврилович Ильиных. Но страничке той есть предшествование.

На рыбокооповском складе протекла крыша. Из-за этого большое количество конфет, карамели, испортилось, то есть замочилось и склеилось вместе с фантиками в единую массу. Находчивый начальник туземной кооперации принял конструктивное решение. Он велел поставить на карамели брагу. Затем эта брага под названием «Напиток «Медок» была выставлена для свободной продажи в продмаге. Мутно-розовый от краски фантиков нектар будоражил ноздри своим ароматом. Население, побрякивая вёдрами и бидонами, энергично зашлёпало по деревянным мостовым к магазину. Соседка Валентина на моё любопытство с хохотом ответила, что этот «Медок» – классная вещь. Мол, после второго стакана даже пить хочется. Купил. Попробовал. Точно! Через некоторое время местом продажи чудесного напитка, видимо по инициативе Николая Гавриловича, стала баня. Зелье переименовали в «Аромат тундры» и поставили условие: продаётся только помывшимся.

Культурная традиция была надломлена. В бане оказались даже те, кто там не бывал годами. Правда, некоторые жульничали: раздевались, заходили в мойку, мочили голову и тут же выходили к стойке, за которой громоздились фляги с вожделенным «Ароматом тундры». При этом хохотали все.

На губе стал лёд. По посёлку засемили собачьи упряжки. Крыши домиков покрылись разложенными для заморозки свежепойманными нельмами. Раньше я таких рыбин не видел. А их количество и открытый способ временного хранения вовсе ошарашивали. Дни становились совсем короткими и, наконец, превратились в четырёхчасовые сумерки. Так наступила моя первая зимовка.

Во мне вдруг родился страстный любитель эпистолярного жанра. Как я потом посчитал, до отъезда в отпуск мне было прислано сто шестьдесят писем. Наверное, это означает, что я отправил столько же.

Первые полгода мне жутко хотелось живого общения. Потом устал от его специфического варианта, выглядевшего ежевечерне так. Возвращаюсь с дежурства в интернате или из школы. Заходит человек в подпитии: «Вадим, друг, здорово!». Мне кажется, что этого человека я, действительно, где-то видел.

– Здорово! Чай будешь?

– А выпить есть?

– Выпить нет. Только чай.

– Ну, тогда у меня есть.

Из рукава чудесным образом появляется недопитая бутылка водки или спирта. Через полчаса мой визави хорош абсолютно. Беседовать трудно, а скоро становится невозможно вовсе. Далее разыгрывается один вариант из трёх. Первый – гость уходит (часто его тут же сменяет следующий). Второй вариант – гость просит разрешения поспать. Третий – гость засыпает внезапно. Что называется – вырубается.

В процессе всего этого я нервничаю, потому что мне нужно готовить на завтра шесть уроков, которые я никогда не готовил, ибо учительствую первый год. Кроме того, мне нужно бы постирать. Да и мало ли в хозяйстве мелочей! После первого визита гость как бы получал статус старого знакомого. Это предполагало и «открытую кредитную линию». Первое время я был хронически без денег, потому что постоянно не находил сил не занимать их «друзьям» практически до последнего рубля.

Зато как я радовался своим приобретениям! Покупка какой-нибудь посуды, полотенца, электроплитки или керосиновой лампы были для меня практически священнодействием. Наверное, так чувствовалось благодаря обретению частицы уюта в окружающем мире снега, собачьих упряжек, людей в шкурах и сумерек. Кстати, год спустя, зимой удалось заехать на пару дней к родителям в Омск. Я ходил по городу и недоумевал, остро ощущая, что что-то не так. «Что же?» – думал я. И, наконец-то, понял, что в отличие от тундры там в январе светило яркое солнце.

Моё первое впечатление спокойствия и неподвижности здешней жизни растаяло очень быстро. Во-первых, от постоянного и бессистемного движения вышеописанных «друзей», особенно вечерами и ночами. Во-вторых, нельзя было не восхищаться местными мужиками, которые экстремальные условия воспринимали совершенно как должное. Чинили ли они трактор в посёлке или отправлялись в жуткий мороз на собаках или «Буранах» километров за семьдесят, а то и дальше. Я хоть и был единственным солистом банного цирка на морозе, но ходить при минус сорок в резиновых болотниках по посёлку так и не научился. Если честно, то даже и не пытался. А вот Серёга Нагибин по прозвищу Кулик или Борис Неркагы по прозвищу Борька-Танкист – запросто. Ну, у Танкиста хоть капюшон малицы на голове был. Кулик же всегда только кудрями покачивал.

А однажды такой случай был.

Сидел я как-то в гостях у соседа, Александра Ивановича Деруженко. Сосед числился командиром народной дружины в посёлке. Заходит к нему ненецкий дедушка Аркамбой Анагуричи и жалуется на сына своего, Максима Аркамбоевича. Говорит, что сын, мол, дебошир и пьяница, не пустил его вчера домой и старик вынужден был ночь провести на чердаке избушки. На плечах Аркамбоя была вытертая почти до дыр малица, а на ногах – неопределённой формы и возраста ботинки без шнурков. На дворе – минус сорок. Негодяя Максима тогда мы не нашли.

А ещё однажды пропали двое наших пятиклассников и семиклассник. Нам позвонили об этом из Салемала, что в семидесяти километрах. Муж завуча, Петр Созыкин, поехал в ночь на «Буране», но к утру нашел только детский шарф на торчащей из снега палке. Все следы на побережье губы, где проходила тропа между посёлками, замело. Где искать?

Утром выяснилось, что «туристы» на пути из Салемала в Кутоп одну ночь провели у костра в перелеске (это в ботинках и прочей интернатской одежке при минус двадцати!), а на второй день успели дойти до стойбища Варкута, где их и застали за чаепитием. Причём, никто не обморозился.

Возглавлял этот отчаянный отряд дерзкий паренёк Толя Тибичи. Спустя пять лет он утонул, переправляясь без подручных средств через устье небольшой речки Танапчи. Просто-напросто шёл к родственникам в соседнее стойбище. В своей комнате, над кроватью, я повесил репродукцию Левитана «У омута». Картинка была для меня символом Кутопьюгана. Такое же сочетание красоты, сумерек и безотчётной тревоги.

«Омут» губил людей столь регулярно, что жутковатое ощущение всё время подспудно сидело в душе. Люди спивались, замерзали в тундре, тонули в губе. Несколько человек одновременно сгорели, уснув ночью в фанерной палатке во время подлёдного лова ряпушки севернее Мыса Каменного. Почти все – мои бывшие ученики.

Как-то гулял, фотографировал посёлок. Забрёл в его черте на старое кладбище. Отсюда, с пригорка было удобно снимать панораму. Щёлкнул, проявил, напечатал. В один из бесконечных зимних вечеров при взгляде на это фото посетила муза:

«Сараи. Избы. У подножья – крест.

За зимней речкой – снег и мелколесье.

Здесь не один судьбу свою повесил,

И труп её не бросил этих мест».

Такая вот веселуха...

Беды и радости земляков всегда были связаны не в последнюю очередь с тем, что Кутопьюган – посёлок рыбацкий. И там живут профессионалы этого дела. Ненцы, ханты, русские, зыряне круглый год в разных, но однозначно не курортных условиях добывают рыбу.

К слову сказать, вряд ли многие представляют себе зимний промысловый лов в Заполярье. Даже северяне, если они – жители новых, «газовых» городов.

Лично я наблюдал следующую картину, которую излагаю вкратце. С середины ноября до конца апреля – больше пяти месяцев – рыбаки, вывезенные вертолётами за сотни километров от родного посёлка, живут без семьи. Семья оставлена дома. Жилищами рыбакам служат так называемые «палатки» – сборно-щитовые домики из фанеры. Они заносятся снегом под крышу и более на столько, что входить приходится, спускаясь вниз, в снежную нору-пещеру.

Внутри такого подснежного жилища – двухъярусные нары и железная печка. Освещается этот «шик» керосиновой лампой. Из продуктов всегда имеется рыба и соль. Со всем остальным возникают периодические, очень часто затяжные, проблемы. Запас мороженого хлеба (если он ещё не весь съеден) хранится на «поверхности», то есть на крыше. Ближайшая баня находится в посёлке, редко ближе чем за десять, а то и за все двадцать пять километров от места промысла.

От «палатки» до порядков, то есть до поставленных сетей, – два-три километра. Преодолеваются они чаще всего пешком, реже – на собаках, привезённых с собою из родного посёлка. Толщина льда во второй половине зимы – до полутора метров. Диаметр майн (прорубей), которые нужно выдолбить, чтобы проверить сети, – около метра или чуть больше.

Каждый рыбак должен ежедневно проверить один провяз (семьдесят пять метров) сетей. Если за день-два до этого из жилища не выпускала пурга, то, соответственно, количество сетей, подлежащих проверке, увеличивается.

К сожалению, применение каких-либо варежек или перчаток при выпутывании рыбы и сетей – почти всегда теория, а на практике это возможно крайне редко, при не очень низкой температуре.

Лёгкий ветерок несёт по льду позёмку. Она облепляет мокрые, багрово-красные, многократно обмороженные руки...

«Белое безмолвие» практически не имеет примет, по которым можно было бы идти в сумерках, ночью или в пургу: везде одинаковые сугробы и заступы.

Арктика, господа ...

Так что романтика героев Джека Лондона – это обыденность наших рыбаков. Кстати, что касается романтизма, то нигде вы не найдёте столько людей, подверженных ему, сколько в северных посёлках и посёлочках.

Южный житель прагматичен. Он чужд бесполезным действиям и бесплодным настроениям. Южный житель, станичник Никита и жена его, Оксана, держат кабанчиков, гусей, бройлеров и считают деньги. Считают нормально. У них всё по уму. Во дворе – летняя кухня, над двором – виноградная лоза. Южной ночью земля дышит теплом, и темнота наполнена пением цикад. Словно немые тени мелькают летучие мыши, бьются о фонарь редкие мотыльки. Изредка по заасфальтированному дворику неуклюже прыгают грузные, сытые жабы. Крепким, здоровым сном спит южный житель Никита. Спит, но помнит, что завтра ему предстоит купить по сходной цене пару мешков комбикорма. Северный житель безалаберен. И двора как такового у него нет. У него как бы вообще нет его собственной территории. Никаких заборов и калиток. Его дом –

не крепость, его дом – тундра. Он понимает, что ценности Юга – это ценности. Но сам он может жить только в совершенно другом измерении. Его жрут комары. Его изводят бесконечные морозы. Когда на Кубани доедают первый урожай овощей, вокруг его жилища только начинает таять снег. Изредка он всё-таки отправляется на Юг. Через две-три недели отпуска в Крыму северный житель начинает неслышно поскуливать, тоскуя по сломанному стартёру своей «тридцатки». И вернувшись из райских, виноградно-персиковых краёв, он хищно налетает на сырую рыбу. Даже если фамилия северного жителя Иванов или Нечипоренко. В холодную, слякотную погоду он пьёт водку или чинит сети. Он не слышит, как в кладовку забралась собака и торопливо чавкает, подрагивая всем телом над его последним запасом мяса.

Ещё в апреле, когда северная весна практически только в проекте, мужское население Кутопьюгана начинает входить в состояние особенного зуда, вызванного ожиданием весенней охоты. Из чуланов достаются ружья и всяческие охотничьи «прибамбасы». Совершая визиты друг к другу, мужики бесконечно осматривают, ощупывают, прикидывают к плечу «тозовки», «ижевки», «браунинги», «эмцэтки» и прочие могущие стрелять штуковины. До измождения, снова и снова обсуждаются достоинства и недостатки всех систем оружия. Демонстрируются друг другу патроны, пыжи, ножи, гильзы, закрутки, дозаторы, патронташи и тэ дэ, и тэ пэ. А сколько сразу вспоминается! Такой случай был, такой, этакий и ещё вот... И сладостно щемит в груди: скоро ведь, уже скоро начнётся...

Но морозы, сволочи, давят и давят... Вот и май уже. На первое – метель такая, что днём в тридцати метрах ничего не видно. Наметает столько, сколько за половину зимы.

На девятое – теплынь. Снег сразу оседает. Почти летнее солнце слепит и пьянит. Несказанный кайф – пройти по улице без шапки. Наконец-то! Громадные, лохматые кутопские псы тут и там разлеглись, вытянув лапы на подсохших досках тротуаров. Они сладко дремлют, прищутив осоловевшие глаза. Благостность! На них можно наступать, об них можно запинаться. Реакция будет медленной и сверхленивой. Чтобы убрать псину с тротуара, её нужно настойчиво, неоднократно попихать ногой. Её величество откроет сначала один, потом второй глаз. Затем, может быть, поднимет голову. И если решит, что вы не отстанете, то отойдёт на шаг с тротуара. А при вашем удалении тут же ляжет обратно. Отдых.

Под вечер «Бураны» со снятыми капотами рычат на раскисающем снегу, развозя пьяные компании, вернувшиеся с «шашлыков».

Потом опять возвращается холодрыга. Но всё же днями снег тает. Высокие, продуваемые места, где его было немного, обнажаются. Появляется бурый мох, травка. Кто-то сказал, что видел прилетевших лебедей. Это – всеми ожидаемая и серьёзная новость.

Световой день быстро прибавляется. На темнеющий снег покропил первый холодный полудождь. Посёлок опускается во власть грязи.

Подготовка к охоте – в самом разгаре. Наиболее серьёзные добытчики отправляются за десять, двадцать и более километров. Их угодья – Варкута, Ватанги и прочие терпкого вкуса названия. У нас же всё попроще и поближе. В оврагах и перелесках – снега по грудь. Чтобы добраться до места, где решено устроить скрадок, нужно приложить заметные усилия. Больше всего скрадков – за Горелой горой. Здесь на длинном, загнутом подковой озере, поднялась талая вода. По-ледяному холодная, она неподвижно чернеет среди белых сугробов на берегах.

Приближается момент «икс», время открытия. На всякий случай почти у каждого гора патронов. Тишина. Холодно. Ждём.

Первая ночь, первый час – никаких уток. Даже на горизонте. Немного обидно. Впрочем, нетерпение и ожидание, надежда на то, что «вот-вот», не торопятся смениться досадой и отчаянием. Где же вы, утки? Мы ждём!

Ладно. Давай «по соточке»! Это значит – по эмалированной кружечке. Вот и потеплело. Окрестности становятся лучезарнее. Вы слышите, стреляют где-то? Везёт же людям! А у нас ни черта нет. Может, по банке стрельнем? Ты же хвалился, что патроны новым порохом зарядил. Трах-бах. Да, действительно, твоё ружьё бьёт неплохо. А моё?

В общем, день открытия чаще всего даёт результат неважный. В том смысле, что уток или нет вовсе, или их мало. Но охота продолжается неделю или даже чуть больше. Тот, кто не в отпуске и не в отгулах, тот практически не спит, курсируя между работой в посёлке и скрадком в нескольких от него километрах.

Глаза напряжены, часами обшаривая горизонт. Ветер, еле слышно гудящий в стволах ружья, вызывает иллюзию далёких гусиных криков. Ноги в резине нещадно мёрзнут. Отогревание у костра приводит к появлению сырости в сапогах из-за конденсата. Холодно до боли. И это всё часами, сутками... Но никаких насморков и в помине! Откуда только силы берутся? Форма тундрового весеннего мужского сумасшествия.

Наш скрадок – из снега, ольховых веток и еловых лап. Одеваться приходится очень тепло. Сутками, подремав пару часов у слабо дымящего костра, сидим на снегу. Резиновые болотники – в снежно-водяной каше. Ночной заморозок сковывает озерцо, и приходится через каждые два-три часа, шлёпая по оледеневшей поверхности вёслами, выезжать на лодочке к манчикам, то есть к пенопластовым, деревянным или резиновым чучелам уток, чтобы освободить их из плена.

К обеду прогревает. Пахнет болотной травой и сыростью. Солнечные блики заставляют щуриться. Лёгкий ветерок рябит воду, и «утки» покачиваются, как живые. Самые классные чучела у семидесятилетнего дяди Вани Макарова.

«Перовые», как он выражается, то есть – перьевые, настоящие чучела.

Тише, тс-с-с! Аж восемь штук сели к манчикам. Голубая чернеть. Вот удача! Выстрел. Ещё. Табунок взлетает, но три утки остаются нашими. Адреналин подскакивает, гарантируя здоровье, настроение, неутомимость и всё, что хотите. Это – охота!

Через недельку зуд нетерпения, оскомины длиннющей зимы сбиваются. В души мужиков приходит равновесие и умиротворение. Как будто бы начинается новая жизнь.

В июне солнце перестаёт отдыхать, оно не прячется вовсе, неторопливо описывая бесконечные круги над горизонтом. Зато поселковая дизельная электростанция устраивает длинные перерывы. В наступающей тишине молодёжь бродит стайками, бесцельно слоняется до трёх-четырёх утра. Старики до белой полночи курят на завалинках и лавочках. Народ кипятит чай на костерках и железных печурках у своих домов и избёнок. Сладкий запах дыма и мысли о предстоящей рыбалке. Скоро, вот-вот. Уже всю солёную, прошлогоднюю рыбу доели. Свеженькой бы! Хорошо, что впереди – целое лето. А, впрочем, впереди – незаметный переход кутопьюганской весны в кутопьюганскую осень. У нас ведь так.

ГРИША

В первую мою тундровую зиму познакомились со школьным кочегаром Григорием Анагуричи. Бытие кардинально переменялось. Можно сказать, что Григорий Ателевич был кочегаром в свободное от других занятий время. Нет, он не прогуливал работу. Он исполнял её также рьяно и даже яростно, как и всё остальное в своей жизни. Главное – он был председателем поселкового охотколлектива. А это гарантировало две позиции. Во-первых, он не был горьким пьяницей. Иначе ему бы не доверили сбор охотничьих взносов. Во-вторых, он был таким же активным рыбаком и охотником, как самые-самые... Второе было крайне серьёзно. Оно означало, что человек понимал проблемы важнейшего здесь способа добыть на пропитание. И понимал этих людей. Сейчас, когда моего друга Гриши уже давно нет в живых, я вспоминаю его очень часто. Родит ли тундра другого, такого же выдающегося ненца, с чьей энергией, стремительностью и смелостью сравнится не более двух-трёх человек из сотен знакомых в прошлом и настоящем?

А тогда моё бытие переменялось абсолютно. Я каждый день после работы, перед ней или в перерывах занят промыслом. Я – рыбак и охотник. Я – напарник. Здоровенные, подшитые пимы зимой и болотники летом волочатся или шлёпают среди болот, по тундре и овражным перелесочкам. А впереди, конечно, Гриша.

Все мы относимся к природе благосклонно. Многие её по-настоящему любят. Некоторые вообще не представляют вне природы свою жизнь. Таковы все ненцы, если не считать десяти-пятнадцати исключений на двадцать тысяч человек. Да и они не могут существовать без периодической подпитки в виде длительных поездок в тундру, к родственникам или друзьям.

Особый аромат чума, смесь дымка и запаха оленьих шкур, холодные кусочки свежайшего сырого муксуна или осётра, краешком бережно окунаемые в горчицу, горячий чай особого ненецкого приготовления (нужно, чтобы после

засыпки заварки содержимое чайника на секунду вскипело), неторопливый, ненавязчивый ритм жизни стойбища – всё это очаровывает и даёт истинное отдохновение душе и телу после городской, или даже поселковой, суеты.

Между квартирой в посёлке и чумом в стойбище разлилась Обская губа. А в глубине её вод неторопливо ходят косяки рыб. Ходят, как будто ищут сети, в которые нужно попасть. И счастлив добытчик, умеющий помочь им в этом. Все здешние ненцы – потомственные рыбаки. А род Анагуричи, пожалуй, самый рыбацкий. Это – коренные жители, вотчинники южного побережья Обской губы. Гришин отец – Атели – был бригадиром лова уже во время Отечественной. Его имя не сходило с районной доски почёта. Теперь, в начале восьмидесятых, он всё ещё ездит на большой деревянной бударке ставить сети на белую рыбу и проверять перемёты на осетров. Трое сыновей и внуки cedят сетями местные салмы – кормовые места муксуна, щёкура, нельмы. Cedят квалифицированно. Возвращение с рыбалки без рыбы – нечто удручающее своей невероятностью.

Никто не считает рыбу штуками. Слишком её много. Никто не считает рыбу вёдрами. Слишком она крупна для этого. Единица измерения – мешок. Обыкновенный, магазинный мешок из-под сахара или соли. Свежей рыбы в него входит полсотни килограммов.

Итак, мы с Гришей едем на рыбалку.

Главное удовольствие (во всяком случае, постоянное) в этом – свежий ветер, холодные брызги, радость движения. Движения сугубо северного, рыбацкого. Чудо-лодка «Казанка-5» – и скоростная, и мореходная. И мотор «тридцатка» хорош. Хорош, конечно, когда работает. Но, пока всё – слава Богу! Мотор рвёт, бурун за кормой кипит тугою струей, берега послушно проходят мимо. Красота! Вода под солнцем – от рыжей до синей, лиственницы и кусты на берегу – свежезелёные, а чайки – белые и ленивые. Мы мчимся мимо них, бессистемно и плавно снующих, словно ныряющих в невидимые для нас воздушные ямы.

В одном месте чаек много, можно сказать – густо. Надо бы проверить, что они там делают. Может быть, нельма гуляет в косяке ряпушки. Можно было бы пару раз блесну бросить. Но это потом. Сейчас лодка загружена сетями и кольями, или как здесь говорят, тычками. До места осталось ещё километра два. Теперь уже рядом. Кажется, приехали. Сбрасываем скорость. На малом ходу длинной тычкой через каждые тридцать-сорок метров меряем глубину.

Наконец, она становится сантиметров шестьдесят. Стоп!

Высота сети – два с половиной метра. Верхний подбор – верёвку, на которой висит дель, то есть сеть собственно – мы натягиваем сантиметрах в тридцати над водой. И всё же на такой малой глубине, где сейчас стоит наша лодка, сеть под водою складывается кошелём. Не беда. Это делает её более уловистой.

Я всё время отгребаю, натягивая снасть, а Гриша быстро и профессионально успеваает всё остальное. Тем временем погода стала на глазах портиться. Мой друг грудью налегает, вдавливая в илистое дно последнюю тычку. Подвязали. Готово! Сеть поставлена. Поехали домой?

СССР – лидер в космических технологиях. Советские подлодки – самые, самые... Наши танки – самые танки в мире... А вот лодочные моторы – как и весь ширпотреб. Слова излишни. В общем, мы по очереди дёргаем шнур стартера раз пятьдесят. С подсосом и без. С протиркой свечей. С непосредственным впрыском бензина в «хайло», то есть в смесительную камеру карбюратора. Вдруг, аж вздрагиваешь: взревел, задымил. Наконец-то! Толкаю реверс. Сети уплывают куда-то к горизонту. Можно и перекурить.

Как сладок «Беломор» после мытарств с мотором, когда до ближайшего берега километров пять-семь! Как сразу становится уютно! Даже если ты успел до нитки промокнуть под серым дождём и в лицо тебе – холодный ветер с брызгами. Главное, чтобы «Вихрь» пел свою песню. Скоро будет тёплая, сухая кухня. Скоро можно будет скинуть хлюпающие сапоги. Скоро на столе будет вредное, как утверждают прогрессивные врачи, очень вредное для здоровья сливочное масло и прочий холестерин.

Искрится папироса, быстро тает, наполняя лёгкие сладким, тёплым дымом. Бьют встречные волны. Моторка летит домой.

Там, где час назад кружили и пикировали чайки, пусто. Всё водное пространство до горизонта стало тёмно-свинцовым, с грязно-белыми барашками. Нагнало низких облаков. Ветер всё сильнее, и волна разыгрывается. Она уже высотой сантиметров под сорок, а то и больше. Гриша – парень очень азартный и решительный, скорость он не сбрасывает, и наша лодка прыгает с гребня на гребень. В таких случаях рулить самому – весело, а вот ехать в качестве пассажира – неудобно. Прямо скажем – страшновато. Но вот он, контрольный для нас бакен. Вдоль редких вешек входим в устье речки. Теперь мы практически дома.

Ветер восточный, и вряд ли улов утром будет хорош. Если вообще что-то будет. С этой мыслью поднимаемся от берега в горку, домой. Завтра видно будет.

Назавтра не было ничего. То есть – всего четыре штуки. Сетку сняли. Чистить надо.

Июльские ночи – главное чудо Севера. Если не штормит на Обской губе. Ровный свет без резких теней. Тишина. Свежая травка зелёным бархатом мягко обволакивает посёлок и окрестности.

Мы тащим канистру с бензином, вёсла и пустые мешки. Впрочем, в одном из них – бутылка и полбулки хлеба. Мы идём на берег, к лодке. У нас сегодня очередная рыбалка.

В нашей с Гришей компании «негром» обязан быть я. Я сам так думаю. Он делает самое важное, требующее знаний и навыков. А у меня рост – метр восемьдесят восемь. Других достоинств не имею. Вот и пру, то канистру, то мотор, то мешки неподъёмные. Гриша никогда не просит – сам догадывайся. Догадываюсь. Честно говоря, этим положением, а также своей одеждой: болотниками, вязаной шапочкой и зелёной резиновой курткой, делающей мои плечи плечами, – страшно доволен. Почти горд.

Под горку идётся хорошо. Гришины собаки радостно болтаются под ногами. У них летнее безделье, и потому размяться, прогулявшись с хозяином до речки, в удовольствие. Пусть по пути, пересекая чужие территории, Пират встретит недовольное взгавкивание дальних своих соседей. Наплевать. Эта псиная полуигра – тоже часть пиратова удовольствия. Нормально.

Загремели вёсла, упавшие на слани. Заправляемся. Какая, всё-таки, противная вещь бензин! Тьфу! Хорошо, что не глотнул. И всё же, во рту противно. Полощу рот, зачерпнув из реки. Ставлю бачок на место. Дёргаю стартер. Гриша держится за руль и, ожидаясь обернувшись на мои действия, смотрит. Мотор заорал, газ сброшен. Поехали! Толкаю реверс.

Теперь можно закурить. Даже нужно. Какой же я супермен без «беломорины»? Кутопьюган уплывает справа от нас. Открывается выход на губу. Здорово!

Сколько ни смотри – всегда здорово. Особое чувство душевного подъёма. Если бы жил здесь с рождения, может быть, не радовался бы этому дикому простору настолько. А так – совершенно не могу привыкнуть. Праздник – всегда.

Сейчас наша цель – перемёты. Они стоят от посёлка километрах в пятнадцати. По пути нужно заехать на Нейто – местечко, где уже неделю воткнута наша драная сетчонка для ловли наживки. Зерло, или как говорят на далёкой отсюда Волге стрежень, в этом месте подходит близко к берегу. Почти на его урезе и стоит сеть.

Как правило, снимаем ежедневно с полмешка или поменьше белой рыбы. Бывает язь. Единицами. Однажды поймали карася, долго удивлялись. Очень удивлялись, когда в крупную сеть – «семидесятку» – попало несколько ряпушек. Эти маленькие селёдки умудрились зацепиться пастями. Иногда попадаются приличные нельмы килограмм на семь-девять. Кроме того периода, когда вдруг начинает дуром валить налим, забивая короткую сеть так, что верхний подбор нельзя поднять над водой. Недаром, оказывается, место называется Нейто. От слова «нёе», что значит «налим». При проверке сеть буквально рвётся под тяжестью лениво извивающихся серых рыбин. Какая-то прорва. Это продолжается несколько дней. Потом налимы куда-то исчезают. Проходят.

Сегодня налимов нет. Отталкиваемся. Теперь до перемётов совсем недалеко. На зерле сбавляем скорость. Зорко рыщем взглядами по воде. Июльское сочетание солнца и ветра. Волны, волны, волны. Там и тут белые барашки. Рождаются и тают. Такие же белые, как и балберы, то есть поплавки наших перемётов, которые мы пытаемся обнаружить на поверхности. Медленно, кругами и зигзагами ездим по дальней кромке зерла. Рядом бесконечно длинная пенная полоса – граница между течением и стоячей водой.

Порой приходится искать перемёт по часу. Довольно часто не находишь вообще. Тогда ищешь его на следующий день, потом ещё... Ориентиры – на берегу. До берега же – километр, а то и все пять.

Наконец-то! Вот он. Слегка притопленный поплавок, словно пытается вырваться из плена туго натянутой, уходящей на дно верёвки. Его

перехлестывает вода. Снасть слегка водит течением. Она сейчас будто какое-то живое существо, неведомое чудище.

Подобравшись на нужное расстояние, бросаем четырёхпалый якорь в пучину и тянем поперёк течения. Тянет Гриша. Энергично, резко. Есть контакт! Я перешагиваю на нос лодки. Принимаю верёвку. Якорь уже держит перемёт. Вот он. Теперь тащу груз. Внимательней надо быть. Груз хоть и невелик, килограмм пятнадцать, так ведь кругом вода! Глубина – мало не покажется. Бывает, что и метров двадцать пять. И течение. Мало того, что в болотниках и прочей амуниции плавать не удобно, ещё и течением понесёт от лодки быстро-быстро. А из меня пловец, и в одних трусах, и в тёплой воде, – не ахти. Капроновую верёвку с удами перехватывает уже Гриша. Сейчас самое напряженное ожидание. Будет – не будет... Плавно, внимательно, не торопясь подтягивается выметник. Спокойнее, спокой...

Ух ты, есть! Мой напарник резко оглядывается. Где колотушка и багорик? На месте, на месте...

Уже в пяти-семи метрах от лодки свинцового цвета рыбина бьет хвостом, пытается сорваться, уйти.

– Тише, тише, тише...

Это я машинально, горячечным шепотом читаю как молитву бессмысленный, дурацкий монолог. Сердце колотится, глаза вытаращены. В оттопыренную гришину руку сую колотушку. Последняя схватка рыбака и рыбы. Царь-рыбы. Брызги. Пена. Осётр уходит под лодку. Гриша слегка отпускает. Наша добыча уже за мотором. Эх, чёрт! Теперь неудобно бить.

Тише, тише, тише...

Вот голова показалась у самого борта.

– Ну! Ну же!!!

Удар...

Гриша перегибается через борт. Упруго распрямляется.

Тяжелая рыбина, чудо природы почти акульей внешности, с грохотом падает на слани.

– А-а-а-а!

Дикий восторг вырывается наружу.

– Есть! Есть!

Сердце – в глотке.

Есть! Мы взяли его!

Сегодня не пришлось грести до одурения, в несколько приёмов прочёсывая якорем воду, отыскивая притонувший слишком глубоко перемёт. Сегодня мы не заглохли безнадежно, как в прошлый раз, и нас не отнесло на километры от нужного места. Сегодня всё нормально. Точнее – класс! Конечно, бывает и лучше. Но и в этом экземпляре килограмм тридцать пять – сорок. Пойдёт.

Гриша улыбается. Ему приятно видеть мой восторг. Без меня он бы всё это в рабочем порядке... А тут доставил напарнику удовольствие до экстаза.

Улыбается.

Вот и про бутылку вспомнилось. В бардачке – грязная эмалированная кружка. Ерунда, сполоснём. Осетра поймали. Перемот обратно поставили. Что ещё? Гриша разделяет щёкура, которого перед этим мы вытащили из сетки. А главной добычей займёмся дома. Сейчас хоть чего-нибудь на закусь. Свеженького.

От водки Гриша сильно морщится. Вообще-то, он предпочитает десертные вина. «Котнари», например, или «Мурфатлар». Портвейн, наконец. Но с весны в поселковом магазине только водка. Вот и пьём горькую. Да по мне оно и лучше.

Поменяли наживку и поехали обратно. Лично я – в состоянии медленно таящей эйфории. От нашей поимки, эталона божьего дизайна, взгляд не оторвать. Красотища. Отворачиваюсь насильно. На время подъезда к кутопскому берегу в душе – весенняя водичка удовольствия. Единственная проблема – без лишних глаз дотащить осетра до гришиного сарая. Хоть для приличия, пусть хвост и торчит, помещаем улов в мешок. Гриша великодушно доверяет «груз номер раз» мне. Ну что же? На плечо и вперёд! Острый, похожий на громадное перо хвостовой плавник покачивается, подрагивает в такт ходьбе.

Раннее утро. Солнце щурится на крыше старого рыбокооповского склада. В тишине стрекочет издали дизель электростанции.

Пара проснувшихся односельчан встречает нас равнодушными взглядами:

– Ромку Бабшанова не видели?

– Не видели.

– Где же он ...

Где Ромка Бабшанов, мы не знаем, и нам на это сейчас наплевать. Быстрее домой. Через час Грише на работу.

КАПКАН

В жизни тундровиков часто выпадает хороший шанс на тот свет отправиться или, как минимум, остаться инвалидом.

Однажды в марте, когда мороз давил ещё под сорок, мой друг Гриша Анагуричи на реке провалился в наледь – случай для северянина обычный. Пытался вытащить «Буран». Если не считать промокшие ноги, час возни в снежно-водяной каше был особенно неприятен знанием того, что до посёлка километров двадцать.

«Буран» Гриша вытолкнул на сухое место, но ехать не смог. Потому что в конце концов порвался ремень вариатора, а запасного не было. Пошел пешком. Вроде бы, ничего не отморозил.

А в другой раз Гриша попал в капкан. На самом деле. В довольно большой, двупружинный, стальной капкан. Случилось это в разгар зимы.

Дни в январе коротки. Ночь, немного сумерек, да и опять – ночь. Стужа. Неуютно. Нужно родиться на Крайнем Севере или прожить долго-долго, чтобы пореже обращать на это внимание. Чтобы абстрагироваться. Конечно, если не

бояться, то в полной ненецкой «амуниции», когда на ногах – кисты с чижками, а на плечах – малица с меховым гусем, можно и в сугробе поспать. Но ведь бывают и нештатные ситуации, когда спасает по большому счёту только мужество.

В половине девятого утра рассвет только брезжит. Открытая на миг, натужно скрипнувшая от лютой стужи, дверь выпускает в дом клубы густого морозного пара. В синих сумерках проглянул серый снег и слабо угадывался силуэт избы напротив. Там тоже горит свет на кухне. Небрежно упал, грохнул об обеденный стол, прихваченный из сарая мороженный лобарь.

Плевать северянин хотел на кулинарные изыски. Да и не научили этому его предки. Сыпанул в чашку сухой заварки, залил кипятком – чай готов. С треском-шелестом ободрана шкура окаменелой на морозе рыбыны. Соль, перец. Желто-розовая стружка из-под быстрого гришиного ножа – такой деликатес, который не надоедает никогда. В прямом и переносном смысле тает во рту. Но расслаживаться Грише некогда. Бокал запрокинут. Последний глоток. Чай допит. Вперёд!

Жена и дочери в воскресенье отсыпаются. Гриша их любит. Только никогда не говорит об этом. Но всем, всё равно, видно. И на охоту он ходит и ездит не только для своего удовольствия. Он – для семьи добытчик. А, если по полусекрету, то ещё и для многочисленных своих друзей и родни, для тестя и тещи.

Тесть, Нюд Неркагы, когда был помоложе, добыл более сорока медведей. А теперь у него открытая форма туберкулёза. В той семье есть мужики ещё. Но один гришин свояк – школьник. Другие – кто в армии, кто – каждый год за четыреста километров отсюда на север. Там, в Яптиках – как проще называют ямальский посёлок Яптик-Сале, Кутопьюганский рыбоучасток с ноября по конец апреля ведёт промышленный лов ряпушки. Сам же Нюд Пирчевич рыбачить и охотиться практически уже не в состоянии.

Да и чего ещё говорить, делать людям хорошо – гришин железный принцип. Потому что он – мужик.

Собаки, давая себя запрячь, энтузиазма не проявляют. Даже хвостами не виляют. Ярмо, оно и есть ярмо. Тяжёлая работа, от которой никуда не денешься. Да и неизвестно, когда эта работа у них сегодня закончится. Но привыкли, а точнее – смирились. Не будешь тащить, как следует – хозяин ударит. А это больно. С другой стороны – вечером, после охоты, навалит им Гриша полное корыто тёплого, вкусного варева. Так, чтоб до упора. Тогда животы раздуются и сон ездовых будет сладок.

Молодые псы отличаются особым аппетитом. Например, помнится, как мой Бас сожрал целое ведро налимьей ухи. Причём, больше половины в ней составляли куски рыбин.

Быстро распробовав навар, Бас стал головой нырять в посудину, выхватывая из глубины «гущу». После трапезы он сначала ползал, елозя мордой по снегу, оттирая таким образом жир с носа, щёк, усов и своего собачьего подбородка. Потом минут тридцать бедолаге было трудно и лежать, и стоять, и сидеть. Он

маялся от переедания, поскуливал. А мы с соседом, Вовкой Шестаковым, курили и хохотали, наблюдая смешные для нас страдания.

Такое бывает по вечерам. А сейчас только светает. Дальние окрестности – в серо-голубой дымке. Последние приготовления. Запряжённые собаки нервничают, подёргивая лапами и оглядываясь. Они ждут хозяина, который что-то забыл и возится в кладовке.

Всё. Короткий свист и взмах поводка. Нарта срывается с места. Гриша запрыгивает на ходу. Под горку «экипаж» несётся быстро, собаки в упряжке, словно возбуждая, подбадривая себя, лают друг на друга. На эту провокацию их соседи из других дворов не отвечают. Сегодня слишком холодно. Трескуч мороз. Все псы посёлка попрятались, куда могли, уткнули носы в свои животы, в толщу разномастных, лохматых своих «шуб». А гришины – Пират и прочие – с утра в работе.

На кромке Обской губы, в сторону мыса Ватанги, у Гриши стоит полторы сотни «плёнок», то есть петель из капроновой лески. В них ловят куропаток. Да ещё за Белой горой – три капкана. Всё нужно проверить. Уже давно не смотрено. На речке бег упряжки замедляется, переходит в ровную трусцу. Здесь дорожка хорошо накатана, до самой Губы проблем не будет. Гриша бы не прочь подремать. Но мороз пощипывает нос, да и на собак приходится покрикивать, подбадривать их. Не очень-то везут. Недалеко отъехав, ещё практически в границах посёлка, Гриша останавливается, выламывает изрядный тальниковый прут. «Пырь-ря!». Это для собак – полупризыв-полуугроза. Снова плюхается на нарту. Скрип полозьев.

Светлеет. Справа, на высоком берегу – избёнки-крошки, выстроенные, наверное, ещё в тридцатые годы. Почерневшие от времени, с робким сизым дымком из ветхих печных труб. Жалкие.

Полозья наезжают на торчащий из снега клочок сена, на потерянную кем-то дырявую варежку. Поселковый мусор.

Впереди, из лога вылетает ещё одна упряжка. Мишка Куйбин тоже направился за куропатками. У гришиной четвёрки добавляется прыти. Так всегда бывает, когда перед глазами собак что-нибудь движется. Им нужно догнать впереди бегущих или хотя бы сделать попытку. Заднему каюру хорошо, переднему – плохо. Его псы оглядываются, огрызаются взлаями, сбивается их темп. Если упряжки поравняются, очень возможна собачья драка. Тогда хозяева будут разнимать скандалистов, решительно и сурово отвешивая тумачи.

Сейчас обошлось. Через триста метров Куйбин повернул направо. А Грише нужно налево. До первых «плёнок» ещё далековато. «Пырь, пырь, пырь-ря!». Хорошо, что хоть ветерка нет. Парят открытые собачьи пасти. Вывалились языки. Натружено семят лапы. Безостановочно движутся под шкурами собачьи лопатки. Иней всё гуще оседает на лохматых загривках.

Более-менее развиднелось. Уже, наверное, часов десять. Вдоль бесконечной полосы чернеющих береговых кустов – затейливые цепочки свежих куропачьих следов. Гриша вытаскивает из-под себя «ижевку», заряжает. Попадающиеся по пути стайки белоснежных птиц взлетают каждый раз слишком далеко.

Останавливать упряжку и ходить за ними, садящимися метрах в ста – ста пятидесяти, сейчас некогда.

«Пырь, пырь!». Но всё более вяло шелестят полозья. Устали собаки... Ладно. Кстати, выпитый чай, кажется, просится на волю. Короткая пауза... Ну, вот! Теперь стало легче. А ещё хочется немного размять затёкшие без движения ноги.

«Ёлки-палки!». Ружьё осталось на нарте, в пяти метрах. А в другой стороне видится несколько подозрительных бугорочков. Пока Гриша делает шаги к своей «горизонталке», куропатки взлетают. «Ох, ты, на..!». Стая-то – десятка в четыре! Вскинуто ружьё. Дуплет. Только одна птица падает. А чуть в стороне взлетает ещё целый десяток. «Тьфу, ты!».

От выстрела дымным порохом в воздухе медленно тает облачко.

Ладно, всё равно начало положено. На перышках птицы – капелька алой крови. Поехали дальше.

Рассвело. И на душе от этого света, пусть и мутноватого, теплее стало. Гриша посвистывает в хорошем предчувствии. Временами приходится соскакивать с нарты. Тропа кое-где сильно перемерена, собакам тяжело. Приходится трусить впереди них. Уже и мороз – не мороз. В малице разогреться недолго. От жаркого гришиного дыхания куржак обметал края капюшона. Гриша – человек некурящий, а это добавляет выносливости. За бегущим хозяином собаки легко тащат пустую нарту. Может быть, им сейчас даже немного стыдно.

Добрались до первых «плёнок». Каждый раз, на небольшом бугорке из снега, сооружённом охотником, согнутая в дугу, толстая, сантиметра в полтора, ветка тальника. Под этой «арочкой», стянутой двойной капроновой, белой нитью, расправлена петелька из прозрачной лески. Вокруг «арочки» воткнутые в снег ветки тала образуют что-то вроде аллеи, в центре которой – та самая охотничья петля. Куропатка гуляет, общипывает почки с веток и забредает в эту петлю. Попадает чаще всего головой. Реже – лапой или крылом. Простая и вечная технология.

Через три часа нарты завалена горой куропаток. Такого ещё у Гриши не было. Восемьдесят пять замороженных птиц – рекордная цифра. Если сдать заготовителю – почти месячная зарплата. Повезло, так повезло.

Обратно собаки тянут усерднее. Понимают, что в сторону дома. Всё заметнее темнеет.

У лога, где на заячьей тропе поставлены капканы, Гриша подвязывает вожака Пирата к копылю нарты. Надо сходить наверх, посмотреть, поправить. Не дай Бог, в это время псы увидят случайно пробегающего песца. Тогда – прощай транспорт. Упряжка рванёт за зверьком и может убежать на километры. А с подвязанным вожакон далеко не утянут. Так что терпи, Пират.

На зайцев, конечно, гораздо лучше ставить не капканы, а петли из нихромовой проволоки. Но проволоки в этом году у Гриши нет. Вот и поставил капканы, третий номер. Сейчас, надев короткие и широкие лыжи «Тайга», Гриша взбирается по склону лога к заячьей тропе.

В одном месте лыжа зацепилась за куст, и охотник падает. «Чёрт побери!». Снег рыхлый, оказывается, выше пояса. Пока барахтаешься, отцепляя лыжи, его полно набивается в рукава и за шиворот. Руки мёрзнут. Ничего-ничего! Сунем их подмышки. Сейчас чуть-чуть погреемся. А теперь пошли дальше. Два капкана пусты. Замерзли, не сработали. Гриша перезаряжает их. Аккуратно пригребаёт рукавицей малицы самый рыхлый, верхний снежок. Теперь – к третьему. Виден привязанный к лиственнице стальной тросик, уходящий под снег к коварной железной снасти. Вот здесь.

В лыжах неудобно. Гриша аккуратно вытаскивает ноги из креплений, ставит на тропу. Они обуты в оленьи кисы и почти не проваливаются. Но освобождённые лыжи вдруг плавно съехали вниз. Одна лыжа застряла и вовсе на самом дне лога, в кустах. Чёрт возьми, придётся опять по пояс тонуть, пока доберёшься до них! Ладно. За работу.

Капкан ударил неожиданно. От удара Гриша аж в снег упал. Очень больно. Охотник оказался недостаточно осторожен и ловок. Так ведь руки заоченели! Потому и торопился. И вот теперь все пальцы, кроме больших, – в тисках. Мёртвая пасть привязана к дереву. Боль дикая. Сталь обжигает адским холодом. Разжать – невозможно. Для этого нужно надавить пружины. А чём? Как?

Боль становилась всё сильнее, мешала думать. Руки быстро побелели. Гриша встал и, неловко развернувшись, опять упал, проваливаясь плечом в глубочайшую, рыхлую перину, не знавшую в этом логу ветра. Короткий тросик рванул капкан, вызывая невероятную боль.

«Б...дь!».

Превращаться в мороженую куропатку – в гришины планы не входило. Утопая заново спиной в снегу возле злополучной лиственницы, примостившись в невероятной позе, Гриша упёр капкан в ствол дерева и нажал ногами на пружины. Резкое усилие. Голову, лицо засыпало. Ничего не видно. «Р-раз!». Ноги сорвались, соскользнули. Плечи и голова проваливались всё глубже в снежную могилу. «Р-раз!!!».

Не веря ещё в своё освобождение, минут пятнадцать охотник лежал, отогревая у себя под малицей разбитые пальцы рук. Ломящая боль, кажется, не собиралась успокоиться. Выступили слёзы. Снег таял, стекая по лицу, превращаясь под подбородком в лёд. Роковая ловушка после того, как сугроб под лиственницей был разбит и умят, болталась на тросике, свисая со ствола. Охота закончилась.

Беспробудная зимняя тоска. Скорый вечер всё гуще покрывает темнотой. Плотная, серая мгла. Скрип снега. Пятна собачьих силуэтов, и ничего более не разобрать, кроме огоньков далёкого ещё посёлка.

Собак не разогнать и, кажется, не остановить. Их бег – усталое, ровное, неумолимое движение живого к теплу, к огню, из этого мёртвого, беспредельного мрака и холода.

Помаленьку, медленно-медленно глохнет, тупеет боль опухших рук.

Через четыре дня Гриша снял с «плёнок» всего полтора десятка куропаток. А через пару недель убрал капканы с тропы и отвёз к себе в сарай. Потому что зайцы в них, всё равно, не попадались.

ШКОЛА

Честно говоря, рассказать о моей работе в школе-интернате, наверное, труднее всего. Потому что такая работа была. Трудная. После неё я восемь месяцев в авиационном техникуме преподавал, а затем – уже одиннадцатый год в вузах работаю. Но вся деятельность после Кутопьюгана – семечки. Смех один. Объяснить это тем, у кого за плечами только аспирантура, а перед глазами – старательно внимающие студенты, невозможно. Коллеги полагают, что занимаются педагогикой высшего уровня. Бог с ними!

Про школы, расположенные в местностях, где растут высокие деревья и весна начинается в марте, я промолчу. Не знаю, не работал, наблюдал только изредка. Но, пожалуй, всё же кратко вспомню вот о чём.

Через пару лет после начала моего пребывания на Севере я был отправлен в командировку. В Тюменский институт усовершенствования учителей. На курсы.

В комнате какого-то тюменского интерната, где нас поселили, собралось ещё человек двенадцать мужиков.

Один парень был молодой, мой ровесник. Незадолго до этого он закончил пединститут в городке Ишиме. Теперь новоиспечённый учитель работал в одном из южных тюменских райцентров – селе Казанка. Парень чернявый, симпатичный, аккуратный. Представительный. Его папа где-то служил в чине, кажется, майора. Парень запомнился утверждениями о том, что считает себя интеллигентом. Эту любимую тему он ежедневно, не торопясь, вполголоса излагал. Я с интересом слушал.

Прочие мужики были педагогами с солидным стажем. Съехавшись из сёл, деревень и городишек районных масштабов, они за водкой и селёдкой принялись делиться впечатлениями и проблемами.

Никуда не уйти от того, что шофера – про кардан, а учителя – про школу. Я лежал на койке, что-то читал. Ораторов хватало и без меня. К тому же, неудобно было вступать. Беседовали явные мастера, можно сказать – ветераны.

Часа через три, когда разгоряченная беседа стала давать сбои, аксакалы педагогики вдруг обратили внимание на моё присутствие в дальнем углу.

– А ты что молчишь? Иди-ка сюда, познакомимся.

Я застенчиво (тогда у меня это ещё было) подошёл.

– Садись!

Сел.

– Рассказывай. Откуда ты? Где работаешь? Как там у вас?

Ну, я и изложил.

Мужики от моего рассказа в подробностях обалдели. Причём, сильно. И все сразу. Уже на седьмой минуте они перебивали друг друга шквалом вопросов ко мне. Я вынужден был постоянно вертеть головой, отвечая на реплики и восклицания. Не заметил, как кто-то из ветеранов куда-то исчез и явился с новой водкой. Опять загремели стаканы. Пришлось нечаянно стать «именинником».

На другой вечер я не торопился на ночлег. Бродил по магазинам до их закрытия. Получал удовольствие от ходьбы по городским улицам. Часов, наверное, в восемь появился в той же комнате. С порога меня встретил хор возбуждённых голосов: «Ты где ходишь? Мы тебя заждались. Садись, рассказывай дальше!».

Так я твёрдо выяснил, что учительский труд бывает очень разным.

Сегодня, конечно же, в голове осталась жалкая кроха событий и впечатлений тех лет. Слабая память о давних эмоциях.

Причём, я давно заметил, что человеку свойственно забывать в первую очередь самое тяжёлое, самое плохое. Так, наверное, работает инстинкт самосохранения. У меня тоже.

Но, пока не забыл, скажу вот о чём. В тундровом посёлке две абсолютно героических категории трудяг: фельдшеры и учителя начальных классов. Во-первых, они вынуждены в своей работе обязательно добиваться положительного результата. Потому как их результат налицо всем и всегда. Работу фельдшера, к тому же, очень часто назавтра не отложишь. Умирает человек. Какой тут может быть Новый год или Пасха?

Труд учителя начальных классов оплачивается ниже всех. Но если преподаватели старшекласников могут бездарно и лениво работать год за годом, пуская пыль в глаза проверяющим оформлением кабинета и заученными штампами, то не умеющий толком читать или писать ребёнок – долгий шлейф позора для «начальника». Да и химию с историей родители знают куда хуже, чем простую грамоту.

В итоге порой получается, что какая-нибудь преподавательница старших классов выходит на пенсию со всех сторон «заслуженной», при регалиях и званиях. Хотя её уже на третьем году нужно было гнать за профнепригодность. На том простом основании, что она ненавидит детей и те отвечают ей полной взаимностью.

А о немаститой «мариванне», доведшей крошек до четвёртого класса, выпускники вспомнят при последнем звонке и вручат гвоздичку. Всплакнёт умиленная старушка, да и всё на этом. Работа такая.

В тундре многое придавлено, затёрто, неважно. Бесконечная зима замораживает. Как правило, никто никуда не торопится. Но этим двум трудягам – «училке» и фельдшерице – не до покоя.

Чтоб детей учить, их нужно сначала собрать в школу. То есть свезти в посёлок тех, кто в тундре, у родителей в чуме.

Помнится, как в восемьдесят первом пришлось участвовать в сборе учеников Ныдинской школы. Первоначально на борту вертолѐта – пара представителей интерната и проводник, рыжебородый мужик по фамилии Чупров.

Мы направляемся куда-то на северо-восток. Долгий полѐт. Ищем какие-то стойбища.

На развороте, когда гремучая «стрекоза» заваливается глазницами иллюминаторов над буро-зелѐной тундрой, мутный отблеск северного солнца скользит по чѐрным зеркалам холодных озѐр. Ощущение громадности пространства. Дух захватывает.

Сколько же их здесь! До самого горизонта – блюда и блюда разных оттенков. Да-а-а... Это вам не Суоми – «страна тысячи озѐр». Сибирская тундра. Почти марсианский пейзаж.

На мрачной, землистого цвета глади одного из водоѐмов – две неподвижные, вызывающе белые точки. Лебеди.

Вот и стойбище. Пара чумов. Поворачиваем, заходя на посадку. Видно, как два пацана выбегают из одного жилища и прячутся в поросшем кустарником лого, метрах в полусотне от своего тундрового дома. Под грохот винтов, пригибаясь, подгоняемые яростным потоком воздуха подходим к хозяину.

«Где сыновья? Надо в школу лететь!».

Мужик стыдливо смотрит вниз, на свои подвѐрнутые болотники: «Не знаю. Куда-то в тундру, однако, ушли».

«Савелий! Не валяй дурака, сельсовет опять штрафовать будет».

Молчит Савелий, рассеянно переводя взгляд на голубичные кустики.

«Ну, смотри, мы тебя предупредили».

Тем временем в вертолет садятся три девочки в разноцветных болоньевых курточках и резиновых сапожках.

Поднявшись, «Ми-8» уносит нас на два-три километра. Внезапно возвращаемся. Издалека видим как та же парочка мальчишек, вновь покинув чум, драпает в укрытие.

Ясно. Сегодня их не взять. Никак не хотят. Придѐтся Савелию платить в сельсовет двадцать рублей штрафа. Ой, придѐтся...

К концу дня «вертушка» полна детьми. От поселкового аэродрома до интерната по разбитой песчаной дороге их подвозят в кузове громадного «Урала». Тех, кого не смогли собрать сегодня, мы соберѐм завтра-послезавтра.

Своих родителей-тундровиков бедолаги за всю зиму увидят пару раз. Не больше.

Недавно обнаружил запись многолетней давности. Три рукописные странички. Завалился и потому чудом уцелел короткий фрагмент впечатлений первых месяцев в тундровой школе. Что думал, то и писал. Видать, затерял и не отправил письмом кому-то из друзей на «большой земле». Сейчас всё можно свалить на срок давности. Конечно, это – шутка. Но даже если что-то кого-то и покоробит, переживут.

Дал как-то это почитать одному приятелю. Он меня по-дружески и сдержанно упрекнул, что, мол, дети получают совсем уж какие-то идиоты. И моей к ним любви не чувствуется. Что так писать нельзя.

Не знаю. Не знаю, стоит ли писать одно, если совесть требует другого. Если было всё не так, а эдак. Я же не для того излагаю, чтобы стать в ряд с теми фальшиво-положительными, которым имидж нужен для аттестации и движения по службе. В чём-то я ошибался, где-то перегибал. Наверное, нервов не хватало, потому что старался добиться результата. Так видел, чувствовал, действовал. Вернее говоря, в частности, так. Только в частности!

Кроме того, чтобы оценить соответствие описания действительности, нужно было там пожить и поработать.

Иначе трудно поверить. Очень уж экзотично и экстремально было моё учительское бытие. Сама школьная СИСТЕМА была не той, что сегодня. Впрочем, чего оправдываться?

Что касается любви, то, как говорил Паниковский, «поезжайте в Киев и спросите». Не думаю, что найдётся бывший ученик с худой памятью в адрес сиих записок. Потому что точно знаю обратное. Потому и не стыдно.

Итак, восемьдесят первый – восемьдесят второй учебный год. Заря учительской биографии. Первое спотыкание.

«Что за чудо – ненецкие дети! Не нужно быть Некрасовым, чтоб очароваться их неподдельным обаянием. Да так, чтоб сие очарование от сего обаяния не выветрилось до самой гробовой доски.

Вы видите их в первый раз. Вот – двадцать пар чернявых глаз. Впрочем, не все двадцать – чернявые. Есть серые глаза, конопатые носы и рыжие вихры – плоды контактов с «цивилизацией». Но типаж – это когда черным-черно. Вообще.

Итак, целый класс. Вы ходите павлином. Вы настолько чувствуете разницу в уровне интеллекта их и вашего, что не считать себя гением, богом и ещё кем угодно наивысшим просто невозможно. Вы не просто изрекаете, вы изливаете бесконечные потоки истины из бездонных глубин своей личности.

Они лупают глазами.

С первого урока вы отпускаете их с миром. Никаких вопросов, никаких заданий. ВСЁ только начинается, и торопиться некуда.

На следующем уроке вы говорите пару простых вещей, осторожно настаивая на вопросительной интонации. Ответа нет.

Бойкот, что ли?

Нет. Вроде бы, вид виноватый. Господи, как так? И это им неизвестно?

Начинается Великий Перелом ваших представлений о них и, вслед за этим, – ваших отношений с ними.

Милый, румяный, скромный, оказывается, имеет ещё кучу добродетелей. У него никогда нет чрезмерного любопытства, он всегда ненавязчив, не болтлив. И всё потому, что он просто туп. Как валенок.

А эта обаятельная, улыбчивая, белозубая, энергичная, оказывается, не знает, что «сядь» – не значит «встань», «встань» – не значит «отвернись», а «выйди из класса» – не значит «лезь под парту».

Вы терпеливы. Потому, что вы – интеллигент. Пусть даже и не чётко представляете того, что должны из себя в этом качестве – простите – представлять. Ну не бить же их! Это же – дети! «Tabula rasa» – «чистая

доска», как говорили древние римляне, не связывая характер материала с умственными способностями. Они имели ввиду другое. Мол, что хочешь, то и лепи из их сознания.

Проверим, добирались ли римляне до тундры...

Начинаете лепить.

Вот он – Дорофей.

Бог мой, где они только имена выкапывают? Полнейший интернационал: Альбина, Элина, Марат, Эдуард, Артур, Альберт, Элеонора, Лия, Зульфия и даже Сальвадор.

А этот вот – Дорофей.

Дарвин был прав. Но не полностью. Не полностью. Не всё ещё закончилось. Вот с этим сейчас идёт процесс. Опустил голову, глаза себе в пуп уставил и происходит, бубня что-то. Членораздельное ли – установить невозможно. Бубнит очень тихо. Но не просите говорить громче – вообще замолчит. Так что остаётся одно удовольствие – дивиться анатомии, когда голова переходит в пиджак, а пиджак – сразу в сапоги. Не ищите ноги. Их съело туловище.

А, впрочем, бог с ними, с ногами. У меня есть ноги, у него нет ног – все мы люди.

Садись, Дорофей!

Вот – пятый класс. Ух, пятый класс!!! Сколько вас просить: «Встаньте, встаньте!»

– Филипп!!! – Ещё один – не тот, что – Македонский. – Какого чёрта ты у окна? Тебе рубль дать, чтоб ты наконец-то встал?

– Дайте!

– ??????..

Ух, ты...

– Девочки! Я вас сейчас за уши буду разворачивать. Все встали? – ———
Садитесь! Садитесь!! Садитесь!!!

– Ну, что ты стоишь? А?

Кое-кому прилетает линейкой.

Шестой класс. Эх, я – не Сухомлинский! Говорят, он здорово петрил в педагогике. А что могу я? Самое страшное – они тоже чувствуют мою беспомощность. Вот этот, например, сын председателя. Впрочем, иди-ка, сюда, сын председателя! Нет? Хорошо! Магомет пойдёт к горе. Заполучи гранату! Что? Заболела голова?

А ты, сосед, чего вертишься? Теперь ты возмущаешься. Стыдно, что за ухо тяну? Конечно, ты – уже шестиклассник. Причём, тебе уже семнадцать лет.

Ну, ладно, ненцы. Поехали в Италию!

«Культура эпохи возрождения».

Учебная работа – тяжело. Интернет на её фоне – отдых. Главное – регулярно требовать одно и то же: 1. Чтоб не плевали на пол. 2. Чтоб не матерились при воспитателе. 3. Чтоб не прыгали из окон.

Хочется действия – сходи в туалет. Там кто-нибудь стоит и курит. Берёшь за шиворот и делаешь досмотр. Нужно курево – заведи «Беломор» себе. Не нужно – брось в дырку и пошуту: мол, завтра достанешь.

Васёк Неркагы... Сегодня он, ученик первого класса, на удивление трезв. Наверное потому, что его папа Апа тоже. Странный перерыв. Подарок судьбы для воспитателей. Но под матрацем Васька обнаружены несметные запасы хлеба. Как выясняется, он две недели зачем-то таскал его из столовой. Как бороться с этой аномалией?

Ешь, Васёк! Пока не съешь, из комнаты не выйдешь. Для того, чтобы справиться с заданием, Ваську нужно те же две недели. Великое заговенье. Оставим его в покое.

Пора вести детей на ужин. За пять минут до его начала питомцы интерната будут срезать куски мяса с оттаивающей туши оленя и съесть их после вашего отказа в соучастии. Потом, отужинав, эти же дети будут сбрасывать в помойные баки кучи не то что не доеденного, а просто нетронутого сливочного масла, тушеного мяса и варёного картофеля. Полностью съедена будет только морошка с сахаром. Вот откуда берётся здоровый, первобытный румянец!

Не учите питомцев светским манерам. Они сами всё знают. Правда, ученики младших классов во время перемен сидят на полу, вытянув ноги поперёк школьного коридора. Потому что их дальние и непосредственные предки так сидели и сидят в чуме. Глупо, бессмысленно упрекать в отсутствии культуры тех, у кого она другая. Своя. Они сейчас – носители культуры тундровой. Даже сидя.

Старшие классы явно подвергнуты процессу культурной ассимиляции. Капля, говорят, камень долбит.

Так вот. Не унывайте оттого, что днём с вами не здороваются почти никто из школьников. Впереди – тёмное время суток.

Осень. Слякоть. Полный мрак. Как писал классик: «Ни луны, ни собачьего лая...». Два фонаря на весь посёлок. Перед вами почти ничего не видно, а под ногами и того меньше. Идешь, скользя и запинаясь, осторожно ставя ноги на разбитые доски деревянных тротуаров. Не убиться бы в такую темень!

И вдруг: «Добрый вечер!». Это – справа. «Добрый вечер!». Теперь – радостный хор слева.

Спотыкаешься, едва не загремев носом в грязь и доски, в брёвна с торчащими гвоздями. «Добрый вечер!». Это уже где-то сзади.

Кто здоровался – не разобрать, как ни напрягай зрение. Ясно только, что это те же, кто днём всегда стремится прошмыгнуть мимо, молча потупив глаза. Странные, странные дети...».

Когда вжился в местную действительность, когда увидел её шире, когда с ненецкими отцами и дядьками отмахал на рыбалках-охотах и в прочих походах не одну сотню километров – открылась другая жизнь и «другие» дети.

Поразила благостная разница в поведении и в отношении ко мне со стороны учеников, попадавшихся «в розницу» на побережье, в лесу, на болотах или в стойбище. Куда-то исчезал налёт их «игрушечности» и хулиганства. Как будто его и не было. За пределами школы, интерната, посёлка они становились другими, совершенно взрослыми, самостоятельными юношами и девушками. Людьми «в своей тарелке», полными спокойствия и достоинства. Каждый из

них гордился своим положением в данный момент – не интернатовского «воспитанника», а того самого «ненэй неначе» (как звучит самоназвание ненцев) – «настоящего человека».

Самые молчаливые в классе оказывались на природе рассудительно-разговорчивыми, хмурые – улыбочивыми, вечно отлынивающие – деятельными. Немножко скованными и грустными казались только те, у кого в ближайших тундровых окрестностях не было родственников.

С возвращением же детей в посёлок всё становилось на «круги своя», опять несимпатичные.

Впрочем, позднее, по прошествии «санитарного срока» в три года, когда всякий приезжий приобретал в общественном мнении посёлка статус «своего», дети и в его пределах стали относиться ко мне по-другому. Более доверительно и открыто. Может быть, это шло от взрослых.

Я тоже старался. Например, однажды решил научить детвору делать воздушных змеев. Небо над ненецким посёлком запестрело китайскими забавами. Особенно был увлечён Димка Тибичи. Тогда казалось, что его восторженный взгляд уже никогда не опустится с неба на землю.

Но в первую мою тундровую зиму до всего этого было далековато.

Под Новый год обнаружил в голове вшей. Какой кошмар! Какой стыд! Не обращаться же в медпункт. Засмеют. Что делать? Я живу один, но со дня на день должна приехать в гости жена. Катастрофа...

Придумал следующее. Купил в магазине бутылку спирта. Налил полкружки. Соорудил тампон из марли. Окуная тампон в спирт, стал тщательно протирать им шевелюру. Спирт струился за шиворот. Спиртом густо пахло в квартире. Протирая, ходил по комнате, запрокинув голову. Только бы глаза не выжечь! Потом помыл голову в тазике. Вши не выдержали спиртовой атаки. Сгинули. А вообще, в интернате борьба с педикулёзом была регулярной. Каждый вторник воспитанникам протирали головы каким-то раствором с противным, околючесночным запахом. Каждую среду они мылись в бане, откуда выходили чистыми и обезвшивленными. Беда снова настигала с посещением квартир родственников и знакомых в посёлке.

По вторникам вши вновь изничтожались, по средам опять была баня.

Еженедельное колесо.

А случай с личным педикулёзом оказался в моей кутопьюганской биографии, увы, не последним. Но паники я больше не испытывал

Васёк Неркагы – не единственный пьющий ученик. Но он – единственный пьющий первоклассник. Если без преувеличения, то уж, по крайней мере, один раз в две недели Васёк бывает «кривой». Наливает ему родной отец, поселковый печник и знатный пьяница – Апа Иванович. Взять с Апы Ивановича нечего, поэтому власти практически бессильны. Дальше посёлка Васька тоже не отправить. Вот и переживаем мороку.

Мои представления о мире претерпевают изменения. Поскольку пьяный восьмиклассник – довольно частое явление, начинаю воспринимать это как норму. Или почти как норму. А вот Вася – из первого... М-да...

Самая заморочная для воспитателя интерната смена – вечерняя. Двадцать два ноль-ноль – формально момент окончания дежурства. Все подопечные должны лежать в кроватях. На самом же деле, главные события в это время только начинаются. На поиски не явившихся к отбою трёх, пяти, семи человек отправляется специальная бригада из старшеклассников. Минут через тридцать они возвращаются, но кто-нибудь не найден, или его не смогли вывести из объятий любящих родственников.

Парочка учеников ведёт меня на дальний от интерната край посёлка. Желтеет грязное треснувшее стекло ночного окна. В кромешном мраке захламленного тамбура под ногой взвизгивает и начинает перепугано лаять невидимая собака. Я нечаянно наступил ей на лапу. Силуэты школьников остаются на дистанции от избы, где вяло гудит пьянка.

Открываю низенькую дверь, втискиваюсь в кухню-прихожую. Дым коромыслом. Кто-то спит, уронив голову на стол с остатками малосолевого муксуна. На полу валяется замызганный стакан. Помойное ведро. Смесь кислой вони с ароматом псины.

Держась за печь, хозяин квартиры с трудом выговаривает вопрос. Его смысл – выяснение, какого чёрта мне здесь нужно. Объясняю, что мне нужен сидящий на кровати пьяный ученик седьмого класса Коля. Из-за обшарапанной стены выдвигается с трудом держащийся на ногах мужик Мишка по кличке Железный. Его рост – примерно, метр пятьдесят. Но сейчас он пьян и потому безудержно смел, решителен, принципиален. Два этих «бойца» пытаются вытолкнуть меня из дома. Грозно рявкаю на них. Перехватываю инициативу. Цепляю каждого за грудки, сдерживая обоих на вытянутых руках. В такой позиции они не могут меня достать. Их конечности намного короче.

Возня. Сопение. Ненецкие и русские маты...

Пьяный Коля с трудом встаёт. Делает шаг к выходу. Потом неожиданно разворачивается и пытается помочь мне в моей борьбе. Вытесняю его наружу спиной. Отпускаю своих оппонентов и захлопываю дверь перед носами. В последнюю долю секунды вижу, как спавший за столом пытается приподнять голову. Его мутный взгляд не понимает, не видит ничего. Во всклоченной шевелюре примесь оленьей шерсти. Правая рука безвольно висит над почти черными, вытертыми досками пола.

Наша группа движется на фонарь, в направлении интерната. За спиной осталась жуткая смесь нищеты и пьянства. Дикости. Тяжелый осадок убожества, тоски, бесперспективности.

Ой-ёй-ёй...

В интернате Коля сначала отказывается лечь спать, пытается продемонстрировать самостоятельность. Вплоть до готовности биться со мной. Потом ему становится просто плохо.

Рвотный тазик у кровати. Вызванная фельдшерица ставит какой-то укол. Добрая старушка-няня робко наблюдает за происходящим. Ей караулить этих коль, вась и прочих эдиков всю ночь.

В седьмой комнате орлы играют в карты. Не положено. Стремительным маневром карты изымаю.

На первом этаже заведующая интернатом отчитывает неуёмных желающих в очередной раз посетить санузел. Они, хихикая и поеживаясь под вскриками боевитого педагога, делают финальные хлопки туалетной дверью.

Пара дежурных запоздало домывает коридор.

И вот, наконец-то, все в кроватях. Отбой закончен.

Расписываюсь в тетради сдачи-приемки дежурств. На часах – половина двенадцатого.

Домой! Домой!!!

От интерната до квартиры – несколько шагов.

Вид родной кухни, жена в халатике и вязаных носках... Это переполняет грудь восторгом. Я чётко помню, как в подобные моменты отдавал себе отчёт в том, что счастлив.

Труднее всего отбои даются в мае. Неумолимо наползает полярный день. В детях обостряется тоска по воле.

Освободившийся от снега высокий мыс над устьем реки называют «заведением». Отсюда – вид на беспредельные дали, на ровный северный горизонт, за которым скрывается низкий ямальский берег. Над чернеющими заберегами, над полосой воды между берегом и подтаивающим ледяным панцирем Обской губы начинают летать утки. Куропатки, возбужденные сырым воздухом перемен, орут в кустарниках своё весеннее «кобэу-кобэу». Каждый вечер с «заведения» приходится выгонять на отбой десятков-другой школьников. Вернувшись с дежурства только в «ноль-ноль», я по вызову нянечки ещё два-три раза за ночь вынужден бродить по посёлку и окрестностям, разыскивать и приводить выпрыгнувших из окна то какого-нибудь Володю, то какого-нибудь Толика.

Например, сегодня Володя Поронгуй опять пьян и в кураже. Он – настоящий тундровой батыр, и ему на всё наплевать. Историю он всегда отвечает на пятёрки. Этого я не могу не уважать. Но сейчас вытянутый в три часа ночи из тёплой постели «тревожным сигналом» няни, найдя беглеца, отвешиваю ему изрядный подзатыльник. Вовка только хохочет.

Через полчаса, как только покину интернат, Вовка снова сиганёт в талый сугроб под стенкой спального корпуса. А я, опять покинув постель, ещё час буду шнырять по посёлку, будя его родственников и знакомых. Опять буду переживать инциденты с невольно потревоженными мной псами.

В девять утра вывожу мелом на классной доске: «Франко-прусская война. Объединение Германии».

Вот, чёрт, доска-то грязная со вчерашнего.

Ученики шелестят тетрадями.

Вовка довольно мрачен.

– Поронгуй! Сходи, намочи тряпку!

ПЫЛЬЦОВ

Маленькие тундровые посёлки, где численно преобладают коренные северяне, называют национальными. Тут не кипит бурное строительство, не сверлят дыры в земле, разыскивая газ. Ритм полусонный. Жизнь заявляет о себе обычно только после выдачи зарплат или пенсий. Как и по всей разномастной сельской России, в такие дни улицы посёлочков оглашаются бытовыми скандалами и пьяными песнями. Но деньги быстро кончаются, и песняры опять засыпают. Скука.

Если ты вырос в городе, или даже в городке, то первые годы здесь жутко маешься от недостатка общения. Всякий заезжий человек для тебя ценность. Даже если потом он окажется и не очень интересным. Всё равно, что-то новое. Тянешься к нему рефлекторно.

Иногда это приобретает форму несимпатичную. Например, продавщицы в сельмаге, как правило, предпочитают отдать дефицит чужому. Стремятся понравиться. Даже если этот чужой залетел-заехал всего на миг. Свои, вроде бы, обрыдли, а этот – как посланец высшего света, высшей касты. Ему **НУЖНО**.

Поселковым обидно. Но бороться бесполезно. Я сам, помню, просил у завбазой Ивана Иваныча (был такой, с писклявым голосом) продать мне оленью голову с рогами. Нет, и всё! Мол, отсутствует. А через час залетевшие пилоты тащили со склада к вертолёту целые груды ветвистого добра. Хоть злись, хоть не злись.

Но среди всех заезжих есть особая категория. Это те, кто любит Север. Они обзаводятся знакомствами, перерастающими в дружбу и взаимопомощь. С такими нет расчётов на рубли и копейки. Рождается другой, вечный, взаимный кредит. Детали не обсуждаются. Просто люди живут и дружат. Естественно и красиво.

Среди таких посетителей Кутопьюгана были рабочие, врачи, лётчики. Разные личности. Как правило, вроде бы, ничего особо примечательного. А каждый раз радуешься, встречая их спустя годы случайно в других городах и весях. Таков и Славка. Северный бродяга.

Мы называем его Славкой Пыльцовым. На самом же деле Славка Пыльцов – Вячеслав Васильевич давно. А я его сейчас по-прежнему, по инерции. Из былых времён.

Из тех времён, когда Пыльцову было тридцать пять. Из тех времён, когда Север был страной мужиков сильных и бескорыстных, способных на жертвы и глупости. И благодаря этой силе и бескорыстию мужикам вовсе не нужно было казаться значительными.

По теперешним меркам их простота и разухабистость, их широта натур – не нечто романтическое, а вроде бы безответственность и разгильдяйство.

Но ненцы, которых принято полагать исключительно за «детей природы», ценили и ценят таких, как Славка. И не за «безответственность» мнимую, а за отсутствие элементарного шкурничества.

Зато мы...

А вместе с нами, по нашей вине, и Север нынче стал другой.

Начало июля в моей тундровой жизни всегда было периодом довольно поспешным. Нужно было в отпуск собираться. В Омске родителей повидать и кучу друзей, а в Татарии – тещу с тестем.

Ехать из Кутопьюгана без рыбы – преступление, мотивов которого никто не понимал, а отец мой совершенно не прощал. Так что и не захочешь – лови, вези.

Можно было, конечно, купить десять-пятнадцать «хвостов» у односельчан-рыбаков. Но это же неинтересно.

Не по-мужски как-то. Вот и ловил день и ночь. Готовился к отъезду. Честно говоря, того, что удавалось «взять» снастями за неделю перед отъездом, хватало на отпуск нескольким надымским семьям – многочисленным друзьям моего напарника. Так что увозил я с собою какую-нибудь малую часть пойманного.

На скупых в посёлке чуть не пальцем показывали. Их и было-то: один, два... Тогда шутили, что Ленин завещал делиться. То же самое рекомендовал кутопский лесник, Ромка Бабшанов. Он, например, про первый улов всегда говорил, что нужно раздавать полностью.

Мы с Гришей – хоть первый, хоть не первый – не жадничали. При этом как-то поплёвывали на то, что содержимым Обской губы – «закромами Родины» – распоряжается не только она, абстрактная. Ведь не торговали. Раздавали на пропитание. И себе, впрочем, тоже хватало.

Со Славкой меня познакомил тот же Гриша. В его чулане, куда я однажды заглянул, разыскивая хозяина, какой-то мужик двигал к стенке пару газовых баллонов. Из полумрака на меня обернулась пара внимательных глаз.

Оказалось, что это и есть некто Пыльцов, лучший надымский гришин кореш. Он в очередной раз привёз разные радости, среди которых были и эти красные, пузатые железяки. Они в нашем газоносном крае, а особенно в посёлке, всегда числились дефицитом. Как можно было понять из прессы, всё уходило куда-то «для народа». А с приездом надымского мужика опять не только газ появился, но и на кухонный стол напарника легли свежие огурцы и зелёный лук.

Фантастика.

За ритуальной бутылкой Пыльцов говорил исключительно с Гришей. Только, когда шутил, то в смехе, прищуриваясь серыми глазами, поворачивался и ко мне. Я старательно-понимающе улыбался. Кожей чувствовал, что мой статус не совсем равен статусу внезапного гостя.

Подобная, чуть-чуть неловкая ситуация была и за неделю до этого дня. Тогда Гришу посетил рыбнадзор, громадного размера парень по имени Оскар. Тот, вообще, говоря с моим ненецким другом о делах, поглядывал на меня, долговязого хохла изредка и слегка подозрительно. Что ж, думалось, пока не все знакомы. Нароботаем со временем.

Славку Пыльцова после водки с чаем мы отвезли в Ярцанги. А сами поставили в ночь сети на губе и вернулись в посёлок. Завтра, третьего июля, у Гриши предстоял день рождения.

Утром разбудил почтальон. Телеграмма из Салехарда: «Второго июля выезжаем теплоходом Яр-Сале. Если можешь, встречай. Терёхин. Тютюнник». Дали о себе знать старинные омские друзья.

Я озаботился. На реке стоял доверенный мне Баляевым «Прогресс». Но в Яр-Сале ни я, ни Гриша по воде ни разу не ездили. Это же по губе и протокам – все сто двадцать километров. И перевалку нужно делать. То есть влезать в ситуацию, когда одного берега УЖЕ не видно, а другого – ЕЩЁ не видно. Не попасть бы в шторм. Да и заплутать можно.

И тут зашёл Гриша. С утра – под хмельком, улыбающийся. Солнечный, как хорошая погода.

– С днём рождения, дорогой!

Прочитав телеграмму, именинник безапелляционно бросил: «Какие сомнения, когда друзья из Омска едут! Пойдём!».

Конечно, поездка с Гришей, двумя лодками – это основательно. Но, всё же. Я уговорил не торопиться. Взял перерисованную на кальку трёхкилометровку, хлеб, масло. Облачился в свитер, болотники, резиновую куртку.

Теперь можно попробовать. Пошли.

Сначала двинулись в Ярцанги. Здесь, под высоким склоном стояла ёмкость.

Стальной куб, наполненный бензином. Месяца полтора назад его на вертолётной подвеске притащил всё тот же Пыльцов. Поэтому на местном песке, у самых волн, мы последнее время регулярно заправлялись.

И тогда, и много раз впоследствии я удивлялся: это какой же лихостью Славке надо было обладать, чтобы помочь другу столь эффективно?

На подвеске, ядерн корень... А ведь Славка – далеко не управляющий трестом. И даже не пилот.

Поднялись к чуму гришиного брата Серёги. Затащили наверх и только что вынутую из сетей рыбу.

В чуме проживала довольно многочисленная семья: серёгина жена Тамара и их дети. Тут же находились родители братьев. Старушка прибалывала. Старику Атели было около восьмидесяти, но он всё ещё ездил на рыбалку, а, сидя в чуме, довольно активно участвовал в беседах. Только говорил всегда понеңеки. Я не понимал. А так бы, наверное, многое узнал о его долгой жизни. Колоритный был старик.

Каждое появление в чуме сопровождается приглашением к столу. Вот и тогда, пока мы располагались на шкурах, пока я закурил, Тамара уже разожгла очаг и сварила чай. Не проспавшийся толком Пыльцов со смехом пересказывал события последнего вечера. Балагурил о вчерашней попойке с ярцангинскими мужиками.

Он чувствовал себя в стойбище как желанный гость на даче друзей, где ему не надо полоть-поливать. Упаси, Боже! И без того всегда рады. Его трёп и смех неизменно создавали хорошее настроение.

Одна собака влезла задницей в лежавшую возле очага сковородку. «Чу!», – свирепо крикнула хозяйка и огрела псину тряпкой. Общий взрыв хохота. Виновница, опустив хвост, понуро вышла из жилища. Пить чай Пыльцов отказался. Сославшись на какие-то срочные дела и не очень бодро поднявшись на ноги, он удалился в соседний чум. Мы сообщили гришиной родне о планах поездки в Яр-Сале. «Шторм же будет», – отреагировала Тамара. «Да, ветер что-то разыгрывается», – подтвердил Серёга. «Ладно, – поднялся Гриша. – Пойдём, Вадим!». Пока заправлялись бензином, на берегу появился наш надымский рейнджер. В этот раз с вопросом: «Ну, что, поедем?». Конечно, он имел ввиду кутопское направление. Гриша не сказал ни «да», ни «нет». Это, наверное, означало «да». Моё дело было молчать. Оттолкнули лодки.

Я забрался на «Прогресс». Пыльцов сел с Гришей в «Казанку». После преодоления береговой отмели наш путь лежал к противоположной, ямальской, стороне губы. Отсюда её не было видно даже с высокого яра. Нам предстояло войти в далёкое, неизвестное пока для нас Наречинское русло, то есть – Наречинское зерло. Не промазать, главное – не промазать...

Ярцанги удалялись. Ветер, действительно, разыгрывался. Был тот типичный для июля день, когда начинало штормить при ясной погоде. Успеть бы перевалить, пока волна не выросла до полутора метров! А то неуютно станет. Прошло минут десять. Вдруг Пыльцов с недоумением обнаружил, что мы не поворачиваем на запад и, значит, не едем в Кутопьюган. Со стороны было видно, как гришин пассажир заорал. Потом встал в стремительно несущейся лодке, поводя рукой и явно ругаясь. Я подъехал ближе. Мы сбросили скорость до минимума.

«Какое Яр-Сале?» – кипел очнувшийся приятель. Волны с правого борта обдавали его брызгами, расстёгнутая до пупа рубашка полоскалась напористым северо-восточным ветром. «Мне же послезавтра в Надыме на работу! А вы везёте меня на Ямал!».

Возмущение было велико. Я молчал. Гриша ехидно улыбался. Протекала минута. Нас относило по течению.

«Вы, что, охренели, мать вашу!? Я же в одной рубашке!».

Тон явно сменился. Это уже было похоже на отступление. На скрытое и хрупкое пока согласие.

Гриша молча достал из переднего люка оранжевую рыбацкую куртку.

Протянул Славке. «На!».

Пыльцов онемел. Протянутая куртка повисла вместе с паузой. Потом крикун сжал губы, ещё немного выдержал и демонстративно, медленно напялил прорезиненную одёжку.

«Чёрт с вами!».

Опять – пауза.

«А выпить-закусить есть? Вы то сами мне неинтересны. Бандиты!».

Гриша подал ему мешок, на дне которого теснились несколько бутылок портвейна, хлеб, масло. Кивнул головой назад. Там, за сиденьями были брошены три малосольных муксуна.

«Ладно», – смирился пленник.

За час мы домчались до поворотного буя. И вот перед нашими остановленными лодками лежат ямальские острова, сырые и низкие, словно придавленные. Зеленеет сочная болотная трава. Над невысокими, густыми зарослями ольхи и тальника летают редкие утки.

Ветреное небо. Синь. Свежесть.

Связанные якорной верёвкой лодки мотает небольшая волна. Постукивает дюралевые посудины друг о друга. Пора опять заправлять баки.

Шторм не догнал нас. От сознания первой удачи наступила некоторая «расслабуха». Пыльцов уже не злится. Вновь лучезарно светится его железная фикса. Усмехается.

«Ну, будь здоров, Гриша! С днём рождения, негодяй!».

Я сижу и не знаю, почему Гриша так пошутил со Славкой. Но в любом случае ничего страшного не произошло. Просто чуть-чуть дурачества. Друзья, всё-таки.

Если бы я не прихватил карту, у нас почти наверняка были бы проблемы. Проток в «подбрюшьё» Ямала – не счесть. Они длинны и извилисты. Иные – шириной по километру и больше. Знать надо, куда едешь. Иначе – бензин кончится и кукуй. А на берегах сыро. Костёр разжечь почти негде. Да и что толку жечь, если в эту дыру, может быть, год никто не заедет. Дело серьёзное. Как хорошо, что взяли карту!

Вот уже показались белеющие на солнце склоны Горного Хаманела. Войдя в протоку Большая Юмба, мы обогнали какого-то «Амура». Мужик на катере проводил нас внимательным взглядом. До Яр-Сале оставалось немного.

К моменту швартовки у пристани портвейн кончился. Пыльцов был заметно пьян. Гриша – в поддании. Салехардский теплоход – «Омик» – отсутствовал. Вот, ёлки-палки!

Славка шагнул к пришвартовавшемуся вслед за нами капитану «Амура».

Ветерок донёс, что сначала наш приятель о чём-то спросил, потом стал что-то доказывать. Тон был, разумеется, повышенный.

«Отвали», – сказал мужик и направился в посёлок. Славка не отвалил. Побрёл вслед, пьяно жестикулируя и пытаясь полуприятельски держать жертву своей беседы за локоть. Мужик резко остановился. «Я же тебя в милицию сдам!».

Слава возмутился: «Как? Меня? Нас!».

Действительно. Признанного технического гения, главного инженера автобазы кто-то ни за что собирается сдать в милицию. Пусть только попробуют! Он решительно шлёпал ногами по бревенчатому настилу, уводящему от пристани наверх, в посёлок. По-прежнему назойливо талдыча что-то отмахивающемуся ярсалинцу и бесконечно прихватывая того за локоть, скрылся за поворотом деревянной улицы.

Я понял, что настоящие приключения начались именно сейчас.

«Чёрт возьми, – вертелось в голове. – Мало того, что на наших лодках нет номеров. Это ведь только в родном посёлке они не нужны. А здесь-то нас не

знают. И паспортов с собой нет. А вокруг – зона пропусков. Сейчас придётся доказывать, что не из Канады приехали».

Отсутствие Пыльцова высасывало нервную энергию. «А если Слава успеет натворить ещё что-нибудь? Например, толкнёт яркую речь перед властями...». Славка показалося из-за поворота уже через семь минут. В сопровождении офицера милиции.

«Класс! – досадно сплюнул я. – Вот и веселье».

Подошедший милиционер мгновение оценивал ситуацию. В это время автор скандала хмуро смотрел себе под ноги.

«Оставьте лодки и вещи. Пойдёмте в отделение». Голос стража порядка звучал не очень раздражённо.

Зато возмутился Гриша: «А если в лодках что-нибудь пропадёт?». В его взгляде исподлобья сквозила угроза в адрес носителя погон.

«Господи, – подумал я, – мало нам проблем. Не хватает досмотра лодки и извлечения на свет божий перемёта на осетров». Но продолжать Гриша не стал. Наверное, дошло.

Мы с покорностью баранов двинулись в посёлок. Замыкающим плёлся герой автобазы и дальних стойбищ, Вячеслав Васильевич Пыльцов.

Далее всё было просто. Нас оставили ждать «гражданина начальника» в полумраке приёмной. Мы сидели на какой-то лавке и молчали, вынужденно впитывая классический аромат неустроенного, деревянного Заполярья. Того Заполярья, где короткими полулетними периодами повсеместные и обширные помойки не гниют, а торчат на ваших глазах и в ваших душах, нагоняя уныние. Обойти эту мерзость можно только по тротуарам, устроенным на обитых досками, высоких теплотрассах. А вокруг, словно пытаюсь отвлечь от кошмарного бесстыдства и беспомощности, тихо колышет под ветерком ватными, белыми головками поросль, именуемая в ботанических определителях как «пушица влагалищная». Всегдашняя примета заболоченной тундры.

Того Заполярья, где из-за суровости климата в более-менее крупных зданиях сортиры встроены внутрь, но канализация отсутствует по причине вечной мерзлоты. Везде. В этом чёртовом Яр-Сале, в Антипаюте и Тазовском, в Гыде и Сёяхе. Даже в Салехарде. Везде.

Короче говоря, мы сидели и впитывали прохладную смесь запахов сырой древесины и нечистот.

От непоэтичных мыслей оторвало донесшееся из-за двери «заходите!».

Встрепенувшийся Славка заявил, что сейчас поговорит серьёзно. Я с негодованием отверг предложенный вариант и зашел в кабинет один. Довольно долго капитан милиции каверзными вопросами «прощупывал», действительно ли мы из Кутопьюгана. После достаточной кучи верных подробностей в моих ответах нас отпустили.

«Приведёте утром ваших друзей с паспортами!» – сдержанно строго напутствовал милиционер.

Конечно же, мы пошли в магазин.

Ночью ветер разыгрался даже у пристани, хлётко обсыпая редким дождём. Было дьявольски холодно. Алюминиевые слани – не тёплая постель. Да и из магазина нам удалось принести только сухое вино. Про день рождения больше не вспоминали. В общем, замерзли, как цуцики. Особенно, Пыльцов. Он долго бурчал, пытаясь укрыться от дождя под передней панелью «Казанки». Хмурым утром подошёл «омик». Появились цветущие Саша и Лёша. Они были гораздо радостнее нас. Мы забросили рюкзаки в лодки. Сходили с несколько удивленными парнями в милицию. Поехали.

Обратный вояж через губу. Здесь ещё внушительны отголоски ночной стихии. Чёрные воды до горизонта «кипят» белыми «баранами». На зерле волна больше метра. Но Гриша ездить медленно не любит. Они со Славкой несколько раз не успевали в нужный момент сбросить скорость и попросту врезались в крутые валы. Накрывало. Со стороны это выглядело эффектно и жутковато. От вчерашнего «подогрева» не осталось и памяти.

Ветер разогнал тучи, и яркое солнце наполнило картину новым настроением. Потеплело в душе. Тонким ростком пробился и окреп кураж.

Омские друзья едут со мной. Для них подобный аттракцион впервые. Подъёмы и провалы лодки. Она взлетает над очередной громадной водяной ямой.

Срывается... Ах!!! Удар всем корпусом – бах! Бриллианты брызг.

Покрасневшие руки, мёртво уцепившиеся за край залитого ветрового стекла. Сосредоточенность. Мокрые штаны и сочащаяся студёной сыростью вязаная шапочка. Холодные капли с кончика носа. Напряженные улыбки.

По-дурному, часто меняя голос, орёт мотор. Влетаем на очередной гребень...

Провал... Бах!!! – опять удар всем корпусом.

Правой рукой смахиваю воду с лица – просто так не проморгаешься. Летит, как из ведра с размаха. Резко.

Всё чётче и толще темнеет полоска на бескрайнем водном горизонте.

Перевалка. Медленное приближение к берегу.

Лёша Тютюнник на заднем сиденье постоянно обдаваем брызгами и пропитан водой абсолютно. Изумлённо-подавленно ёжась и поводя головой, молчит всю дорогу. Вдруг, сдувая капли с носа, двигается, наклоняется вперёд. Открывает рот. Сквозь мотор, стихию и грохот корпуса слышу возглас: «А ты азартный, Парамоша!». Скривив ухмылку бывалого, подмигиваю.

До берега осталось не так много. «Казанка» с Пыльцовым и Гришей строптиво «гарцует» чуть впереди, взрываясь фонтанами и сотрясая экипаж. Картина!

Через три-четыре часа мы обсыхали в чуме. Хозяева говорили, что они волновались, так как после нашего отъезда и потом всю ночь был очень сильный шторм.

Я прихлебывал горячий чай и, расслабившись, не подозревал, что сегодня же, поздно вечером, мне лично придётся везти Вячеслава Васильевича в Надым. Потому что вертолёт не прилетит, а на работу ему нужно срочно. Теперь уже

маршрут будет более, чем двести километров в один конец. Новые гости подождут меня в Кутопьюгане.

Всё, нет, почти всё в том вояже будет хорошо. Воды будут спокойны. А Славка окажется просто молодцом. Хотя, вроде бы, и ничего особенного.

Но это – другая история. Как-нибудь потом...

БАЛЯЕВ

Пусть местных тем однообразие

Здесь похоронит хоть кого.

Но мы опять идём в зерло.

Скажи себе: а в том ли счастье?

Николаю Баляеву

Я уронил лобаря в воду. Мы с Баляевым вспороли рыбину, я омывал её полость и уронил. Лобарь был, конечно, для страховки привязан через рот и жабры капроновой верёвкой к лодке, но узел, сделанный мною, оказался слабым. Развязался. И вот теперь наш осетр-недоросток где-то на дне. Глубина здесь, кажется, не велика – метра полтора. Да и течения нет. Но, всё равно, если даже полезу в воду, то найду ли?

Баляев промолчал. Даже не сматерился. Это означает, что он крайне недоволен. Крайне.

Я раздеваюсь догола и спускаюсь за борт. Холодно. Достаю ногами плотное песчаное дно. Начинаю медленно-медленно семенить, ощупывая ступнями невидимую поверхность. Пять минут. Семь.

Баляев, отвернувшись и глядя куда-то вдаль, курит папиросу. Молчит. Его затылок выражает полное презрение. Эх-хэ-хэ! В осетришке, поди, и пуда нет. Максимум – килограммов пятнадцать. А какое красноречивое молчание! Если не найду, то Коля будет вспоминать мне это при случае всю оставшуюся жизнь: и привязал не так, и держал не так, и, вообще, ни к чему я не пригоден.

Наконец-то нога наступила на жёсткий корявый панцирь. Вот он, милый. Достаю.

«Чёрт возьми, чуть было, смешно не получилось!».

«Смешно уже получилось», – мрачно и веско парирует Баляев.

Едем домой молча.

Невыносимый он мужик. Гундит и гундит. Каждый раз один сценарий: едем на рыбалку – матерится. Ставим сети или проверяем перемёты – матерится. Гребу я не туда, подаю не то, сажусь не там, мотор дёргаю не так. Всё не так. Мрачно. Я, конечно, терплю, зная его сварливую натуру. По правде говоря, жалею, а точнее – ценю нашу дружбу. Ну, что с ним, сутулым чертом, поделаешь?

«Отрываюсь» только тогда, когда всё уже решено: поставлено, поймано, взято.

Тогда в ответ на очередной упрёк я рычу какую-нибудь сложную грамматическую конструкцию с ненормативным набором. Баляев замолкает и отворачивается. Обижается.

В Кутопьюган Николай Иванович приехал в двадцать девять, поменяв не одно место работы и жительства. Сначала Арзамас, потом Коми АССР. Ямальский Север, побережье Обской губы – это очередная отправка контейнера с ворохом барахла. Очередной перевоз малых детей, жены и прорвы разных книжек учителя физики. Очередная попытка найти пристанище.

Я прибыл сюда недели на две раньше. Поэтому по сравнению с Баляевым в момент встречи был уже довольно осведомлённым человеком. Учитывая же предшествующий, студенческий, северный экспедиционный опыт – и вовсе бывалым.

Дымя куревом в полумраке своей лаборантской, Николай Иванович расспрашивал обо всём местном. Особенно его интересовала рыбалка.

Выслушивая подробности, не отрывал взгляда и забывал про папиросу, которая постоянно гасла. «Вот это да!» – выдали его глаза при моём первом рассказе о здешних способах и уловах.

«А вот охотой никогда не буду заниматься», – встряхнувшись от впечатления, заявил он. И рассказал историю.

Было Коле лет около десяти. В отцовском доме за столом собрались бывшие фронтовики. Выпивали, беседовали. Один из ветеранов вспомнил случай о том, как на передовой между нашими и немецкими окопами оказался заяц.

Обыкновенный зайчишка между двумя линиями воюющих. Заметался зверёк.

Ну, кто-то из красноармейцев и хлестанул по нему из пулемёта. И, видимо, попал, ранил безобидного. А тот вдруг как заверещит! Как малый ребёнок.

«Этот плач у меня до сих пор в ушах стоит», – заверил товарищей рассказчик. За столом повисла тишина, и это, видимо, усилило впечатление восприимчивого ребёнка. Осталось на всю жизнь.

«Так что никогда не буду охотиться. По мне лучше рыбу ловить. Её не жалко», – подвёл черту Баляев.

«Ну-ну...» – протянул я, ещё не зная, насколько окажусь прав в своём сомнении.

Уже через день Николай Иванович на берегу Обской губы забрасывал доночки.

На червей, копанных у старой конюшни, клевали щекурята и пыжьянчики.

Таких, маленьких, трёхсотграммовых рыбок в Кутопьюгане доселе никто из взрослых рыбаков не ловил. Кому нужна мелочь? Баляев же натаскал за зорьку почти полный рюкзачок и был очень доволен.

Последующие годы знакомства я выслушал от него бесконечное множество рыбацких историй, где зерном, как правило, была похвала настойчивости.

Николай Иванович сформировался человеком упёртым.

Упёртость эта носила порою характер совершенно нерациональный. По крайней мере, мне так казалось. Баляев до бесконечности чинил сети, которые нужно было давно выбросить. Баляев часто не оставлял себе на сон даже трёх часов, готовясь к тем урокам, которые вёл уже десяток лет. Баляев, забыв даже голову очертить, направлялся в такие маршруты, где и дьявол ногу сломит, не то что северный новичок.

Впрочем, новичком Баляев пробыл недолго. Всё свободное от учительских обязанностей время он методично осваивал окрестности, снасти и средства транспорта.

Первой же весной он попал на охоту с Володей Семёновым. По берегам озера Интегральского таял снег. Над вершинами кустов выглядывала издалека крыша школы-интерната. Ветерок рябил воду.

Только сели в скрадок, как налетела шилохвость. Володя сдержался, не поднял ружья. Николай повел стволом «ижевки», выстрелил, и (о, чудо!) утка шлепнулась в воду. Слегка обалдевший от удачи Баляев повернулся к Володе – Наверное, я буду хорошо стрелять?

– Наверное.

Николай смотрел на подобранную утку.

– Жалко, всё-таки. Такая красивая.

Однако же в душе проснулась и росла первобытная страсть добытчика.

Последующие выстрелы ушли «в молоко», но к концу охоты добавилось ещё несколько трофеев.

А через пару лет Николай Иванович слыл заядлым стрелком и следопытом, был азартен, как гончая.

Летом он стремительно рассекал водные пространства на купленном по дешёвке «Прогрессе», а вот зимнюю лесотундру ему несколько годиков приходилось покорять пешком или на собачьей упряжке. Не очень-то быстрые были способы, но оленей у Николая Ивановича не имелось, и на снегоход тогда ещё он не накопил.

Вожакom в упряжке был Серый – беспородный поселковый пёс идеального серого окраса и характером в хозяина: вспыльчивый, обидчивый и упёртый. Прочие семейные собаки вожака боялись и потому тянули нарты сквозь бесконечные снега, как положено.

Уже через пару лет в разговорах со мною на школьных переменах Баляев сыпал названиями урочищ, куда я не доезжал, коих не видывал, о которых не всегда и слыхивал. И почти каждый рассказ звучал историей маленькой катастрофы с последующим подвигом. Того и другого вполне (я в этом был уверен) можно было бы избежать. Но, всё-таки, слушать было интересно.

Баляев умудрялся при нашем примерно одинаковом графике жизни и учительствовать больше, и куропаткам окружающим покоя не давать. Баляев раньше меня подстрелил глухаря. Я помню данное событие. Кстати, для зимней охоты он с женой Натальей сшили белый маскхалат – прямо как у лыжника в советско-финнскую.

В этом маскхалате я его тогда с глухарём и сфотографировал. Правда, при этом картину дополнял бежавший из Херсона на Север музыкант, аферист и враль Миша Мазовецкий.

Среди ненецкого населения посёлка у Баляева были свои, сложные для понимания, обширные, ежедневные, деловые связи.

В общем, втянулся он в лесотундру по уши. И чего только с ним не было!

Одна примечательная и характерная для друга история случилась у меня на глазах.

Начало зимы. Еду на собачьей упряжке с рыбалки. Псы тащат нарты хорошо, потому как всем домой охота. А лёд местами ещё очень тонкий, но после нескольких часов тяжелой рыбацкой работы осторожность притупилась. Еду, песенки напеваю. Гляжу: в полуверсте справа от меня пара человек на «Буране» к зерлу на порядки, то бишь к сетям, едет. Я отработал, а им ещё предстоит трудиться. Давайте-давайте...

В общем, настроение хорошее. Подо мной пара мешков рыбы, где-то впереди посёлок и перспектива тёплой кухни.

Вдруг чистый, без снега лёд захрустел и начал прогибаться. От полозьев нарт белой молнией побежали трещины. Что делать? Я рывкнул так, что собачек едва кондрат не хватил. Резво они дёрнули от вопля страшного и через мгновение вынесли на твёрдый участок.

Ну, успокоился я. Закурил. Огляделся. А справа уже никто, между прочим, не едет. Как так? Пригляделся – давешняя парочка в полынье плавает. Давай туда собак гнать – не везут. Я бегом.

Пока поспешал в своих громадных пимах, люди из полыньи сами выбрались. Один побрёл в посёлок, а второй зачем-то остался. Наконец-то доковылял я. Вижу – это Николай Иванович Баляев ходит вдоль края полыньи и скверно ругается.

«Коля, – говорю, – на дворе – тридцать с ветерком. Беги домой, пока дуба не врезал». Не слушает Коля, переживает, что «Буран» утопил.

В общем, уговаривать долго я его не стал. Плюнул. Вернулся к собакам и уехал в посёлок. Баляев пришел в тепло только через два часа. Такой вот идиот. А ведь сын его – Колька Николаевич, отправленный домой сразу же, едва-едва добрался. Потому как заледеневшая одежда перестала гнуться задолго до посёлка.

«Буран», кстати, назавтра местные мужики вытащили. Неглубоко там оказалось. Двух метров даже не было.

Но это всё – история в том виде, как увидел я. А вот баляевский сын Колька, спустя годы, рассказал её подробнее. Как участник «заплыва».

- Поехали мы ставить сетки под лёд. А желания их ставить у меня никогда большого не возникало. Потому что это тяжело, холодно и рыба зимой никогда не ловится сразу.

Навалили мы тогда на нарты груза на две сети, то есть килограммов шестьдесят – минимум. «Игла» - шестиметровый деревянный шест для протяжки верёвки и сети подо льдом – была прицеплена за верёвочку сзади. Подъехали мы к шорохам и давай определяться, где же поставить сетки. Смотрим: там и там уже есть чьи-то, а посередине – чисто. Ну, мы - по газам и поехали дальше. Я за отцом на «Буране» сижу. Он рулит стоя. Вдруг слышу, говорит: «Хана» Через полсекунды и сам вижу: нарты начинают проваливаться. Воды ещё нет, но лёд настолько проседает, что понятно, действительно – хана. А нарты у нас были самодельные, деревянные, с узкими полозьями. Нагрузили мы их здорово. Вот и утонули они первыми.

Как потом выяснили, на том месте, куда мы направлялись, ещё вчера была полынья. Просто ночной мороз затянул её слегка, и мы в любом случае

провалились бы. И, слава Богу, что нарты утянули нас ещё там, где было относительно мелко и не было течения, которое наверняка затащило бы под лёд. Выбирались мы по разные стороны образовавшейся полыньи. Отец – справа, я – слева. Дна под ногами не было. Одновременно не было ощущения страха, не было ощущения холода. Вообще ничего не было. Просто: провалился – надо выбраться. Друг друга не видели, затылками оказались. В голове единственная мысль – надо выбраться.

Подплываю я к ледовой кромке. Забросил локоть на край – ломается. Ещё раз – ломается. Просто так не выберешься. Страх пробил, словно током, всё тело и осел в мозгах. Слышу, отец сзади кричит: «Плыви к «игле»!» Оглянулся – он точно так же не может выбраться, лёд ломается. А «игла» шестиметровая между нами. Плыть – метра три. Не хочется, боязно ледовый край оставить. Тут как-то получилось, что лёд не обломился, и я вылез. Подобрался к тому концу «иглы», который на льду остался, хочу её к отцу подвинуть, а он уже и сам вылезает. Его тоже лёд выдержал.

Пошли мы домой. А пилить – километра четыре. Шмоток, пропитанных водой, на мне немного меньше, чем я сам вешу. Но шагаю впереди. Метров через двести батя говорит: «Ты иди, я догоню». «Бог с тобой» - думаю. Метров через пятьсот слышу – тишина за спиной. Пытаюсь оглянуться, чую – одежда уже заледенела. Пришлось развернуться всем корпусом. Вижу – он у полыньи ходит. «Ладно, - думаю. – Мне некогда. Домой хочу». Шурую дальше.

Идти всё тяжелей. Устал сильно. Упал на колени. Передохнуть бы! Потом развернулся на коленках, вижу – отец вдали идёт, вроде бы. Поднялся я с трудом. До дома остался ещё километр. Добрался до лестницы на пристани. Поднимаюсь еле-еле. Мимо люди идут. Кто с вёдрами, кто – так. На меня смотрят, а мне почему-то стыдно. «Скорей бы с глаз чужих домой», - думаю. Добрался до своего крыльца. Две ступеньки преодолел нормально, а на третью – высокую – забраться не могу, нога в обледеневших штанах так не поднимается. Упал грудью на крыльцо, перекатился к двери. Подтянулся на дверной ручке, встал. Зашел в дом. Дома – мать с братом Лёшкой. Тут я в полной мере ощутил, как мне холодно.

Стою у печки. Наверное, мама что-то говорила, но слов я не помню. Помню только, что паники не было.

Наверное, с полчаса меня раздевали. Всё так заледенело, что не могли растегнуть мой крытый полушубок, пока он не подтаял от горячей печи. Наконец-то и батя зашёл. И как-то легко снял своего суконного гуся. Поставил его в сторону. Помню: гусь стоял колоколом, растопырив рукава.

Кстати, назавтра выяснилось, что отец, вернувшись от меня к полынье, думал-думал, померил глубину иглой. Потом скинул гуся и, ныряя с головой, вытащил сети и грузила. Без поклажи деревянные нарты всплыли, и он вытянул их на лёд. На следующий день я с собаками пришел на это место, и упряжка утащила нарты со мной в посёлок.

Уже через год-два тесная квартира Баляева превратилась в переполненный склад сетей, боеприпасов, капканов, охотничьих лыж, ружей, запчастей к моторам.

На стенах и полочках висели и лежали трофеи: лосиные рога, веера глухариных хвостов, засушенные нельмовые, налимьи и щучьи пасти таких размеров, что мужской кулак, а то и голова в них помещались свободно.

Среди промысловых трофеев усталостью времени смотрели друг на друга два военных – вывезенные николаевым отцом из Германии огромные напольные часы и барометр в затейливой деревянной резьбе.

Чтоб добраться до баляевского письменного стола, теперь нужно было переступить много всяких штучек его промыслового быта. Например, на какого-то беса лежащую посреди комнаты гусеницу от «Бурана».

Всякий раз, вернувшись с охоты или рыбалки и наскоро перекусив, Николай Иванович торопливо идёт в закрытую пустую школу. Готовит кабинет к завтрашним урокам.

За что этого зануду любят ученики, я не знаю. Однако почти каждый вечер около десятка старшеклассников собираются в кабинете физики и лаборантской, вместо того, чтобы отираться в сельском клубе. То они к завтрашней лабораторной работе на столах приборы расставляют, то под баян Николая Ивановича песни поют, а то просто так сидят, тихо переговариваясь. Ну, просто мёдом им здесь намазано. Почти каждый вечер!

И систему Шаталова наш физик освоил так, что многие безнадёжные двоечники с удовольствием работают на уроках. Учебных таблиц с «опорными сигналами» нарисовал уйму. Особенно часто табличная муза пронимает его в лаборантской перед рассветами, которые он встречает красными от трудовой ошалелости глазами.

Несмотря на это, в педагогических передовиках Николай Иванович не числится. Может быть потому, что коллег он любит и уважает меньше, чем учеников.

Баляев бросил пить. Но терпимости ему это не добавило. Ещё нуднее стал. С начала своей трезвости уже два года он страшит меня алкоголизмом и вытекающим из него скорым жизненным финалом. Среди других коллег едва ли не четверть относит ко «врагам народа». Но ведь именно среди коллег попадают начальники. И начальники всегда лучше детей знают, который из учителей хороший.

А ученики, наверное, тянутся к Баляеву по той же причине, что и я. Добрый он, хоть и зануда, хоть и орёт иногда. Например, мой крохотный четырёхлетний сын Андрей говорит так: «В Кутопе хорошо. Тут – садик. Тут – Иваныч».

Мотор несёт нас домой. Николай правит лодкой и непрестанно курит. А я о нём, психе, думаю. Нервы у меня спокойнее, но и при этом Коля сегодня опять «достал». Да ладно уж, чёрт с ним!

Я – сибиряк, а он – Поволжье. Край, как известно, несчастный, вечно голодающий. Поэтому по отношению к Баляеву во мне изначально некоторое чувство превосходства. Оно помогает более-менее ровно переносить его всплески.

В школе каникулы. Через неделю разлетимся-разъедемся в отпуск. Я – в Омск и далее, а друг мой – в Арзамас. По этим адресам и сегодняшняя добыча отправится на радость любящим родственникам. Разрезанная на три части

рыбина сейчас – всего лишь кучка чего-то, упрятого в мокрый, неопрятный, выдавший виды мешок. Но мы-то знаем, какая это вкусная и ценная кучка. Надо бы не позднее утра посолить.

Едем. Показался кутопьюганский мыс. Ещё минут двадцать – и мы дома. Вспоминаю, как позапрошлой осенью прилетел в гости друг детства Коля Перистов. Лодки тогда у меня ещё не было, и Баляев вызвался свозить нас на рыбалку. Наблеснили мы изрядно, двинулись обратно. Перед устьем, когда до причала оставалась пара вёрст, мотор заглох. «Всё, – категорически заявил Николай Иванович, – бензин кончился. Гребите к берегу!». Я погрёб. А кто грёб на «Прогрессе» против ветра, тот знает, что это такое...

Через полкилометра достигли суши. Взяли бечеву на плечо и потащили по прибрежному мелководью лодку в посёлок. Через час притащили. Тут хозяин вытащил бензиновый бак, чтоб дома заправить. А в баке – ещё литра три горючего. Я по данному поводу, конечно, сказал, что думал. Но не с таким же мрачным видом, как это постоянно делает он!

Впрочем, не нужно забывать, что Иваныч бывает и невероятно терпимым. В прошлом году, уезжая в отпуск, он оставил мне свою лодку. Я откатал на ней полсезона, в аккурат до дня возвращения товарища с семьёй из отпуска.

Буквально за час до отлёта я спешно выгрузился у пристани из замусоренной, измазанной грязью и брызгами рыбьей крови посуды. Встретились на вертолётной площадке, куда я пёр свои баулы с вещами и уловом.

«Коль! А я ведь даже лодку не помыл, полна грязи».

«Хрен с ней! – сказал методичный, скрупулёзный Баляев. – Я сам вымою. Как порыбачил-то?».

«Хорошо».

«Ну и отлично!».

Берег. Глушим мотор. Причаливаем.

«Вёсла домой нести?».

Пауза.

«Да я сам возьму, – не глядя в мою сторону, со вздохом протягивает Баляев.

Потом примирительно. – Пойдём чаю хлебнём, что ли?».

Бредём в его квартиру. Семья спит. Заходить надо осторожно, здесь сейчас весьма темно.

Правое плечо шоркает о ворох плащей, курток, телогреек, шапок. Под ними – завал разной обуви. Всё это – гардероб.

Слева нужно постараться не сбить умывальник и ведро с мыльной водой.

Кухонный стол, практически упирающийся в печку с кастрюлями, – всего в метре от входной двери. Перед столом – фляга с питьевой водой, ведро с собачьим варевом, какие-то банки, ящики и пара избитых табуреток. Ногу ставить почти некуда: довольно типичная квартира кутопьюганского учителя.

Раздвигаем часть кухонного барахла, режем хлеб и чаёвничаем под малосол.

Усталость закрывает веки. Пора расходиться.

На моё «пока» закутивший у печки напарник мотает головой. Споткнувшись в темном тамбуре о Серого, выхожу.

Посёлок в объятии сна. В немоте бело-перламутровой ночи шлёпанье сапог по доскам тротуаров звучит неуместно гулко.
Скорей бы домой добраться да в койку!
Завтра нам с Николаем ехать в Шугу. А это – почти у чёрта на куличках. Даже при хорошей погоде.

* * *

Это было давно. С тех пор многое изменилось. В Кутопьюгане сгорел дом Николая Ивановича, и его самого больше нет среди живых.
Пройдя вдоль и поперёк льды, снега и воды Крайнего Севера, он утонул по неосторожности в тихой, безобидной речке средней полосы России. Во время отпуска.
Романтик и работяга.
Учитель от Бога.
Невыносимый зануда.
Мой друг Баляев.

НАДЫМСКИЙ ПАРЕНЬ НИКОЛАЙ ПАРХОМЦЕВ

Сейчас Николай – серьезный предприниматель в Тюмени. Иногда заезжаю к нему. Старых друзей нужно видеть не только потому, что хочется поболтать, но и для того, чтобы исполнить долг перед собственной памятью. Из самоуважения, так сказать.

А познакомил нас в восемьдесят третьем году Игорь Май.

Этот парень со смешной фамилией однажды поволок меня, командированного в Надым поселкового учителя, к какому-то Коле на день рождения. Было неловко, я вёл себя примерно и по выходу сказал жене именинника дежурно-банальное о том, что всё было вкусно, а особенно – торт.

«Да, – громко, чтоб слышали все, заметил Игорь, – торт – это единственное, что было куплено в магазине».

Ну, чёрт с ним, с язвой. Речь не о нём, а о Николае Пархомцеве.

Зачем напялил «паникёрку?»

Через полгода после знакомства он приехал в мой посёлок Кутопьюган с компанией вневедомственных охранников, среди которых числился и сам. Разбудили утром, напоили дефицитным пивом, осмотрели «берлогу» скромного педагога.

Ну, что, поехали?

Айда!

Мы бороздили Обскую губу на родной «Казанке», проверяли сети, заезжали в стойбища, курили-говорили. Радовались солнцу и воде. Бегущую лодку подбрасывало на встречных валах. «Как мне всё это нравится!» – крикнул я сквозь брызги и ветер, сидя за румпелем. «Зачем же тогда «паникёрку» напялил?» – холодно срезал Коля.

И мне стало стыдно за оранжевый спасжилет. Хоть я и понимал, что он в наших условиях – отнюдь не лишний. Ведь кому нужны утопленники? Никому. И всё-таки...

Мой напарник, Гриша Анагуричи привёз на колин катер в подарок осетра и с полмешка белой рыбы. Тем временем разыгралась непогода. Мы забрались в сухое и образцово чистое нутро судна. Какой-то лейтенант очень вкусно, с корочкой, пожарил муксуна. Мы ели рыбу, запивая чаем, болтали и только к вечеру засобирались обратно. Попрощались, но не смогли отъехать, потому что сломался мотор, и, как оказалось, серьёзно. Пока часа три ремонтировали его в трюме, наступила ночь. Буря усилилась.

Под светом прожектора попытались отчалить. Только здесь, на единственном светлом пятне среди непроницаемого мрака осенней ночи были видны дождевые струи и рыже-коричневые волны. Лодку безбожно бросало, а двигатель постоянно глох, заливаемый водой.

Наконец-то отъехали.

Снова заглохли.

Утопили весло.

Когда нас, торопливо дёргающих стартер, в очередной раз понесло течением из тьмы к тому же прожектору, мы сдались. Решили переночевать.

Хоть и свербело в голове, что утром мои занятия в школе начнутся с первого урока, стало очевидно, что ехать в эту штормовую ночь два десятка километров было бы убийственно.

С рассветом волны стали меньше. Катер повёз нас и потащил за собою лодку до посёлка. В половине десятого я открыл дверь квартиры. Жена сказала, что не спала, постоянно подогревала утиный суп, и потому к утру он скис. Ещё жена сказала мне, что во время первого урока, оглядываясь на покрытую белыми бурунами Обскую губу, она добежала до школы и посетовала директору на то, что муж вчера уехал на рыбалку и не вернулся. «Ничего себе! А как же учебно-воспитательный процесс?» – по-деловому строго спросил Леонид Филиппович. В общем, я вышел на работу ко второму уроку.

Сам же Пархомцев всякое повидал. И то, что он до сих пор жив – скорее случайность, чем закономерность. Не замёрз, не съели, не застрелили, не утонул.

Везунчик. А примеров – сколько угодно.

Стоял конец сезона. Николай с товарищами рыбачил на Собачьих сорах, что в устьевой части Надыма, по левой стороне. Четверо суток мужики почти не спали. Рыба скатывалась в реку, и через каждую пару часов нужно было только успевать проверять сети.

Охоты уже практически не было. С одной стороны, места были не куропаточьи и не глухариные, а с другой, почти все водоплавающие отлетели. Ещё пару недель назад упал и растаял первый снег. Редко-редко, свернув из протоки на очередное озерцо или в сор, мужики видели на приличном расстоянии одну –

две чёрные точки. Это запоздалая, не отлетевшая утиная молодь последние дни набиралась сил перед дальней дорогой в южные края. Так что за несколько суток пальнули по уткам буквально пару раз, но ничего не добыли. Слишком велика оказалась дистанция. Правда, подстрелили ондатру. Здоровенную и рыжую, но всего одну. Можно сказать, что ружьё болталось в лодке скорее на всякий случай, чем по существу. Впрочем, оно не очень-то и мешало. Чёрными октябрьскими ночами, когда холодные звёзды обещали скорую зиму, примораживало изрядно. Лужицы и стоячую воду соров подёргивало ледком. Только днём, когда в безветрии пригревало и травяные, болотные кочки сияли последней желтизной, можно было расслабиться и немного покемарить под горький запах кострового дыма. Ну, а рыбку половили хорошо.

Обратно двинулись с расчётом доехать до города засветло. Николай в «Тюменке», почти доверху загруженной щёкуром, направился первым, а два Толи – Морозов и Сердюков – по пути задержались, чтобы снять последние сети.

Николай вышел на Надым и, приткнувшись к берегу, стал ждать.

Часа через четыре поднялся ветер, пошел мокрый снег. Река, несущая шугу, помрачнела. Бояться за товарищей, опытных северных скитальцев, резона не было. Не пропадут: с ними остались все котелки, брезентухи и прочее.

Остаться же одному на ночь среди голой песчаной косы было бессмысленно. Решил двинуть дальше. Сначала ехал медленно, вполгаза, с надеждой на то, что всё-таки догонят. Густели сумерки. Навстречу попался на лодке Веня Шеменев. Поздоровались. Николай попросил товарища при встрече сказать ребятам о том, что уехал в город.

Ладно!

Пока!

И снова вверх по реке.

Снегопад стал плотным. Резиновый рыбацкий костюм, одетый поверх меховой и стёганой ватной одежды, покрылся ледяным панцирем. Встречая лицом стылый ветер с бесконечными иглами снежинок и чувствуя, как растёт «броня», Николай всё более казался сам себе неподвижным кульком.

Ровно звенел мотор, оставляя за кормой километры. Берега уже едва угадывались. Опустилась ночь, придавая движению ощущение нереальности. Не смотря на холод, клонило в сон. Забирала мертвецкая усталость. Время от времени вздрагивая, путник ловил себя на том, что предыдущие секунды проспал.

На подходе к посёлку Старый Надым показался стоявший там земснаряд.

Встречный теплоход «эртэшник», во тьме и снегопаде не заметив такую мелочь, как моторная лодочка, заставил Николая резко свернуть и заскочить внутрь понтонного ограждения.

От мгновения опасности прояснилось в голове. «Эх! – подумал Пархомцев. – Видать, не судьба мне сегодня добраться домой. Заночую-ка я на этом земснаряде. И силы на исходе, и не видать ничего».

После нажатия кнопки «стоп» обледеневшая лодка по инерции, теряя скорость, ткнулась в высокий борт. На земснаряде, кроме навигационных огоньков, фонарь горел только над пожарным стендом. Светилась пара иллюминаторов. Из стального чрева мягко доносился звук работающего дизеля. На палубе никого не было.

Мешкать не стоило. Вырывавшееся из-под понтонов течение грозило немедля утащить судёнышко во тьму ночной реки. С трудом встав, шелестя и скрипя ледяным панцирем, Николай забрался на нос. Верёвочка, подвязанная к носовому крюку, была тоненькой, явно не рассчитанной на нагрузку. Но выбора не оставалось.

Верёвочка лопнула сразу.

Успев схватиться за отдалявшийся шпангоут, Николай носком сапога держал крюк лодки. Сначала он, напрягаясь всем существом от пальцев рук до пальцев ног, пытался подтянуть посудину, чтоб привязать её заново. Течение было сильным, а в «Тюменке» – килограммов триста рыбы. Неумолимая сила растягивала бедолагу, как червяка. Не чувствуя руками обжигающую стынь железа, Николай всё же с каждым мигом яснее понимал, что лодку не удержать. И через две-три минуты он отпустил её.

Повис.

Бурлящая вода оттаскивала ноги от борта земснаряда, но сил подтянуться не было.

Голова работала ясно: «Коля, надо кричать "помогите!"».

В первый раз он скорее скромно сказал, чем крикнул.

Тишина. Руки слабели. На палубе по-прежнему – никого.

«Коля! – мысленно отругал он себя, – Кричи, как положено!».

Паники не было, но требовалось адекватное действие.

Помогите!!!

Площадка, на которую хотелось забраться, освещалась, но повисшего в тени, за бортом, явно сверху не было видно. Струи чёрной воды, обволакивая ноги более, чем по колени, тянули за собой.

– Помогите-е!!!

Наконец, на палубе, перегибаясь через борт, заметался человек. Он не видел источника криков. «Я здесь!» – ещё раз подал голос Николай. Подскочивший спасатель сначала попытался самостоятельно вытащить долговязую жертву в кургузых, обледеневших одеждах. Но жертва была слишком тяжела. Мысли спасателя бились лихорадочно. Он то на два шага отскакивал к каютной двери за помощью, то прыгал обратно, боясь, что повисший на борту пришелец сорвётся.

И тут Николай сказал: «Браток, возьми с пожарного щита багор и зацепи меня. Не бойся, не проколешь!».

Мужик на палубе, прихватив по пути от щита ещё и ведро с верёвкой, забагрил Колю за задницу в многослойных штанах и примотал багор к одной из судовых железяк. Исчезнув на минуту, бегом вернулся с двумя помощниками.

Пархомцев был, наконец-то, втащен на борт.

Без всяких расспросов потерпевшего раздели и отправили в какую-то пропарочную камеру. Через пятнадцать минут его, несколько отошедшего от стресса, усадили за стол и налили полкружки водки. Спросили, как звать. Об ушедшей во мрак лодке обещали позаботиться рано утром. И, между прочим, тихо предупредили: «На борту – рыбнадзор Иван Донов». В коротком разговоре также выяснилось, что спаситель вышел на палубу довольно случайно. Решил принести из каюты банные принадлежности и, надо же, угодил вовремя! А так Николай никого бы не докричался. Потом была каюта с чистым бельём. Провал в сон. В серости раннего рассвета Пархомцева подняли с постели. Снегопад кончился. Под борт земснаряда уже была подогнана его заваленная рыбой посудина. Работал на холостом ходу мотор. Имен мужиков Коля, увы, не запомнил.

Обычные истории

Охотился как-то Коля с Володей Моргуном на песцов. Моргун был для Николая наставником по охоте. Человек колоритный. Настоящий мужчина, со всеми нюансами. В частности, ни из одного ресторана не уходил без драки. Когда-то он окончил военное училище, но со службы вскоре уволился. Вернее, заставили уволиться. Причиной был развод с женой и прочее «аморальное» поведение. Потом, будучи студентом пединститута, он со стройотрядом попал на Север. А через пару сезонов окончательно осел в Надыме. Работал в бригаде Гоцина, был неплохим сварщиком и даже членом окружкама партии. И встретился Пархомцев с Моргуном тоже на охоте, на То-яхе. Познакомились. Поскольку Николай в то время жил в балке, Володя тут же дал ему ключ: когда нужно будет, приходите с женой, пользуйтесь ванной – надымский стиль жизни конца семидесятых годов. После очередной семейной драмы несостоявшийся военный и педагог решил бросить карьеру строителя и записался во Всероссийское добровольное общество пожарной охраны. Стал его первым надымским председателем. Получил печать, марки и агитационную литературу. Оклад – девяносто рублей, но свободного времени – навалом. Так Володя Моргун ещё сильнее посвятил себя охоте и рыбалке. Одиннадцать лет Пархомцев и Моргун промышляли вместе, пока второй не уехал работать на Ягельную.

Кстати, если говорить о мехах, то из-за друга Коля однажды чуть не утратил свою шикарную ондатровую шапку. А почему? Из ресторана, как обычно, уходили с дракой. Поводом для драки были хулиганские действия Моргуна: выходил из туалета и быстренько набил кому-то морду. А за этим «кем-то» была целая компания. Началась погоня. Во вставке меж домами кто-то догнал Моргуна, завязалась схватка. В это время Николай, пользуясь узостью прохода, как триста первый спартанец удерживал

нападавших. Сбитый однажды с ног, он потерял шапку. Её подхватил один из преследователей. Но в итоге этих надымских Фермопил Коля шапку свою всё же нашел. Насильственным способом.

Такие вот друзья.

В общем, мужики выставляли осенью капканы вблизи дальнего от города карьера. Ну, осенью – это по-местному. А на Крайнем Севере свои понятия о временах года.

Например, начало июля на Обской губе считается весной. Хоть и поздней. Но и март – тоже весна. В первом случае снег долёживается только в глубоких лощинах, обращённых к северу и закрытых от солнца. А во втором – морозы могут быть и за сорок.

Так вот осенью по-местному, в ноябре, когда снег накопился уже сантиметров за тридцать, Коля с товарищем и охотился.

Семьдесят восьмой год. Снегоходов ещё не было. До карьера охотников по накатанной дороге подвозили друзья на милицейской машине, а от карьера они на лыжах заходили в тундрочку. Всё, что нужно было, тащили в рюкзаках. На приваду использовали рыбку и всякую мясную крошку, дав ей немного протухнуть. А, кроме того, прикапывали в этой тундрочке тушки добытых до морозов белок.

Капканов стояло много. Путик составлял около восьми, а то и все двенадцать километров. Проверяли капканы через день. Домой добирались за полночь. В один из выходных, когда времени было много, огибая сопочку, охотники издали заметили след. Как будто бы человеческий. Ребятам подумалось, что запёрся какой-то дурак: в тундре и без лыж. Володя Моргун с усмешкой выразился по поводу обнаруженного.

Но вот через полчаса путик пересёкся, наконец-то, со следом. Мужики встревожено закурили. У них под ногами был след медведя. Того медведя, которого называют шатуном.

Нарушенный снег красноречиво говорил, что в одном месте шатун сожрал приваду и подался в сопки.

Естественно, охотники тут же обсудили варианты событий, которые могли состояться. Ружьё они брали с собою не всегда. Да и заряжено оно было дробью, в расчёте только на невинных птах – куропадок.

Назавтра промышлять не пошли. Так получилось, что очередная проверка капканов состоялась только через три дня. Помешали производственные обстоятельства. В следующий раз мужики проявили повышенное любопытство, и оно позволило им сделать маленькое открытие.

В двух местах, где путик проходил вдоль сопки, метрах в двенадцати-пятнадцати выше охотничьей тропы медведь вчера зарывался в снег, очевидно, поджидая охотников.

К сожалению для косолапого встреча не состоялась.

Потом, спустя неделю, Николай слышал, что шатуна искали вертолётчики.

В общем, не такая уж и примечательная история. Рядовая. Например, приятель Николая, ненец Иван Вэлло к ней абсолютно никакого интереса не проявил. Но это – отдельный анекдот.

В черное окно, завешанное тюлем, устало скреблась метель. Абажур над тесным квадратом кухни терпеливо вдыхал струи папиросного дыма. Шкворчала сковорода. Рассказывая про медведя, Пархомцев готовил холостяцкую закуску – вермишель с тушёнкой. Выслушал тогда Иван Вэлло. Вежливо помолчал. Не по теме спросил, опустив глаза на свои, выдавшие виды кисы: «Почему это ты сам готовишь? А жена твоя сейчас где?».

«Студентка она. Вчера на сессию поехала. Учиться».

Скрипнул стул, тундровик с любопытством повернулся к хозяину кухни: «Ты, Николай, вроде бы, мужик умный. Что, сам не мог научить?».

Вот такие истории без моралей. Вот так жил в Надыме мой друг Николай Пархомцев.

МОЙ ДРУГ СЕМЁНОВ КАК-ТО РАЗ...

Вовка, то есть Владимир Анатольевич Семёнов, по мнению некоторых – личность несносная. Они – эти некоторые – утверждают, что спорить с ним невозможно, а ругаться бесполезно.

Сам же я думаю одно: хорошо, что мне за отсутствием разногласий спорить с ним не было нужды. Как-то, почему-то всегда соглашались. Поэтому на наши отношения никогда не падала тень раздражения.

Семёнов – северянин кондовый. Родился и провёл детство своё в посёлке Гыда. А это вам не Салехард какой-нибудь! На Гыде-реке лёд трогается десятого-пятнадцатого июля, а первого сентября в иной год дети едут в школу уже на коньках. Вот так!

Лето, впрочем, в Гыде бурное – сердце радуется. Комары в тундре гудят, как трактора.

Когда я жил в Кутопьюгане, первые три года мы наблюдали друг друга издали. У Семёнова и без меня дел и знакомств было по горло, а мне подходить с чем-то к нему было, вроде как заискивать. Но однажды приехал в гости мой отец. «Слушай, – сказал при случайной встрече Вовка, – может, мы Николая Павловича на хорошую рыбалку свозим?».

Я знал, что по рыбалке и охоте Семёнов – самый добычливый, моторы его – самые безотказные, и потому согласился в ту же секунду.

В компанию с нами был приглашен ещё один, новоприбывший на Север, могучий осетин – Сергей Вахтангович. Сын гор, блестя в улыбке железной фиксой, несся в одной с Семёновым лодке через Обскую губу, а справа от них, чуть приотстав, резала водное пространство наша с отцом «Казанка». Через полчаса Семёнов вдруг остановился. Мы подъехали: «Что такое?».

«Вы обратили внимание, что минуту назад лодку тряхнуло?» – совершенно серьёзно спросил он.

«Тряхнуло...», – рассеянно подтвердил я, не вполне понимая, о чём речь. Ведь небольшие волны потряхивали лодку довольно часто.

«Так вот, – продолжил Семёнов, – это мы полярный круг переехали».

И, невозмутимо нажав на кнопку электростартера, вновь полетел, увозя захохотавшего господина Макиева к едва видимой полоске намеченных нами островов.

Мы с отцом, конечно, тоже рассмеялись, но заглушенный мотор пришлось заводить довольно долго. Потом догоняли.

Худобинская Обь. Стрежень на ямальской стороне губы. Острова с редкими брошенными избами и давно забытыми сенокосами. Ощущение полного, всегдашнего безлюдья и природной чистоты.

Когда на батину блесну клюнула первая полупудовая нельма, я и сам ошалел от счастья, чего уж об отце говорить! В общем, это была фантастическая рыбалка.

Про Семёнова можно снимать сериал. Запросто. Сюжетов можно набрать бесчисленное множество.

Например, Владимир Анатольевич всегда имел страсть к конструированию. Однажды говорит: «Приходи завтра к двенадцати на радиорелейку, будем испытывать аэросани».

Я пришел и вижу: точно, аэросани! Винт – метра полтора. Семёнов завёл двигатель, сделал вокруг релейки круг и вытащил из-за пазухи «Шампанское». Кружки были тут же, в кабине аппарата.

Через год Семёнов собрал аэролодку. Гонял на ней по ледоносной реке и чуть себя не угробил. Решил, значит, покататься, показать посёлку технику.

Лёд идёт, а он газует то по воде, то на льдины лодкой влазит и спрыгивает.

Красота! Человек пятьдесят на берегу рты раззявили, смотрят.

А температура была слегка минусовая. Тросик газа взял, да и примёрз. И вот, чтоб сбросить скорость, Вовка отвернулся, давай ковырять этот тросик. Тем временем обстановка по курсу резко изменилась: льдина залезла на льдину и поверх всего этого влетела лодка.

Кувырк – переворот, Вовка под водой. Наружу торчит поплавком только нос посудыны. Толпа ахнула и онемела.

Семёнов угадал головой в этот самый носовой отсек. Воздух там есть, а света нет. Течение несёт. Поднырнул в сторону – сплошной лёд. Он обратно. Опять поднырнул, держась одной рукой за борт. Опять лёд! Отдышался в дюралевом «пузыре».

Наконец-то, нащупал рукой снаружи открытую поверхность, вынырнул благополучно. Забрался на льдину и, как заяц, попрыгал с одной на другую до берега. А где расстояния между льдинами были большие, там плюхался в воду и саженками плыл. Так и добрался до суши. Жгучий холод в воде ощутить не успел. Как-то не думалось об этом.

Те, кто был на берегу, конечно, кинулись было спасать, да куда там! Ледоход-то довольно плотный. Пока спасатели у лодок суетились, «ныряльщик» Вовка уже на стылый песок выбрался.

Агрегат его полуплавающий мужики час спустя умудрились «заарканить» почти в километре ниже по течению. Вытащили. Вот такое приключение.

В тот же год Семёнов купался ещё. Правда, без особых свидетелей. Поехал он в конце октября за плавником на дрова. На речке – лёд, а губа ещё не замёрзшей была. Домой возвращался в полумраке. Есть такой паршивый период в сутках, когда глаза уже различают плохо, а если включить фару, то видно ещё хуже. Так на реке и влетел в полынью. Вернее говоря, полынья была уже застывшей, но лёд на этом участке оставался очень тонким.

Вовка на «Буране», за «Бураном» – сани деревянные. И всё это медленно погружается в воду. Вовка направляет снегоход к берегу, гусеницы практически бесполезно скребут лёд под водой, и идёт неумолимое погружение. Слава богу, всё это происходит в черте посёлка, в аккурат напротив Куйбинского лога, да и мороз невелик – градусов пятнадцать. Трезво соображает Вовка: «Надо, чтоб «Буран» ровно на дно стал, а то потом его трудно будет вытащить. Я-то сам не утону, за мной – сани деревянные». И вдруг – щёлк! Отстегнулись сани.

В общем, когда гусеницы коснулись дна, Семёнов уже стоял на сиденье, а вода только до горла дошла. Рядом – сани, гружёные брёвнами, плавают. До берега добрался быстро, забежал на крутояр, где тогда его дом стоял. А потом, вдруг, подумал: «Вот сейчас в сухое переоденусь, и не захочется в воду лезть». Спустился опять к берегу. Поплыл, нащупал ногами «Буран», встал. Уши было жаль, потому предварительно завязал тесёмки шапки под подбородком. Нырнул. Открыл ключиком бардачок, в котором была верёвка. Вынырнул – отдышался. Опять нырнул и обвязал лыжу. Вынырнул – бросил конец верёвки на лёд.

Дома переоделся, выпил полстакана водки, чтоб не болеть, и пошёл за подмогой. Вместе с Юркой Кишеевым и Чупровым дядей Колей вытащили другим снегоходом «утопленника». Всего-то и делов. Правда, совсем уж ночь наступила, пока возились.

Как-то спрашиваю Семёнова: «Ты, наверное, всю жизнь тонешь и замерзаешь?».

«Да, вообще-то, не замерзал ни разу, а в воду проваливаться приходится на каждой охоте. В наледях сто раз бывал. Всего и не упомнишь».

Поехали они как-то осенью с дядей Колей на Пашину избушку. Снега уже было много, и съездили неплохо. Между прочим, один из пойманных тогда озерных щекуров потянул на одиннадцать с половиной килограммов.

Ехали обратно и провалились в какой-то бочажине. Лёд проломился, а под ним воды – почти два метра. «Буран» сел на задницу, только конец стальной лыжи над поверхностью торчит. Попали. Хоть и не очень холодно – градусов пять-семь, но до посёлка километров двенадцать. Ночь.

Первая мысль была – пойти пешком. Потом раздумали. Зацепили лыжу верёвкой. Привязали конец к толстой берёзе (благо – рядом оказалась), нарубили веток, брёвнышек и соорудили что-то вроде ворот. Так потихоньку и вытащили транспорт. Слили воду, откуда положено, подёргали стартер, завели двигатель и доехали. Дядя Коля-то с саней вовремя спрыгивал и потому сухой остался. А вот Семёнов по пояс вымок. Неуютно, конечно, было потом ему мокрым ехать. Но, куда деваться?

«Что ж, Володя, совсем, что ли не мёрз?» – спрашиваю опять. Трёт Семёнов подбородок. Думает. Плечами пожимает.

Поехали они однажды с Вовкой Новиковым из Надыма в Кутоп. До посёлка оставалось ещё с полсотни вёрст, а метель разыгралась – не видать ни черта. Куда ехать?

Мороз же – градусов тридцать – и ветрище. Как ни странно, но небо при этом было ясное.

Нашли кое-какой лесок, отгородились от ветра, как могли, куском **дорнита** и разожгли костёр. Полтора суток торчали. Лесок за это время, кстати, заметно под их топориком поредел.

Если бы одежда была ненецкой – проблем бы, наверное, не было. А полушубки и валенки – не самые спасительные в зимнем Приполярье вещи. Хорошо, что хоть суконные гуси имелись. Они здорово помогли.

На вторую ночь во сне, наконец-то, немного согрелись. Даже картинки сладкого бреда успели привидеться: кухня, печка, пельмени. Вдруг Семёнова разбудил крик напарника: «Подъём! Горим!». Оказалось, что под мужиками всю тлел подложенный матрац. В общем, спалили этот матрац и часть одежды.

По-прежнему мела низовая метель, а над головою висели бесстрастные, мертвецки холодные звёзды. До рассвета больше не ложились. Подбрасывали в костёр дрова, грели руки, потирали носы и мысленно молились на погоду. На красных лицах, озарённых пламенем, таяла крутящаяся в ночи снежная пыль. Мучительно медленно окружающий мир из чёрного и тесного стал серым, а потом, как и положено – белым и большим. Порывы ослабли, прояснилось. Стала видна долина речки, над которою располагался бивак. Ветер всё ещё нёс кое-где струи шелестящей колючей крупы, но это уже не было препятствием. Домой, домой! Дырынчание и сизый выхлопной дым оживших «Буранов» согрели душу.

Поехали. Добрались хоть и не без труда, но нормально. Прямо к обеду.

Меня самого Семёнов не топил и не морозил ни разу. Видимо, мало я с ним ездил, да и то, всё больше летом. А при плюсовой температуре какая экстремальность к чёрту? Сплошная слюнявая телепередача «Последний герой». Только с комарами.

«НОГИ С ТОРМОЗОВ, ВАМ – ВЗЛЁТ!»

*Как жаль нам нерастраченных – себя!
Мы в души лили водку и бессилье.
Бог знает, что свирепо поносили,
Незримо тлея в сутолоке дня.*

*О, как хрустел кулак у мужика!
И «Беломор», истерзанный зубами,
Аж исходился сизыми клубами,
В ночной тоске метаясь без ума.*

*Потом вползало утро из окна,
И он с собой опять игрался в жмурки,
Сгребая споров мятые окурки
И пепел со вчерашнего стола.*

*Смешок угрюмый выдавив при встрече
– Мол, был один кураж и пьяный вздор, –
Он вновь курил со мною «Беломор»
И ухмылялся, что ещё не вечер.
Александр Ивановичу Деруженко*

Кутопьюганский учитель физкультуры, Александр Иванович Деруженко – единственная известная мне личность, изгнанная из трёх высших учебных заведений. Сначала из Военно-воздушной академии имени Жуковского, потом из Чугуевского училища лётчиков-истребителей и, наконец, из Гомельского пединститута.

– Почему Вас всё время выгоняли, Александр Иванович?

– Потому что шибко умный был.

На своей первой свадьбе Александр Иванович категорически отказался сесть рядом с невестой. И на крики «горько» не реагировал. Свадьба закончилась быстро. Жених не захотел быть мужем и перестал быть студентом пединститута «за аморалку». Невеста была беременна.

– Абрам! Твой брат играет на труба?

– Да...

– А на кларнет?

– Да...

– Что «Да...»?

– Тоже нет.

Это – один из многочисленных еврейских анекдотов от Александра Ивановича. Среди его друзей в Беларуси около половины – евреи. Ефим Рафаилович Эпштейн, вытаскивая из реки удочкой плотву, говорит: «Товарищ Плоткин, пройдёмте здесь!».

Александр Иванович – не еврей. Он – человек неопределённой национальности. Родился на Украине и был записан украинцем. Потом с родителями переехал в Ростовскую область, где с достижением шестнадцатилетия ему дали паспорт русского. Затем переехал в Белоруссию, где однажды паспорт потерял. Менял по блату, чтоб быстрее. Записали белорусом. «Какая тебе разница», – сказали.

В посёлке Кутопьюган Деруженко имеет длинное, сложное прозвище – Ноги С Тормозов, Вам – Взлёт!

И это – не случайно. Раз в неделю – две у Александра Ивановича дома проводятся мужские посиделки.

После десятой рюмки Деруженко говорит о своём опыте в авиации. И ключевым является воспоминание: «Выруливаю я, останавливаюсь, газую. Ну и тут диспетчер говорит: «Ноги с тормозов, вам – взлёт».

Ухмыляюсь я и Дмитрий Степанов, смеётся Вовка Шестаков, хохочет Ромка Бабшанов. Этот сюжет мы все слушаем в сотый раз.

Когда мне доводится сидеть с Деруженко один на один, он говорит об авиации больше. На его глаза наворачиваются слёзы. Я знаю, что каждый рейсовый день, то есть по четвергам, Александр Иванович стоит с биноклем у своего дома и наблюдает посадку «аннушки», не даёт ли пилот «козла». «Дать козла» – значит при посадке при касании с поверхностью допустить подскок самолёта.

Много всякого бывало в жизни Александра Ивановича. Однажды он узнал об уникальном образце силы воли.

В Чугуевском лётном училище стали пропадать пилотки. У курсанта Деруженко тоже пропала. Что за чёрт?

Через какое-то время выяснилось, что одного из новоприбывших инструкторов во время выполнения комплекса фигур высшего пилотажа всегда тошнило. Но блевал он скрытно и только после посадки. Развернутую под гигиенический пакет, использованную курсантскую пилотку выбрасывал из кабины уже на рулёжной дорожке.

А вот ещё один авиационный случай.

Сидел как-то Александр Иванович в гомельском ресторане. Глядь – за соседним столиком его бывший сокурсник по академии, которого он не видел лет двадцать.

– Гриша! Ты?

– Саша! Ты?

Ну и так далее.

Вспомнили, рассказали, договорились на будущее. В частности о том, что послезавтра подполковник Гриша на своём «МиГе» в 15-00 пролетит над домом, где живет Саша. А Саша с балкона помашет Грише ручкой.

Придя из кабака, Деруженко рассказал о встрече жене.

Послезавтра после обеда, сморенный жарой и сладкой настойкой, Александр Иванович спал на диванчике. Мухи ползали по оброненной газете и

бесформенному боксерскому носу, не в силах нарушить глубокий сон отпусника.

Когда благодатная тишина расплавленного солнцем городка во второй раз была взорвана грохотом реактивного чудища, в комнату, размахивая кулаками и вопя, ворвалась Галина Петровна: «Вставай сволочь! Или твой друг сейчас нам крышу снесёт!».

Деруженко выскочил на балкон. «МиГ» заходил, снижаясь, на третий круг. Саша сделал ручкой.

Гриша был подвергнут в авиачасти временному аресту.

По-моему, в этой жизни Деруженко добр только ко мне и к соседскому псу по кличке Гром. С прочими у Деруженко весьма противоречивые отношения.

Например, с учителем географии Степановым.

После дюжины рюмок Деруженко всегда заводит разговор о том, что учитель географии Степанов – не очень хороший человек. Степанов долго и терпеливо молчит, а потом, качаясь, встаёт, чтобы треснуть Александра Ивановича по физиономии. Я полчаса их разнимаю, потом увожу Степанова домой. До следующих посиделок за тем же столом, с тем же Александром Ивановичем. После дюжины рюмок... И так каждый раз.

В перерывах между скандалами Деруженко и Степанов ходят вдвоём на охоту.

В итоге посиделок все участники, разойдясь по квартирам, по понятной причине засыпают очень крепко и до утра подняться не могут. Сам же Александр Иванович после застолья всегда не спит. Одинокое покуривая «Беломор», он до утра в своей кладовке печатает фотографии. Утром, так и не сомкнув глаз, снисходительно смотрит на меня, пыхтя «Беломором»: «Слаб ты, парень».

Если порядок жизни нарушен и Александр Иванович начал печатать трезвым, то следует его стук в стену, разделяющую наши квартиры: «Шкелет! Пойдем, займёмся фотоделом». Выхожу из своей хибары, захожу в его пенаты. Через какое-то время мы с мокрыми фотографиями почти вываливаемся из кладовки. Деруженковская жена каждый раз удивляется искренне: «Где вы взяли, я же все углы перед этим обыскала».

Вообще-то, Александр Иванович на работе разгильдяй. Старается отлынивать, возмущённым тоном подводя под это идейную базу. Но одна из его постоянных фирменных фраз иллюстрирует заботу о порядке: «Сталина надо!». Её он изрекает по нескольку раз на день.

К Ленину Александр Иванович равнодушен: «Это – просто мойша».

Деруженко – спортсмен с доисторическим стажем. В его послужном списке первый разряд по боксу и мастерские степени по автомобилю и мотоциклу. В боксе его просто, как и положено, били, а технические виды спорта переломали напрочь. Одна из классических фраз ветерана: «Если хотите смерти сына – купите ему мопед».

Во время отпуска собирался Александр Иванович со своими друзьями в Белоруссии на утиную охоту.

«Слушай! – сказал он своему другу-вертолётчику, – На этом озере много уток всегда сидит далеко от берега, посередине. Вот если бы ты на своём вертолёте нагнал их на нас, мы бы хорошо взяли».

«Добро!».

Назавтра «КА-26» погнал уток к берегу, где в скрадке сидел Александр Иванович с прочей вооруженной компанией. Трах-бах-бабах!

Вертолёт, нагонявший огромный табун уток перед собой, вдруг круто взмыл и сел на поляну в сторонке.

Пришел пилот.

«Чего это ты, Николай, свечку сделал?».

«А вы, идиоты, не подумали, что пальнули залпом не столько по уткам, сколько по мне? Всю краску поотшибали. Хорошо, что не мозги. Зенитчики хреновы».

Решил Деруженко купить лодку с рук у школьного завхоза. Договорились.

Деруженко заплатил половину денег, другую должен был отдать через месяц.

«Прогресс», подвязанный к снегоходу, был перетащен под окно

деруженковской квартиры. Решили обмыть это дело.

«А я тоже спортсмен, – сказал после второй бутылки завхоз. – Я разные приёмы знаю. Я даже руку могу сломать».

«Это как?».

«Дай правую руку!».

«На!».

Через пару секунд у Деруженко был открытый перелом правой руки.

Мела сильнейшая пурга. Трое суток не летали вертолёты. Всё это время Александр Иванович ходил по кухне, держа забинтованную правую руку в левой, поджав губы и качая в такт головой. Спать он не мог. Говорить он не мог. Так ему было больно.

А лодка ближайшим же летом была утрачена посреди Оби. Её не правильно привязали к большому катеру, она черпанула воды и мгновенно затонула.

Глубина и течение не оставили шансов на поиски.

Хорошо, что в лодке никого не было.

* * *

Александр Иванович для своего возраста (ему давно перевалило за пятьдесят) был феноменально вынослив. Мы бродили с ружьями по тундре порою чуть ли не сутками. Деруженко не отставал и никогда не предлагал передохнуть.

При этом, возвращаясь домой, я молодой и здоровый двадцатисемилетний парень чуть ли с ног не валился. А Деруженко только ухмылялся, опять дымя своим «Беломором».

Потом Александр Иванович заболел и через полгода умер.

Светлая ему память.

ВАЛЕРКИНЫ ОТКРОВЕНИЯ

От долгих морозов устаешь. А в заснеженном Кутопьюгане только два «присутственных места», куда можно заглянуть погреться даже ночью – котельная да дизельная. К сугреву бесплатно прилагается добрая беседа. Если, конечно, у тебя есть желание говорить. А коли нет, то сиди так просто, места хватит.

Бывало, зайдешь в дизельную, а там Валерка или дядя Коля скучают посреди грохота вечного и потеков машинного масла. А поскольку «на дворе» за сорок, то и в такой обстановке уютно. Тем более, что дизелист приветлив и на обитом алюминием столе ненавязчиво предлагает себя пачка папирос. Если до этого ты еще и по снежной целине хотя бы с пяток верст протопал, то с присядом на табурет как-то сразу в сон клонит. Хорошо...

Помню, одно время по ночам зуб у меня болел зверски. Таблетки и водка не помогали. Я одевался, ковылял в дизельную, и там с мужиками мы курили «Беломор». Немного отпускало.

А который Валерка и что за дядя Коля – какая вам разница! Если всех сказителей называть своими именами, то полтундры в тюрьму сядет сразу же, остальные – потом.

Это – шутка.

Но, все же, некоторые имена я изменю, чтоб не изменять им.

Взять, например, Валерку. Парень он серьезный. Может быть, даже прижимистый. Не то чтобы никому ничего не дает. Просто у него никто ничего не просит. А почему – я как-то не задумывался. Впрочем, это к слову. Главное, что Валерка – не балабол. Сочинять не склонен. Он и разговорчив только на работе. Исключительно потому, наверное, что надоедает сутками дизеля слушать. Вот собственный голос и начинает казаться ему музыкой. Короче говоря, поведал он мне несколько маленьких историй, которые только под машинный грохот и излагать, чтобы кто-то чужой не услышал...

Трудился Валерка раньше на почте. Работа была довольно ленивая, но едваоплачиваемая. В обязанности входило печь топить, мешки с газетами и посылки таскать от вертолетной площадки да снег мало-мало чистить.

Остальное – по мере собственного желания или матов заведующей.

Заметил Валера, что поленица дров, которую он с помощью колуна регулярно пополняет, к утру часто неестественно худеет. Пытался уследить, кто казенные дрова тырит – не получается. Подозрения, конечно, были. Подозревал соседа, дядю Игната. Потому что тот в честной заготовке топлива замечен не был, но и не вымерзал никак с женошкой своей всегда пьяненькой.

Бездельник. Придет, бывало, сядет у служебной валеркиной печи и развивает вечную тему о том, что все начальники – сволочи. Даже работать иногда своей болтовней мешал.

Но что такое подозрения? Ими утечку горючего материала не остановишь. Точно знать надо. А ещё лучше – за руку поймать. Туманным морозным утром обнаружилась утрата очередной охапки поленьев, а Валеру наконец-то пробила мысль. Он сходил домой, притащил оттуда коловорот и пачку дымного пороха. Закрыл служебную дверь на крючок. Зажав самое аппетитное, прихваченное со стужи полено в тисках, долго с торца сверлил глубокую полость. Почти весь порох ушел на её заполнение. Очень плотно забил «тайник» мощным, аккуратным чопом из такой же берёзы. Последующие дни прошли безрезультатно. Валерка сквозь замороженное окно только за «спецполеном» и следил: лежит – не лежит. В душе его заскулил, повизгивая, азарт охотника. Через несколько суток в магазинной очереди, где Валерка стоял за хлебом, говорили о том, что ночью взрывом развалило игнатову печь. Версий предлагали много. Валерка молчал. Настроение было хорошее.

Еще Валерку досаждал другой сосед почтовый – Витька. Но вначале требуется пространное пояснение. Когда я приехал в Кутоп, то, в частности, бросился в глаза дефицит удобств. В поселке проживало тогда около сотни семейств, но на всех было десятка два сортиров. А мерзлота влагу и летом-то не очень хорошо впитывает, не говоря уж про остальные десять месяцев. Так что анекдот про чукотский туалет кутюпьюганцам был ой как понятен. В общем, Валерку раздражало, что служебным почтовым туалетом злоупотребляли. Особенно Витька – человек к почте отношения не имевший. Он ежедневно степенно, уверенно приходил из своей квартиры к служебному «скворечнику» и закрывался там на столько, на сколько хотел. Профилактическую речь валеркину он выслушал спокойно и, вроде бы, согласно наклонил голову. Но через пару дней посещения возобновил. Однажды народ, ожидавший на ступеньках почты вертолёт, наблюдал такую картину. Хрустя свежим снежком, к сортиру сонно продефилировал Витек. Взялся за ручку и, вдруг, с криком «ё...!!!» отпрыгнул назад. Постоял, ошалело ведя головой. Отметив, что несколько односельчан со стороны заинтересовались, он вновь осторожно потянул свою кисть к железной ручке-скобе. Дотронулся указательным пальцем и тут же отдернул его к животу в телогрейке. Народ на ступеньках оживился. Маневры были непонятными, но потешными. От третьего прикосновения к ручке Витек отказался. Стыдливо опустив глаза, он двинулся в противоположную от общественности сторону и исчез за углом. И никто не видел, как в это время в полумраке почтового радиоузла Валерка держал в руках электровилку, воткнутую в розетку. Изготовлению скрытой сети с подводом двухсот двадцати вольт к безобидной сортирной ручке он предшествовавшей ночью посвятил не менее часа.

– А что, Валера, нынешним летом хорошо ты рыбы взял? – спрашиваю.
– Не очень.

– А что тогда на подводе развозил?

– Этой с Ганей, что ли? Так то не я развозил, а гости мои.

В августе приезжали к Валерке знакомые какие-то. Точнее говоря – знакомые валеркиного знакомого. Вроде бы, научные работники: Гриша и Леша. Пару раз они с Валеркой сети ставили. Ничего не поймали. То есть пуд, может быть, всего. А знакомым знакомого надо было больше, хотя бы центнер увезти. Потому как издалека и долго добирались. Валерке их настойчивость не понравилась и надоела: «Ну, нет рыбы – я чего сделаю?».

Попался этим двум на улице Ромка Бабшанов. Он, в отличии от Валерки, ученых уважал, потому как много читал и сам десятый год в далеком техникуме заочно числился. О просвещенном Ромке, кстати, даже в журнале «Уральский следопыт» писатели чего-то писали.

Так вот, Ромка сказал: «Езжайте. Я вам и проводника, и сети дам».

«Ганя!, – подозвал он проходившего мимо, широко улыбающегося ненца в прорезиненной рыбацкой куртке, – Свозишь ребят к нашему месту на Варкуте?».

К вечеру поехали. Ганя показывал пальцем, куда рулить. По мелководью забрались в какую-то старую курью. Расправляют сети. Лёша Грише говорит: «Третий провяз уже ставим, а ни одна рыбка ещё не плеснула. Значит, и завтра ничего не будет. Так что снимать сети я не поеду. Не интересно».

Поутру ненецкий рыбак Ганя Анагуричи с русским ученым Гришей Артуровым завели мотор и снова двинулись в Обскую губу. Леша остался на валеркиной квартире с наплывшей скуки книжку читать.

К полудню Гриша завалился в избу с горячим выдохом: «Мешки давай!

Быстро!». «Сколько?» – подскочил, бросив книгу, Леша. «Кажется, восемь!».

«С маршрута» был немедленно перехвачен рыбокооповский возчик Андрей Поронгуй. В комплекте с кобылой и телегой он был оперативно доставлен к переполненной лодке.

Ганя Анагуричи ждал. Опершись на ветровое стекло «Казанки», он улыбался и покуривал. Ноги чуть ли не по колено были в муксуне.

На рейде виднелся какой-то катер. К поселку шла чья-то моторка. У рыбокооповского склада играли дети. На верхней лавочке судачили бабы.

Озираясь, чтобы не попасться рыбинспекции, Гриша и Леша начали лихорадочно затаривать мешки рыбой и раздавать-развозить всем подряд. По одному дали дяде Гоше Медведеву, Ромке Бабшанову и возчику. Кому-то всучили два.

– Ганя! Тебе сколько надо?

– Однако, на айбат* пары хвостов хватит.

Подошел к берегу Валерка. Как-то брезгливо посмотрел на забрызганный рыбьей кровью борт посуды. Постоял. Ничего не сказал. Удалился.

Вид наконец-то опустевшей лодки Гришу с Лёшей успокоил. Мандраж прошел. Мешок на подводе привезли, конечно, и Валерке. «А мне-то зачем? – буркнул он, глядя в пол. – Ладно, ставьте сюда».

* Айбат – сырая рыба или сырое мясо, любимое блюдо ненцев

Себе ученые оставили полтора мешка. Этого им было «под завязку».

Вообще-то, про уловистые случаи Валерка не рассказывает. Например, про то, как белуху в восьмидесятом году добыли, говорить не стал. Отмычался, отнекался. Обещал когда-нибудь фото показать – не показал. Я потом такое фото у Серёги Нагибина нашел.

А восемь мешков – четыреста кило муксуна за раз – Валерку не впечатляют. И не то он видел. То, что он видел, – знают очень немногие.

Кстати, о цифре восемь. Однажды на острове Ямпугор Валерка единым дуэтом положил восемь гусей. Тоже не признается. Но имеются свидетели.

Сию минуту Валерка крутит какую-то муфту. Переживает, что агрегат старый и должен скоро «крякнуть». Я уже давно отогрелся. Выхожу на мороз. До квартиры – минута ходьбы сквозь черную ночь. Светится далекая одинокая лампочка на столбе у моего дома. После недавнего грохота дизельной тишина под звездами кажется неземной.

БЫТОВЫЕ НЕУДОБСТВА

В отпуске, как правило, очень хорошо и относительно беззаботно. Если, конечно, деньги есть.

В отпуске под солнцем птички поют, а ночи стоят тёмные и томные. При этом асфальт, зажатый тополями и клёнами, поблескивает под фарами и наркотически пахнет бензином. Сквозь подошвы лёгких туфель нежно проникает тепло.

А ещё в отпуске через день – каждый день ходишь в гости и подчас разгуляешься – не затормозить.

Есть у меня на относительном юге друг детства с нерусской фамилией Тютюнник. Однажды на вторые сутки нашего безвылазного застолья и безалаберной беседы его жена Татьяна выпалила мне с укором: «Легко живёшь!». Посмотрел я на гневный профиль, окинул взглядом кухню благоустроенной квартиры, и стало досадно. То ли чертыхнулся, то ли поперхнулся. Мыслями поневоле вернулся туда, откуда приехал.

* * *

На дворе за грязным, треснувшим стеклом низкого окна – сугробы по пояс, мороз и полярная ночь, в которой спят ездовые собаки. Я сижу в своей ветхой квартирешке у печи и пытаюсь её растопить. Из результатов достигнут только один – дым. Дрова – сырая осина. Других у меня нет, а этой осины за окном – три кубометра. Дую: «Фу-у». Дым попал в глаза. Режет. Тру глаза измазанной в саже рукой. Как хочется ругаться! При этом из-за стены доносится:

«Лишь позавчера встретил я тебя.

А до этих пор, где же ты была?

Где же ты была?».

Мой сосед купил в сельпо проигрыватель «Аккорд» и сотый раз на день гоняет единственную имеющуюся у него пластинку-миньон.

В перекошенную, обшарпанную дверь с коротким стуком неожиданно протискивается незнакомое существо в малице и приветствует радостно: «Нани торова!». Ненецкий старичок, сухонький и слегка пьяненький, добавляет к родной речи почти по-русски: «Труг, торово!».

Киваю головой – «Здорово!». Потом, уважая местные обычаи, бросаю дела и посвящаю себя гостю, которого в первый раз вижу.

Через час, опрокинув рюмочку и рассказав о том, где пасётся его оленьё стадо и сколько голов «давеча задрали медведи», старичок встаёт с табурета и выворачивает варежки из рукавов малицы: «Пойду, отнако! Больше моя не терпит!».

Я опять подсаживаюсь к печи. В ней уже нет ни одного живого уголька. Если не растоплю, околею точно.

А из-за стены по-прежнему:

«Падали снега и метель мела.

Где же ты была?».

Мой сосед – не только меломан, но и супермен. В прошлом году он пришел из армии, выиграл гонки на упряжках, посадил в нарты свою милую и поехал жениться. А теперь вот купил проигрыватель.

«Тихо за окном плыли вечера.

Где же ты была...».

Этот проигрыватель заткнётся когда-нибудь?

Стук в дверь. Опять стук.

– Да!

С клубами морозного пара, согнувшись под косяком, входит Серёга Нагибин по прозвищу Кулик – статный парень с роскошной шевелюрой:

– Здорово, Вадим! Можно я у тебя посплю? Ты не беспокойся, я тихо. Вот там, на полу.

Я удивлён.

– Можно. А что случилось?

– Не спрашивай!

Ладно.

Тем временем печь понемногу нагревается скупым огнём никчёмных дров. Его языки хорошо видны через широкую щель у чугунной дверки, где отвалилась штукатурка. Мерцание огня завораживает, отупляет, лениво шевелятся мысли о быте.

Пространство моей кухни-прихожей – полтора на два метра или малость больше. При этом чуть не половину её занимает печь. Ещё есть спальня-кабинет вдвое крупнее. Там уже спит Кулик.

Смахнув хлебные крошки со столешницы, сажусь читать учебники, чтоб завтра творчески пересказывать их ученикам. Заняться бы и бумагами. Через неделю в школе фронтальная проверка.

Слышу подозрительный шорох за дверью. Распахиваю. Из кладовки во мрак посёлка бросается пара собак. Зажигаю спичку. На полу рассыпана брусника и валяется опустевшая кастрюля. Мороженых рыбин, подаренных сегодня

Юркой Балугевым, ни на полке, ни на полу нет. Собаки-воровки мною не опознаны. Впрочем, какая теперь разница!

Возвращаюсь в квартиру. Из-за стены, как пытка, по-прежнему:

«Лишь позавчера встретил я тебя...»

Ё-моё!!!

* * *

Через год.

Новая квартира. Теперь это не часть бывшей прачечной, как прежняя, а часть бывшего интерната. Высокие потолки и никакой печки. Центральное отопление. Правда, восточная стена квартиры безбожно холодная. Когда дует восток или северо-восток, по комнате можно ходить только в двух свитерах одновременно и желательно в валенках. Но всё равно центральное отопление – великая привилегия малой части поселковых жителей.

Окончившая университет и приехавшая ко мне жена сейчас на дежурстве в интернате. А потом у неё будет репетиция кукольного кружка. Я подмёл квартиру и пытаюсь жарить рыбу. Нельма – создание нежное, её рекомендуется жарить с корочкой и переворачивать на сковороде нужно аккуратно, иначе куски ломаются. Стараюсь. Мой двухлетний карапуз в чёрной цигейковой шубке деловито ковыряет лопаткой снег за окном. Мимо него лениво ходят псы, каждый из которых в два-три раза больше ребёнка. Но я знаю, что с ребёнком ничего не случится. Одет он тепло, а псы добрые.

Выглядываю в очередной раз через обледеневшее стекло. Сына нет. Выхожу на улицу. Побитая теплотрасса, сугробы, помойка, собаки. Сына нет. Куда может уйти по сугробам двухлеток, упакованный, как космонавт?

Через час нахожу его в ближайшем доме, у Леонида Ателевича. Рассевшись вокруг низенького столика на полу, полдюжины чумазых ненецких ребятишек старше и младше моего чада едят сырое мясо, и с ними уплетает он. Культурно ассимилируется.

* * *

Одна зима выдалась сумасшедшей. Ещё в ноябре упало за сорок и держалось так до марта. Иногда дуло. Как-то неделю-две при этой температуре дуло очень сильно. Ощущение специфическое. При выходе наружу лицо как бы ошпаривало стужей. Если не закрывал его варежкой постоянно, то через минуту нос белел, а через пять рисковал отломиться. Очень интересно в эту пору было ходить в туалет, до того самого «ветру». Не испытывшему трудно представить удовольствие.

И тут как назло в квартире потекла батарея. Для устранения течи нужно было отключить отопление. Но это было невозможно, ибо на градуснике значилось сорок пять. Поначалу с батареи капало, потом тихонько заструило. Чтобы не дёргаться каждые полчаса, под батареей мною был устроен «каскад»: вода, наполняя большой таз, следовала далее в малый, оттуда – в миску. В разгар этой истории, вставая ночью и прибегая днём на переменах, я выносил из квартиры до тридцати вёдер в сутки. Выплеснутая на гору помойки теплая вода заставляла лёд громко трещать.

Когда наконец-то относительно потеплело, мужики из школьной кочегарки, и они же сантехники, устранили течь.

* * *

Водопровода в посёлке нет до сих пор, соответственно не было и тогда. Летом возчик дядя Митя, начерпав рыжей воды из речки, доставлял её в бочке на чем-то типа грузовой двуколки. Расплёскивая содержимое по поселковым колдобинам и грязи, её до самого крыльца тянула угрюмая кобыла.

А начиная с декабря речка «загорала», становилась вонючей. Поэтому зимою употреблялся лёд. Я запрягал в нарты соседских собак, добавлял к упряжке своего Баса и ехал к берегу. Там, как и все поселковые жители, колот лёд пешнёю и загружал в мешки. Дома из мешков высыпал его в стоящую на кухне железную бочку. Лёд таял – мы пили чай, готовили еду, стирали. Иногда за льдом меня возил сосед на снегоходе. Но это – очень иногда.

* * *

Больше морозов надоедал снег. В марте телевизор докладывал, что Таджикистан закончил сев. В апреле дикторы сообщали, что границы посевных площадей СССР расширяются победоносно и быстро. А за нашим окном только появлялись птички пуночки и, порхая над сугробами, застенчиво намекали, что когда-нибудь и здесь... В такие минуты скорбно поминалась карта необъятной Родины.

Некоторые мужики с нетерпежа ехали на озёра и начинали ловить окуней со щуками, то бишь ту рыбу, которую, вообще-то, северяне практически не едят, ведь она «чёрная», а не «красная» и не «белая». Но в глубинах мужичьего подсознания, видимо, эти рыбёшки как бы являли собою полномочных представителей замурованного подо льдами и снегами лета.

Как-то, 16 июня, летел ко мне с «большой земли» друг Тимошенко. В Омске было жарко, но, чтоб не замёрзнуть на Севере, он надел свитер. В Надыме было холодно – всего плюс пять. Пересев из самолёта в вертолёт, на полпути к Кутопу Серёга увидел снежный заряд. А, приземлившись в поселке, топтался кроссовками по белому рыхлому одеялу толщиной сантиметров в десять.

– Как тебе, Серёжа? – спрашиваю.

Повёл он взглядом по снежным далям.

– Ну и лето у вас, – отвечает.

Через пару дней всё же растаяло окончательно. До конца сентября.

* * *

Особенности природы и снабжения приводили к тому, что самыми частыми и потому опостылевшими блюдами зимой были жареная нельма и солёный муксун. Картошку даже самые запасливые съедали до января. Если бы не съедали, она все равно бы сгнила. При имевшемся качестве хранения не было и других овощей. Только макароны да рис с перловкой.

Перед Новым годом приехал командированный из города уважаемый человек и друг мой, доктор Игорь Евгеньевич Май. Я стараюсь изо всех сил, мечу на стол всё самое дефицитное. Например, венгерскую консервированную колбасу, а

главное – приобретённую по блату стеклянную банку с «капустой в собственном соку». А прочее – тушёную куропатку с рисом и бруснику – для кучности добавляю.

Сел Игорь, уставился на капусту. Спрашивает:

– А рыба-то где? Где муксун, щёкур, нельма? Ряпушка хотя бы!

Я растерялся немного:

– Но ведь рыба надоела уже. Хочешь, так её полный сарай...

Май головой кивает вроде бы согласно, да хмуро как-то. И молчит. Потом взял в руки дефицитную банку, перечитал все буквы на этикетке и сказал: «Капуста – хорошая закуска! Отличная! И подать – не стыдно, и съедят – не жалко».

* * *

Короче говоря, городской хлыщ этот доктор. Хоть и боролся с детскими болезнями «на периферии» активно. Особенно во время наступавших как по часам весенних эпидемий желтухи.

К слову сказать, детям он примелькался настолько, что... Через некоторое время после инцидента на кухне и отлёта доктора в Надым появилось перед детишками в садике нечто бородатое в красном зипуне с палкой. Кланяется ватной шапкой с блёстками, шоркает нечаянно об ёлку мешком из наволочки. Воспитательница, торжественно клоня поясницу, спрашивает: «Дети! Кто это к нам пришёл?». А детишки сложили ручки-крохотулечки на своих колготках, да и отвечают ей стройным хором: «Доктор Май!»

* * *

Но мы отвлеклись. Разговор вообще-то о бытовых неудобствах.

Вот, скажем, собак в посёлке много. Люди собак здесь любят уже потому, что без них не прожить. Но любовь эта не совсем такая, как у одиноких городских старушек к их болонкам. Не от одиночества. Да и собаки здесь часто не ладят меж собой до смерти. В такие минуты именно хозяин гарантирует жизнь и здоровье своему псу, а не наоборот.

Например, уехали мы в отпуск, а наш милый Бас загулял с какой-то сучкой и в порыве страсти забрёл на чужую собачью территорию посёлка. И его съели.

Буквально.

Грустно до боли.

Что там собаки... Сосед мой, крутивший когда-то за стенкой модную песню про «лишь позавчера встретил я тебя», трагически погиб, по вечной бедности и недомыслию забравшись, чтобы вычерпать остатки бензина, внутрь огромной емкости. Задохнулся.

Страшно.

Получилось так, что за кутопьюганскую часть жизни я познакомился с двумя мужиками, по очереди ставшими учителями географии и труда. Тяжкое их бремя. Во-первых, именно кабинеты географии и труда – самые холодные в школе. Люто холодные. А во-вторых, до недавних пор единственной столяркой в посёлке была именно школьная мастерская. И со смертью каждого

православного на следующий день приходили к учителю родственники: «Выручи, сделай гроб!». Разве откажешь? Слава богу, что хоть не пришлось мне быть «трудовиком». Татьяна укор – «Легко живёшь!» – помнится крепко.

* * *

Недавно со всей семьёй решили отдохнуть как следует. Слетелись самолетами, съехали поездами и вахтовками. Сели в Надыме к Фёдору Сергеевичу на баржу и сутки путешествовали в трюме. И, наконец-то, в одном чуме стойбища Ярцанги собрались в нашем лице несколько городов от Кузбасса до Ямала. Погода была дрянь. Но за три недели мы наездили по Обской губе много-много километров, гостили по окрестностям, наловили и наелись муксуна, видели северное сияние, играли в карты, топили чумовую печь. И прокоптились сильнее, чем балыки.

Молоденькая оленуха-авка* бегаёт за нами, как хвостик. Хлеб выпрашивает.

Мы говорим ей: «До свидания, Сэла – Светлая женщина!»

Дочь прощается с собаками стойбища: «Иктя! Пуру! До свидания!».

Спрашиваю у дочери:

– Понравилось ли?

Хохочет:

– Не понравилось.

– А что так?

– Ванны не было.

– Не устала?

– Устала.

– Странно, – говорю. – А ведь ты, Катя, ничего особенного здесь не делала, ни о чём особо не переживала. Так сказать, легко жила.

ОБ УЧЕНИИ, НАУКЕ И УЧЕНЫХ

Мой друг открыл в приполярном городе собственный, вуз.

– Приезжай, – сказал. – Назначаю тебя проректором.

Я приехал.

Стал наблюдать новое и поневоле вспоминать старое. Сопоставлять ненаучно то, что бывает в храмах науки.

Мудрость порождает доброту и скуку.

Профессор Бударин читал в Омском университете лекции по истории КПСС. А поскольку историю он знал хорошо, а КПСС ещё лучше, то ему было скучновато. Лекции звучали хоть и не слишком вяло, но как-то без пафоса. Перед сессией не принято было давать студентам вопросы. Преподаватели говорили просто: «Готовьте курс». А тут по окончании семестра профессор сообщает, протягивая старосте два листка: «Можете записать». Студенты

* Авка – ручной олень, выращенный при чуме

обрадовались этой невидали, перекатали, подготовились согласно перечню и явились на экзамен.

Первокурсник Артуров пошел сдавать первым. Вытянул билет. Мама родная! Вопросы билета не вполне соответствовали тому, что должно быть.

– Михаил Ефимович! – краснея, промямлил он.

Профессор несуетно перевернул бумажки и тоже убедился, что перед ним не история партии, а пасьянс по научному коммунизму, который первашам предстояло изучать только через два года на третий. Но думал недолго.

– Ничего, – сказал. – Не волнуйтесь. Готовьтесь.

Артурову пришлось вспомнить всё, чему его учили в школе. В том числе – про испрашиваемые этапы общего кризиса капитализма, включая последний, для капитализма заведомо смертельный. И получил он у доброго профессора пятерку. Да и вся группа сдала без двоек.

А вот капитализм в смертельном кризисе до сих пор.

О бедных студентах.

В приоткрытую дверь моей общаговской комнаты бодро просунулась голова студента-историка третьего курса Паши Гановского:

– Вадик! У тебя есть соль поваренная?

Армейская точность вопроса определила форму ответа:

– Нет. Только натрий хлор.

– Жаль, – сникла голова, и знаменитые пашины ботинки загремели далее по коридору.

О статистике.

Декан тобольского истфака в своей лени был изобретателен. Например, когда подошло время принимать экзамен у заочников, зашел он в аудиторию и говорит:

– Кого устроит тройка – зачетки на стол.

Большинство подало свои зачетки. Нерадивый преподаватель вписал тройки.

Оторвавшие халяву студенты потянулись к двери, ехидно ухмыляясь в глаза оставшимся, претенциозным сокурсникам.

– Теперь давайте зачетки те, кого устроит четверка! – сказал декан.

Косяк троечников у выхода споткнулся. К декану обернулись дурацкие улыбки только что обворованных.

После секунды мертвой тишины к столу рванули, сталкиваясь плечами, кандидаты в хорошисты.

И получили своё.

На месте остался один Саня Подусов.

– А ты чего сидишь?

– Вадим Николаевич! Я готовился очень сильно. Меня устроит только «пять».

– Знаю. Давай зачетку.

Разливное пиво – союзник высшей школы.

Ранней осенью при социализме пили в общаге доцент Мартышин с ассистентом Брызгаловым.

Брызгалов говорит:

- Серёга, иди! У тебя уже через полчаса лекция.
 - Спокойно, Георгий.
 - Серега, у тебя через десять минут лекция.
 - Успею.
 - Серёга, у тебя лекция началась.
 - Погоди, я мигом.
- Ушел. Скоро вернулся.
- В чем дело, Серёга?
 - Ты представляешь, студенты к лекции не готовы!

Ученые бывают разные. Но все они любят печататься.

Как-то раз довелось готовить научный сборник по северной тематике. Один экономист, кандидат в доктора спрашивает:

- Не хотите ли опубликовать мою статью?
- Давайте.
- Я сделаю. Обязательно.

И идеально выглаженные брюки вышли из кабинета.

Статья родилась в нешироком интервале от «мгновенно» до «очень быстро».

Название было длинное, а конкретно такое: «Экономическое Севера».

Я как редактор добросовестно прочитал, но за пределами заголовка не нашел больше ни одного слова «Север». Да и по содержанию опус оказался одинаково применимым к Северной Америке, Южной Африке или всей Австралии совокупно.

Досадно.

Борис Викторович Мельников – археолог. Копал он однажды со студентами древнее поселение в Полтавском районе Омской области. Через скошенное поле, дрынча по стерне на мотоцикле, подкатили из соседней деревни мужик с бабой.

Заглушили мотор.

Полчаса не слезая с двухколесного коня, окаменело смотрели на то, как ребята лопатят.

Потом мужик вздрогнул, обернулся к спутнице и говорит: «Дывысь! Учени!!!». И уехали.

Латинское выражение «Historia est magistra vitae» переводится как «История – учительница жизни».

Полстолетия во всех монографиях и учебниках писалось о том, что командующий шестой армией Паулюс проиграл Сталинград, в частности, потому, что ввел танки на улицы города.

И что же?

Министр обороны Грачев ввел танки на улицы Грозного.

И всё-таки, история – самая сомнительная наука. Давеча помогал дочке курсовую писать по античности. Тема курсовой – «Возникновение и развитие афинской демократии». По теме этой защищена на планете сотня диссертаций. В общем, когда-то, на своем первом курсе мне было некогда, а сейчас прочел дюжину книг разных профессоров. Мнения их разные, а порою и совсем противоположные. Это любопытно, потому что по данной теме имеется один-единственный исторический источник – «Афинская полития». И тот написан Аристотелем по дошедшим до него столетней давности слухам.

Когда вузу очень нужно повысить процент научной остепененности преподавательского состава, случаются проблемы с реальным качеством. Помню, один рекрутированный из Западной Украины в Тобольск доктор исторических наук начал свои тезисы к научной конференции конкретно и даже скрупулезно: «Население на территории Западной Сибири появилось очень давно».

Абзац.

На квартире в Надыме со мной несколько дней жил один командированный доцент. Не пил, не матерился. Тихо ложился в десять, неслышно вставал в шесть. Очень удобный человек.

Возвращался я как-то домой поздно вечером. Небо играло зелеными, голубыми, малиновыми полосами. Зашел в квартиру и спрашиваю:

– Вы когда-нибудь видели северное сияние?

– Нет, – говорит.

– Тогда поспешите выйти на улицу.

– Да ладно. Я уже спать собираюсь.

И пошел в душ.

Назавтра спрашивает у меня:

– А ведь северное сияние бывает от солнечной активности?

– Да, – говорю, – от повышенной.

Универсалы вызывают испуг.

Когда-то вдруг не приехал на сессию планировавшийся преподаватель. А студенты – вот они. Ждут. Узнали мы, что в филиале по соседству челябинский профессор преподает нужный нам курс. Переговорили.

– Да я с удовольствием, тем более что с завтрашнего дня свободен.

Пришел. Лекция. Читает почему-то исключительно по бумажке, очень быстро и на вопросы отвечать отказывается.

– Не отвлекайтесь! – строго говорит студентам. А на перемене сообщает учебному отделу, что у себя в Челябинске он ведёт пятнадцать дисциплин.

Мы испугались такого энциклопедизма. И больше его не приглашали.

Москвичей любит вся Россия и мы, в частности. Часто зовём столичных преподавателей в наш институт. Они ездят с удовольствием. Например, профессор Житков говорит:

– Я всегда готов приехать на выручку. Если, конечно, выручка гарантируется.

Тяжелое воспоминание.

На ученом совете в большом и уважаемом педвузе утверждалась тема диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Когда я оказался единственным, проголосовавшим против, ко мне отнеслись снисходительно. Пожалели придурка.

Тема кандидатской была такая: «Живопись и графика в преподавании химии».

Педагогика – самая трудная для быстрого понимания наука.

Например, любой человек: инженер там, врач или дворник – скажет про уют – «Уют». Научный педагог не так прост. Он не ищет легких путей. Он скажет что-то вроде: «Бытовой прибор для изменения структуры тканевого материала при повышенной температуре путем фрикций в горизонтальной плоскости».

Или ещё учнее. Например, с применением слова «парадигма». А что? Если без парадигмы, то на кой ляд у нас целая Академия педагогических наук?!

Многие сперва сильно пугаются. Но главное – суметь перевести с педагогического на русский. Ведь речь идет всего лишь об уюте.

Кто-то, например, мой друг Лёха Нескоров, думает, что я про педагогов-теоретиков сочиняю и, значит, в конечном счёте, вру. Отнюдь!

Получите текст диплома, которым наградили одно из учреждений образования в нашем городке:

«... за социально-обусловленное становление индивида как человека, личности в процессе институциональной межличностно-рефлексивной социализации и культурации в условиях центрации воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей и организацию воспитательного воздействия в различных воспитательных средах, расширение поля полилога между социальными институтами воспитания, спектра воспитательного воздействия при формировании патриотических качеств, исторической памяти и гражданской ответственности у детей и подростков, результативной включенности коллектива детей и взрослых в мероприятия различного уровня».

Начальство говорит, что самое главное в педагогике – методика. И жизнь эту истину подтверждает постоянно.

Например, один мужик завел кота. А кот с приходом марта начал куда-то по ночам исчезать. Домой возвращался грязный и потасканный. Нарушал в квартире санитарю.

Мужик пожаловался другу. А тот говорит: «Кастрируй ты своего кота, он и не будет шляться». Мужик послушал.

Кот пару дней отлежался, зализал те места, где когда-то что-то было. Но снова стал по ночам исчезать, возвращаясь в том же неопрятном виде.

Мужик его спрашивает:

– Васька! За каким это интересом ты опять шляешься? Я ведь тебе уже всё отрезал!

Кот отвечает:

– А я методистом!

ХОХОЛ И ЛЕСОТУНДРА

Москали полагают, что хохлы вредные поголовно, но это неверно. Предрассудок. Например, лично я – очень благодушный. А вот Ваня, то бишь Иван Георгиевич Пологнюк, – не дай бог никому! Настолько вредный, что вошёл в противоречие даже с родной Западной Украиной и съехал в сибирскую лесотундру. Назло всем.

Уже больше четверти века живёт он почти анахоретом в местах безлюдных, где лосей с медведями куда больше, чем народонаселения. Точнее говоря, лоси с медведями и куропатки с глухарями присутствуют, а народонаселение – нет. И как Ваню в такой компании русская жена Галина переносит – загадка.

Переезды у них бывали только из одного урочища в другое. Сейчас они близко к цивилизации оказались. От их реки Ярудей до города Надыма – всего сто вёрст.

В послевоенные годы заключёнными здесь была построена железная дорога. Потом её и лагеря забросили. Но ещё пятнадцать лет назад можно было от Ярудея на дрезине ездить почти до Надыма на восток и почти до Салехарда на запад. А сейчас дорога бывает лишь зимой, потому и называется она зимником. Летом же сюда только вертолётном можно добраться. Если, конечно, не хочешь стать мастером спорта по туризму или покойным экстремалом. Впрочем, Иван и по обмелевшей реке добирается. Но то же Иван!

Спрашиваю у Галины: как в прежние годы они связи с миром поддерживали? Рассказывает.

– По железке на дрезине. Только рискованно было. Например, как-то раз ехали мы с Ярудея в Салехард, через Полуй, где нас ждала лодка, чтобы дальше добираться уже на ней. Сижу я, держу на руках щенка. А дрезина, когда через реку переезжали, сошла с рельсов. При этом моста как такового не было, просто одни рельсы. Стояла жара, рельсы сильно нагрелись, расширились, повело их, и колея разошлась. А от полотна до воды – тринадцать метров. Дрезина вниз не сорвалась, зацепилась благодаря контррельсам. Но получилось, что мне ногу чуть не по колено зажало. Это на такой-то высоте! Дрезина весит триста пятьдесят килограммов. Всё же мужики смогли приподнять край, освободили меня. Сначала паники не было, а потом истерика со мной началась. И синяк огромный получился.

Иван прерывает.

– Железка была для нас дорогой жизни. Мы по ней возили продукты, запчасти и так далее. И мы её в меру своих сил поддерживали, ремонтировали. И даже к самому дому ветку проложили, чтоб не таскать чёрт знает откуда воду и прочие грузы.

С другой стороны, всё, что было связано с нашей железной дорогой, – сплошной риск. Это – каскадёрство. Всё зависело от степени дури водителя дрезины. Нормальные люди бросали эта занятие по той причине, что просто страшно. А я водителем долго был. Адреналин в груди подогревал, нравилось

рисковать. Например, расскажу про собачку мою – Вишора. О том, как с ним беда случилась на дороге.

Исполнилось Вишорику года полтора от роду. Он был очень породистой лайкой. Мама его происходила из кировского питомника, а отец – из московского. В общем, поехал я на большой дрезине с ним. А в районе Мшистой есть большая тундра. Там насыпь поворачивает влево и сильный скос имеется из-за эрозии. Смывается в том месте железка. Идти нужно очень тихим ходом и сидеть при этом в качестве противовеса на верхнем левом краю дрезины. Иначе она слетит в озеро.

Проехал я осторожно это место и на радостях газанул. А там дальше взгорок был. Проваливается дрезина. Вишор падает в цепную трансмиссию. Правая задняя лапа попадает на звёздочку, и пальчики псу перемалывает вдрызг, вдребезги. Я посмотрел: пёсик скулит и тут же начинает откусывать перемолотые пальцы. Постелил я ему брезент и говорю: «Вишорик! Мне нужно туда срочно. Ты подожди меня!»

Он смотрит, слёзы из глаз текут, и видно, что понимает. Снял я тогда патронташ и положил рядом с собакой его и подстреленного зайца. Вернулся из Салехарда. Пёс к этому времени всё искалеченное отгрыз, зачистил. Остались только подушечки. Дома недели три всё это заживало. И всё время пёс выгрызал лишнее: раздробленные косточки, которые вылезали. Плакал, но выгрызал. Я смотрел на него и думал: «Мне бы в жизни такую веру и настойчивость!». Великий был по духу пёс. Галя ему таблетки давала обезболивающие, пряча их в карамельки. Он ел, как будто понимал, что надо. Когда нога зажила, то он так быстро, как раньше, гонять уже не мог. И всё-таки лис и зайцев иногда приносил. Без нашего участия.

Понимали мы друг друга идеально. Порою я мужикам демонстрировал, что такое телепатия между человеком и собакой. Например, говорю товарищу тихонько, сидя за столом: «Сейчас я подумаю о том, что мы с Вишором собираемся на охоту». Запускаю себе такую мысль. Собака из дальней комнаты выскакивает, подбегает ко входной двери и начинает её царапать, повизгивая и приплясывая.

Потом я думаю напряженно: «Вишор! Мы не идём на охоту!». С псом тут же происходит метаморфоза. Он никнет, ссутуливается, секунд тридцать ещё стоит у двери, потом вздыхает и возвращается на свою лежанку.

Он читал мои мысли, и работали мы душа в душу. Потому и результаты были прекрасные. Правда, с братцем – Тугриком – они дрались постоянно и жестоко. Например, такой случай был.

Один ненец, чьё зимнее стойбище оказалось неподалёку, поставил капкан на росомаху. Она попалась. Но капкан – третий номер, слабенький. Росомаха, естественно, сорвала его с привязи и понеслась по тундре. Я смотрю: мои псы за кем-то приурадили. Подлетаю на «Буране», вижу зверя. Пытаюсь собак отогнать – ничего не получается. Дерут они жестоко, раздирают ей задницу. Потом она приметила в торфяном берегу вымытый грот и юркнула туда. Собаки следом.

А росомаха-то не моя. У неё уже хозяин есть, коль она с «браслетом». Но я собак ни успокоить, ни достать не могу. Начинаю в этот грот сверху топором

прорубаться. Наконец-то повытаскивал их за хвосты. Но они до того осатанели, что схлестнулись уже друг с другом.

Это был смертельный бой. Я и «Бураном» наезжал, и снегом их засыпал, и бил так, что валенки продырявил, – не могу разорвать. Они мне все руки искусали. В итоге домой я привёз два полутрупа. Вишор ещё туда-сюда, а Тугрик потом долго «на больничном» был.

После этого я их на зверовую охоту вдвоём не брал. А ненец на следующий день пришёл. Я показал, где его россомаха. Он вырубил тоннель в торфе и достал свою добычу. Мёртвая уже была.

Кстати, это не дело – ставить на россомаху песцовый капкан. Только портить зверя. Не по-хозяйски, неправильно.

* * *

Вообще-то познакомились мы с Иваном ещё в восемьдесят девятом. А на следующий год, в конце августа, после того, как небывалые тундровые пожары поутихли, наша группа из семи человек прилетела на Ярудей. Иван с женой были в отпуске, и на месте оказался только напарник Ивана – Андрей Аптрахимов.

В один из вечеров, когда отряд наш вместе с Аптрахимовым возвращался из экспедиционного маршрута по лагерям на ночёвку, мы предложили старожилу зайти в гости, поужинать. Жилище наше было в полуверсте от его дома.

– Минут через сорок, – сказал местный житель.

Ни через сорок минут, ни через три часа его не было. Мы легли спать.

Встретились только утром. Спрашиваем:

– В чём дело?

Оказывается, когда расстались мы, подошел Аптрахимов к своему крыльцу, начал болотники стягивать. А из кладовки на него медведь. Правая рука Андрея упиралась на завалинку, где стоял ковшик. Этим ковшиком Аптрахимов в медведя и запустил, а сам бежать кинулся. Обогнул дом и снова с медведем нос к носу столкнулся. Тут неизвестно, кто из них взревел громче. Снова разбежались.

Отдышался Андрей Алексеевич. Унял дрожь в коленях. «Нет, – думает, – так дальше жить нельзя!». Взял ружьё, отвязал собак и пошёл того медведя искать. До сумерек собаки преследовали зверя, но так и не смогли его выгнать на открытое место. А соваться в чащу Аптрахимов не рискнул.

В принципе, до недавних пор в гостях у Вани я бывал весьма безрезультатно. Съем, бывало, три-четыре тарелки, отвалюсь от стола обессиленный, да всё на этом. Бездуховность. Не хватало чего-то.

И вот додумался я, наконец-то, допросить его о чём-нибудь существенном.

Вспомнил про случай с Аптрахимовым.

– Расскажи-ка, Иван Георгиевич, о медведях.

– Ради бога, – сказал хозяин.

И пока мною уничтожалось содержимое объёмной Ивановой сковороды, он излагал.

* * *

– Медведи-то у нас действительно есть. Порой надоедают хуже горькой редьки. Например, случай с другом моим, фотографом Юрой Лазаревым, был довольно-таки смешной.

Между прочим, с Юрой вообще много чего случалось. Так что сначала немного не по теме. Как-то мы ходили на старое озеро, где до пожара девяностого года был, кстати, натуральный медвежий угол. Интересное место. Во-первых, местность там – взъерошенная. Как человек, кое-что понимающий в геологии, скажу, что там морена останавливалась, когда ледник шёл по нашей местности. И он многое нарыл.

Например, у нас между Ярудеем и Кутопьюганом есть озёра глубиной до сорока метров. Среди них одно из святых озёр, из которого течёт чистая, как слеза, вода. Там урман натуральный был. Лиственницы стояли метров по тридцать высотой. А рядом находились торфяные сопочки – бугры пучения. В пожаре девяностого года они сгорели, и на этом месте образовались озёра и бурелом. Там, где была тундра, появились провалы. Короче говоря – не пройдёшь. А нам с Юрой нужно было пройти.

Ну, он, как всегда, нагружен аппаратурой. Я штатив несую (люблю штатив носить!). Идём.

Вдруг то ли медведь в кустах пробурчал, то ли что-то другое Я-то и не разглядел, и не расслышал. Летом ведь всё равно не страшно. А вот Юрик что-то уши наострил.

– Эй! Ты что сзади плетёшься? Иди с ружьём вперёд!

Я говорю:

– Иди-иди, Юра! Ломись! Я что ли буду тебе тропу пробивать? А потом ты повнимательней, аккуратней через ручей перепрыгивай.

– Да что ты меня учишь, я что, пацан! У меня армия знаешь, какая была! Не чета твоей.

– Ладно. Но всё же не упади в ручей! Ручей-то глубокий.

Юра разгоняется, прыгает, не долетает до того берега десять сантиметров, соскальзывает и ныряет с головой. Крякается со всей аппаратурой. А вода – холодная, течение – сильное. Юру сносит. Я только и успел схватить его кофр с объективами:

– Ну, что, десантник! Пошли домой обсыхать.

– Это ты накаркал, – огрызается Юра. – Как что-нибудь ляпнешь – так то и случается.

– Хорошо, – говорю. – Каюсь. Даю тебе свободу: бери мою лодку.

А я лодку ту из листового алюминия сделал. Стрингера, шпангоуты, всё связал. Легчайшая байдара получилась. И предупреждаю его:

– Юрик! Лодка – лёгкая и вертлявая. Ты должен аккуратно садиться, центровать свой вес. А скорость на ней можно развивать километров пятнадцать в час.

Он только рукой махнул:

– Что ты меня, хохол, учишь!

Ушёл он опять на берег. Сел в лодку. Кофр уложил. Оттолкнулся. И тут же булькнул.

Приходит: с кофра течёт и с него течёт. Я даже не смеюсь.

– Со швартовкой вас, – говорю.

На следующий день он спрашивает:

– У тебя есть другая лодка?

– Есть, – говорю. – Надувная, резиновая.

Отвез я его на дрезине к мосту через Ид-Яху. До устья оттуда – девять километров. А от устья до нас – только три.

– Сплавайся, – говорю, – потихоньку, не торопясь. И будут тебе и зайчики, и глухари, и медведи, и прочая живность. Снимай – не хочу.

Ну, поплыл он. И где-то примерно на полпути, километра через четыре, откуда ни возьмись – в воде сучок острый, обломанный. И проколол лодку. Опять друг Юрик тонет.

Когда он пришёл, я хохотал, можно сказать – ржал:

– Дело, видимо, не в моём языке, а в тебе самом. Ты кто по гороскопу? Весы?

Тогда вода, Юра, – не твоя стихия. Нырять в неё нечаянно – вот твоя судьба.

А теперь о медведях.

Октябрь месяц. Юра приехал на съёмку. А снегу к тому времени выпало сантиметров пятнадцать. Завёл я «Буран» и говорю:

– Отвезу я тебя к речке. Это – три с половиной километра от посёлка. Ты после моего отъезда немного посидишь, природа успокоится, и пойдёшь назад, снимая.

Солнце встало. Птицы, то есть глухари, зашевелились.

Увёз я его на «Буране». Смотрю свежий медвежий след. Свежайший!

На дворе было примерно десятое октября. А медведь у нас ложится в берлогу в начале ноября. Просто последнюю неделю-две он кружит рядом с лежбищем, организм свой в порядок приводит.

Так вот. Вижу свежайший медвежий след и запах даже чую. Рядом где-то зверь. Когда не очень холодно и снег на медведе тает, то разносится запах вроде псиного – резкий, аммиачный. А нюх у меня тогда нормальный был. Я и медведя, и лося чуял.

Юра же сидит спокойнёнхонько в санях, ничего не видит.

В общем, говорю ему:

– Ну, ладно. Я поехал, а с мишкой ты сам разберёшься.

– Не понял, – реагирует Лазарев.

– Чего ты не понял? Ты пощупай след. Он же ещё горячий.

– Где? – привстал Лазарев, шаря взглядом по снегу. – О-ё!!!

– Ну, ладно, Юра! Как заказывал музыку, так и получи. Поехал я. А медведя не бойся. Он сейчас сытый. Бояться – юмор для городских.

Уехал я.

Юра посидел, покурил, тишину послушал. Встал. И сразу увидел медведя. Тот из леса шёл.

Зрение-то у медведя слабое, а ветерок тоже, видимо, был от него. Так что косолапый и не подозревал о фотографе.

Как тут стреканул Юра вместе со своим кофром! Прилетает во двор, дышит, как паровоз.

– Что? – спрашиваю. – Черти гнались?

А ему даже неудобно.

– Зачем ты меня туда привёз прямо в пасть медведю?!

– Успокойся, – говорю. – У нас и во дворе медведи гуляют ежегодно. Так даже жена их не боится. Она ещё несёт ведро на помойку, а они уже из-за кустов выглядывают, ждут, пока покормиться можно будет.

Но Юру это не очень-то успокоило.

Каждую весну приходят в наш двор новые медведи. Дело в том, что медведица, как мне кажется, рождает раз в два года. И получается так, что если самка научит медвежат ходить в посёлок, то потом через два года следующее поколение приходит.

Когда мамаша идёт в лес кушать ягоды, то самые слабые шарятся на помойке.

Кстати, в Америке, на Аляске это большая проблема. **Медведь же – человек очень умный. Он не пойдёт гонять лося по сопкам, если это трудно. Он пойдёт на помойку, там же корм халявный. А если это медведица, то и деток своих приведёт.**

Вот ходила к нам одна, мы её Машкой назвали. Водила с собой двух медвежат каждую ночь. Приходила со стороны реки. Помню, как это было в первый раз. Июль. Время – около часу ночи. Светло. Сидим мы с женой в доме. Окна выходят на вертолётную площадку.

Справа по дороге от реки выныривает медведица и за нею – два тюфячка-медвежонка. Подходит она к мусорке. А мусорка – всего в двадцати метрах от дома. И давай они втроём шебуршать. В мусорке – объедки разные, картошка, рыбы кости. Чавкают. Мне через некоторое время надоело смотреть на это безобразие, и я в форточку свистнул. Они ушли.

Когда Машка перестала шпану натаскивать на наш мусорный ящик, ей стало грустно. Я был в отпуске, а на берегу Ид-Яхи у меня стояла бочка бензина. Так эта долбанная Машка взяла бочку и бросила её наземь. Пробку я закрыл неплотно, поэтому бензин начал капать в песок. Машке запах, видимо, очень понравился, и она вырыла на этом месте целую пещеру. Токсикоманка. Вылила двести литров бензина в песок, а мне оставила только следы когтей.

Кстати. Как-то летом жена моя ходила дрова во дворе колола. Июнь месяц был. Я-то сам в доме футбол смотрел и собирался после этого по речке поехать, уток погонять. Тем временем и напарник Андрей вышел из дома, зачерпнул воды и направился в сарай. Там у нас пластиковая ванна с солёной рыбой стояла.

От нечего делать в окно глазею. Вижу: Андрей – ко входу в сарай, а оттуда медведь вылетает. Андрюха от неожиданности ведро уронил. Но не успело ведро приземлиться, как парень был уже на макушке прислонённой к дому лестницы.

Вышел я на двор, встал под лестницу. Андрей не слазит и только бормочет:
– Медведь, медведь...

Заклинило у него. Я у него спрашиваю:

– Газету дать?

А он:

– Зачем?

– Затем, что ты, наверное, уже в штаны наделал. Спускайся! Медведь давно убежал.

Напарник в ответ сильно матерится, но с лестницы не слазит. Наверное, минут двадцать торчал на верхотуре.

Как мы потом поняли, медведь в сарае долго находился, рыбку кушал. А Галя, ничего не подозревая, рядом ходила. И как она тогда в сарай не заглянула – непонятно.

Другой случай. Семьдесят девятый год. Начало декабря.

Банька у нас была в балочке возле озера Чебакового. От дома это далековато, метров восемьсот. Пошли мы туда с женой поздно вечером. А зимой поздно вечером – это значит ночью. И как назло, ружьё я не прихватил. Помылся, напарился, вышел в предбанник.

Слышу – снаружи грохот какой-то. Выглядываю. Ёлки-палки! А на помойке, на куче консервных банок – медведь. Мужики из экспедиции за лето устроили громадную помойку, в которой кроме банок свалили много проквашенной рыбы. Ну, шатун и припёрся.

Так вот медведь посмотрел на меня, фыркнул и дальше сидит. Закрыл я дверь.

Что же делать? Опять выглянул: сидит. Тогда я разозлился и говорю ему:

– Что, сволочь, совсем обурел?

Галя из мойки в предбанник выходит:

– Ты с кем разговариваешь?

– С медведем.

– Что ты тут мне шутки шутишь?

Открыл я дверь, показал ей. А медведю всё до лампочки. Тогда запустил я в него дровиной, она загремела по банкам. Только после этого косолапый ушёл. Спрыгнул в лог.

Домой мы возвращались с опаской. Я на всякий случай ломик из бани прихватил. Ох, и неудобно идти было! Спина чесалась.

Потом этого медведя-шатуна ранили мужики из экспедиции и нам ничего не сказали. А так делать нельзя. Ведь раненый медведь для людей прокурором становится. Этот, например, потом вконец обнаглел. Прямо у дома шарился, охотился на нас. И мы просто были вынуждены его пристрелить.

Но, что же все о медведях... Замечательно то, как мы с Вишором первого волка добыли.

Вообще-то на моём счету серых – шестнадцать штук. Но памятнее всего первый.

Вот это был ужас. Ужас! В волке том оказалось около семидесяти пяти килограммов. Только чистая туша без потрохов потянула на пятьдесят шесть кило. Когда я после охоты взял его, подмёрзшего, «за локотки» и поставил на задние лапы, то он оказался значительно выше меня. Видимо, был вожаком и незадолго до нашей встречи, потеряв лидерство, ушёл из стаи.

Так вот. Узнал я, что в верховьях Шуги волки теребят ненецкие олени стада.

Но Шуга довольно далеко от нас, километров тридцать. Я же как-то проезжал по Пусь-Яхе. Это – рядом. Там в пойме лиственничник мелкий, но очень густой. Смотрю – одиночные следы волчьи, огромные, диаметром сантиметров десять, если не более.

А у меня в то время вариатор «Бурана» заклинивал и ружьё было дрянь – одностволка, у которой экстрактор не выталкивал гильзы, так что приходилось

их отвёрткой выковыривать. Еще имелся с собою тесак огромный. Кажется, он назывался «Промысловый нож № 5». Целая коса на поясе висела.

Лесок вокруг такой густой, что не видать почти ничего. Но смотрю: с сопки что-то крупное соскользнуло. Пригляделся – волчара. И попёр он по следу моего «Бурана» в противоположную сторону.

Тут я удивился и испугался. Потому что Вишор быстро догоняет того волка, преследует и пытается чуть ли не за холку схватить.

Кстати, Вишор не дрейфил по той причине, что я в своё время глупость сделал. Мы выкармливали щенят варёной дичью, в том числе и варёной волчатиной. И запаха волка мои собаки не боялись.

В общем, я как увидел эту картину – со страха чуть не помер. Ведь если волк огрызнётся, то от моего Вишора в секунду ничего не останется.

И «Буран» запустить не могу, руки дрожат. Обстучал вариатор. Наконец-то завёл. Волк с Вишором уже удалились километра на два.

Догоняю. Вишора отозвал и давай волку на пятки наступать. Догнал до открытой тундры и ещё пуще поддаю, чтоб утомился серый. Периодически стреляю дробью по «штанам». Волк начинает всем корпусом разворачиваться. Собака, слава богу, поотстала. Наконец, стреляю пулей. Вижу, как она пробивает бок серому насквозь, но он дальше шурует. Тут у меня опять заклинила гильза. Чтобы вытащить её, останавливаюсь. И в результате вариатор заклинивает. Не успел я перезарядить, как волк развернулся и попёр на меня.

К той секунде я с «Бурана» уже соскочил, держу ружьё в левой руке, а правой пытаюсь с помощью отвёртки гильзу выковырять. Волчара прыгает. Я бросил ружьё и чисто инстинктивно двумя шагами метнулся навстречу. И получилось, что его пузо оказалось выше меня. Автоматически мой кинжал и вошёл по рукоятку. Волк упал, потом снова вскочил и побежал в сторону.

У меня шок. Валяюсь на снег. Минут пять всего колотит. Ничего не могу: нож не выпускаю, ружьё зарядить не в состоянии. Серый же вяло, потихоньку уходит.

Оклемался я, пришёл в себя, перезарядил ствол. Завёл «Буран», догнал зверя, стреляю. Вижу, что пуля прошла выше – смазал. А волк рухнул. Вроде бы сдох...

Стою поодаль и в горячке вспоминаю, какими должны быть уши у мёртвого: прижатые или нет. Смотрю – уши волка моего свернуты платочком. Неживой, значит...

Разглядел я его, зацепил за фаркоп и приволок домой. Естественно, похвастал перед мужиками: «Смотрите, какой экземпляр!».

В общем, жил я этим. Охотой. Мне даже порою сны вещие снились. Я заранее видел, что именно сегодня добуду.

Зарплату в те годы наша семья получала мизерную, но выручали промысел и то, что мы с Галей в кооперацию сдавали сушёные грибы. Чуть ли не весь план по округу вдвоём выполняли.

* * *

Долгие годы, проведённые в заповедных местах, не сделали хохла русским, но к природе Севера сформировалось у него отношение бережное, культовое. И потому алчность человеческая – больше поймать и скорее убить – вызывают в Иване что-то вроде острой зубной боли. «Ты представляешь, – злится Пологнюк, вспоминая какого-то визитёра на Ярудей, – он мне хвалится, что добыл за день мешок глухарей. А на хрена тебе мешок глухарей? – спрашиваю. – С голоду пухнешь?».

После этого диалоги у нас продолжались до утра. Но последующие истории не запомнились. Не железный я. А, может, количество историй совсем не важно. Важно правильно расставлять знаки пунктуации в предложении «Любите природу мать вашу». Ваня расставляет.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С АЛЕКСАНДРОМ РЯБИКОВЫМ

*...испрашиваю здесь прощения
у всех моих соотечественников во всем,
чем ни случилось мне оскорбить их*
Николай Васильевич Гоголь

С Александром Викторовичем Рябиковым мы пуд соли съели. Причем, большая часть этого пуда пришлась на студенческие годы. Правда, Шуру, как я его всегда величал, соль эта почему-то доставалась горше.

Вот, помню, сдавали мы экзамен по педагогике. Получил я свою пятёрку и ждал Шуру, который на тот момент томился с прочими в коридоре и еще не стал пред судом доцента. Чувствовал он себя нервно, и мне было его жаль.

Вдруг экзаменатор резко вышел в деканат, видимо, позвонить нужно было. Я, пользуясь возникшей безнадзорностью, мгновенно симпровизировал: открыл дверь, шагнул к экзаменационному столу и стёр билет. Наблюдавшие это сокурсники онемели от моей наглости.

Принес украденное Шуру: «Готовься!».

Товарищ очень удивился, но спорить со мной не стал, быстро и капитально проштудировал всё, что нужно. Пошел сдавать. Изображая внутреннюю борьбу, как положено, вытянул билет и, глядя на номер двадцать шесть, не краснея, отчеканил: «Пятнадцатый». Досрочно сел отвечать. Вещал убедительно. Преподаватель смотрел на Шуру умиленно и, казалось, говоря глазами: «Какая прелесть!». Потом прервал: «Отлично!». Шура, положив на стол пятнадцатый билет, с двадцать шестым вышел в коридор. По «конвейеру» очень неплохо сдала экзамен и часть оставшейся группы, наиболее бессовестная и дерзкая. «Лишний» билет в самом конце процесса был найден «почему-то» под столом доцента. Но не в этом суть.

Развернув в коридоре зачетку, Шура обнаружил, что вместо «отлично» доцент поставил ему всего лишь «хорошо». А у моего приятеля кроме этой оценки в зачетке до сих пор ничего не было, потому Рябикову очень хотелось разнообразия, причем, в лучшую сторону. Едва увидев письменный вердикт, Шура ломанулся из коридора обратно в аудиторию: «Извините, но Вы

ошиблись!». «Нет, не ошибся» – парадоксально парировал доцент. Я сказал «отлично» в смысле «хорошо».

Теорию педагогики с тех пор Шура стал уважать еще меньше.

А как-то, через пару лет после окончания университета, Рябиков прилетел ко мне на Север, настрадался от комаров до истерики, но поймал с Гришей Анагуричи хорошую, большую рыбу. Потом мы поехали к Шуре в омскую деревню, в гости.

– Вадик, – суется на кухне, подозвал он меня, ожидающего закуски, – а как обычно осетра к столу режут?

– Обычно его не режут, – ответил я.

– Ах, да, – прояснился товарищ, – ведь обычно его просто нет.

В общем, разное помнится.

Еще после университета мы друг другу писали. Часть моих писем Рябиков сохранил и по моей просьбе, спустя долгие годы, вернул. Вот они.

* * *

Здравствуй, Саша!

Если ты, действительно, ничего не знаешь, то изложу по порядку.

Ровно два месяца назад, сойдя с трапа Як-40, подошвой, измазанной омской грязью, я ступил на Полярный круг. То есть прилетел в Салехард.

Покурил одну ночь с новоиспеченным приятелем в речном порту, потом день проходил по авеню Республики (самая главная в этом городке) и вечером сел на теплоход ОМ-341.

Настроение было самое паскудное, что-то не чувствовал я в себе первопроходца. Всё было знакомо и даже банально: и ветер не свежий, и волна не крутая, а тут еще и народа полный салон. До Ныды – более суток, и всё вприсядку, а чтобы вприлёжку – ни-ни. Толком даже ступить негде. Бродил по корме, курил, опять курил. Выпили мы с приятелем портвейна, обменялись адресами (он – из Яр-Сале учитель математики) – ночь долой.

Потом явилась крутая волна и свежий ветер. Берега показались совсем дикие, а деревьев – ни-ни. Вылез на склоне огромный транспарант «Панаевск» и четыре избы. Я понял, что началась романтика, и сказал: «Здравствуй, тундра!».

Потом берега пропали, ночь наступила, и ливень начался. Покуда хоть что-то было видно, стоя на пустынной палубе, я заметил метрах в ста пару белых существ, плывших-нырявших параллельно курсу судна. Сначала подумал, что белые медведи. Потом до меня дошло, что медведям здесь делать нечего и что это – пара белух.

Наконец мы пришли в Ныду. Какая-то (ну, теперь-то я знаю, какая) учительница младших классов, которая возвращалась на этом теплоходе из отпуска, сказала, что в третьем часу ночи под дождем я ничего не найду. Я тоже так подумал. Потом она сказала, что меня не укусит, я её тоже, и пустила переночевать. Спал у печки на полу, и, естественно, ни-ни.

Утром пошел в школу, прописался в сельсовете, стал на учет в военном столе (ну и название!). В полдень меня и упомянутую учительницу догнал на улице Попов Алексей Тихонович – учитель биологии (так он с ходу представился),

спросил, действительно ли я из Омска, и скомандовал идти за ним. Оказался парнем из Калачинска.*

Стали мы с ним поживать душа в душу. Он куски малосолевого осетра носил от соседей, я – бутылки армянского коньяка из магазина. Он стекла вставлял, я полы мыл. Вместе летали по заданию школы на вертолёте, собирали по тундре детей в интернат. Затем поехал я на учительскую конференцию в Надым, чтоб одновременно трудоустроиться.

Когда трудоустроивался, в гороно из Салехарда пришел на меня запрос: мол, такого-то разыскивает Омск. Меня и тормознули. Жил в гостинице, кончились деньги. Искал в общественных местах и на тротуарах копейки, чтоб с голоду лапы не завернуть.

И тут в мой номер вселился один и.о. начснаба строительной конторы из Нового Уренгоя. Звать Толиком. Лысый и весёлый. Его первой фразой была «Пить будешь?». В общем, неделю он водил меня по маршруту «столовая – кинотеатр – ресторан «65 параллель». Потом пришел перевод, потом – телеграмма: «Омское гороно разыскивать не будет», и я опять явился к местному начальству образования. Направили в ненецкий национальный поселок Кутопьюган, который примостился на побережье Обской губы. Шибко красивых женщин и изрядно умных мужчин я в Кутопьюгане пока не обнаружил. Кажется порядочным мой завуч, с которым временно живу в одной хибаре. Но, к сожалению, он не вполне компетентен в отдельных вопросах быта и вообще для меня староват. Другой коллега, выпускник Тюменского университета, – почти ровесник. Он, наоборот, настолько перешел границы хозяйственности, что погряз в упомянутом быте и в жене своей по уши. И еще он сморкается, когда сильно нетрезв, в моё полотенце. Третий, любитель спортивной рыбной ловли, быстро пьянеет и постоянно находится под контролем супруги, что мне никогда не нравилось.

Население поселка на девяносто процентов – ненцы. Дети в школе – ненцы на девяносто пять. Спрашиваешь – не встают, отправляешь в угол – не идут. Отношу туда непослушных с четвертого по восьмой класс сам. Они садятся в углу на пол.

Кроме школы ежедневно по пять часов работаю в интернате. Выходных практически нет. Устал зверски.

Коммунальные деньги еще не давали, а за дрова я уже платил. Сейчас хожу, объедаю интернатскую столовую, потому как сам – банкрот. Но самое обидное, что нет времени выйти в тундру, где гулял только раз. Безрезультатно мечтаю побывать в стойбище – семь километров от поселка. Наконец, мечтаю выбрать один день и отдохнуть, как следует.

Отличительная черта каждого северного посёлка и Кутопьюгана тоже – собаки. В основном – кобели. Их количество примерно равно количеству двуногих жителей, или даже превосходит. Почти все – волкодавы, и ни одного на цепи. Они до того разбередили мне душу, что сложились стихи:

Вот снега замели. Кобели, кобели...

* Калачинск – один из районных центров Омской области

*Я угрюмо брожу по посёлку.
Мне бы русских берёз, мне бы в поле овёс,
Не оленя, а русскую б тёлку.
Но дорогу до тёлки снега замели,
И бегут на меня кобели.*

*Кобелёвыми взляями местность полна,
Кобели и вблизи, и вдали.
Засыпаю, но душу воротят до дна
И на сердце скребут кобели.*

*Как меня задолбала кобелья среда!
Как тяжка кобелячая мука!
Если б только увидеть, учуять смогла
Хоть одна разблостастая сука...
Но дорогу до суки снега замели,
И бегут на меня кобели.*

Вот так. Кроме кобелей в поселке живут, как я уже сообщил, ненцы. Все, как положено – в малицах. А те, кто заходит, точнее, заваливается ко мне, – ещё и пьяные. Стучат по ночам в дверь и просят одеколон. Продают «песку» и «пурки», то есть – пешку и бурки. Не очень дешево. Пытаются занять три рубля и делают хитрую морду. Делаю глупую морду и предлагаю зайти после зарплаты за червонцем. Разочаровываются, но уходят с некоторой надеждой. Всех сторон быта и окружающей обстановки в письме, к сожалению, не перескажешь.

Скучаю. В том числе без хорошей музыки. Здесь ни один восьмиклассник не слышал даже, что такое АВВА, например. Волны меломании затерялись в бескрайних просторах Обской губы и дошли до кутопьюганского берега мелкой рябью «синего, синего инея» и «малиновки».

Писать вам, как я понял, некогда. Ведь вы, уезжая из деревни Увал, по воскресеньям в городской ванной моетесь.

Я тоже кропать заканчиваю. Уже утро, и пора идти на уроки.

Общий привет.

23.X.1981 г.

Здравствуй, Шура!

Написал тебе давеча письмо и не помню: отправил его или куда-то засунул. Чертов склероз.

Сегодня-завтра ожидаем очередной (второй за неделю) комиссии. Вся школа опять в мандраже, а я забил на это дело гвоздь. Мне уже надоело дергаться по школьным поводам. И вообще, я очень устал от недосыпания, от идиотского питания, от неустройства, от уроков, от того, что принуждают делать бессмысленные вещи, от того, что пытаются убедить в том, во что не верят

сами, от того, что все вокруг не могут подняться над суетой и сказать: «Какая же это всё ...!»

Большинство охвачено одной мыслью, ставшей единственным смыслом: прожить бы денёк, удачно отчитаться и положить очередную копейку в заначку. Да так, чтоб никто, не дай Бог, не узнал про эту копейку. Всё тихо, скромно, правильно. С одной стороны – никаких претензий, с другой – никаких жертвований.

Везде бабы говорят о тряпках, здесь – о рыбалке. Там любят собраться, повеселиться, поболтать. Здесь – на работе собрались, после работы разбежались. Все хорошие, но никто никому не нужен. Петь, плясать не принято, в гости почти не ходят, книги и газеты не читают, только смотрят телевизор.

О радостях не говорят, печалей не выдают.

«Как живешь?» – «Отлично!».

«А вчера как жила?» – «Тоже отлично!».

«А сегодня лучше, или хуже?» – «Так же».

Никаких перепадов.

Тем не менее, наверное, мне интересней, чем вам. Всё-таки начинаю новую жизнь чёрт знает где. Моё теперешнее бытие трудно запрограммировать. Живу только сегодняшним днём.

Местные утверждают, что если смогу пробыть здесь два года, то не уеду никогда. И других мнений нет. Неужели так и случится?

Я понимаю, что безотносительно страшного не бывает. Страшно только то, чего боишься. То, к чему привык, – нормально или хорошо. А что будет со мной – не знаю.

В любом случае хотелось бы от жизни урвать побольше.

С Новым годом!

11.12.1981 г.

Здравствуй, дорогой друг Шура!

Задержка письма связана с производственными коллизиями, о которых не хочу вспоминать.

Замучился я уже один. Соскучился по жене и сыну. Он стал большим парнем. Это я знаю потому, что регулярно получаю свежие фотографии. Но ведь, как говорят хохлы, лучше один раз пощупать, чем сто раз увидеть.

В моей жизни – только работа. Ты пишешь, что потребности уменьшаются до физиологических. Должен тебя обрадовать: это не предел. Потому что физиологические потребности тоже стремятся к нулю.

Разве я мог представить, что в состоянии по три недели жить на чае с хлебом? Вопрос чисто риторический. А мне просто готовить некогда. Живу, как божий человек: не ем и не моюсь. Только бреюсь.

При этом два отрицательных следствия: до полного безобразия худею и кончаются лезвия.

Дочитываю роман Валентина Пикуля «У последней черты». Если ты не читал, то настойчиво рекомендую. Вещь уникальная. Не знаю только, издан ли он

отдельной книгой. У меня он в виде страниц, вырванных из четырех номеров «Нашего современника» за 1979 год. В голову лезут обобщения, аналогии и экстраполяции. Может, я – больной сын века. А может, мы все – такие сыновья. Слушаю Uriah Heep. Он прекрасен! Для бодрости включаю и EgypTion. Кстати, о меломании. Познакомился я с местным парнем. Русский. Модный. Его современность и музыкальные пристрастия выдает татуировка на плече: «Deer Purple in RoSk». А еще он говорит: «Джон ЛенОн». В принципе же, парень ничего: радушный хозяин и скромный гость, а выпивши сохраняет разум. Возил меня на собственных собаках рыбачить. Поймали мешок щекуров и нельм – килограммов тридцать.

Я организовал из детей театр «Глобус». Хрен ли нам Шекспир?! Веселим утонченную публику клоунскими репризами. Поставили басню Крылова «Волк на псарне» на смешанном русско-ненецком языке. Говорят, что было забавно. Трижды видел северные сияния. Погода стоит тёплая. Думаю, что не холоднее, чем в Омске.

Бывай. Пиши.

29. 01.1982 г.

Здравствуй, друг Шура!

Во первых строках своего письма я не торопясь сообщаю, что жив. Неторопливость моя проистекает из недавнего инцидента в школьной мастерской, где я обработал три пальца левой руки на электрофуганке. От этого кошмара чуть не потерял сознание и десять минут отлеживался на диване в учительской.

Выжил, но один пальчик упорно гниёт и не желает здравствовать. Хрен с ним, заставим.

Бытие мое по-прежнему движется обычной кутопьюганской орбитой, где нет апогеев, только перигеи. Один коллега вернулся из ЛТП. Теперь он полон уверенности и оптимизма. Другой коллега – четвертый день в запое. А я только мечтаю выпить по-человечески, но не с кем.

Ходил на охоту с новым приятелем, Гришей Анагуричи. Из ружья стрелять не пришлось, сняли куропаток с петель, которые были выставлены Гришей до того. Основное удовольствие – от природы. С одной стороны была Обская губа, с другой – лесистые холмы. В овражках – снег по грудь. Безупречная белизна. Опять начинаю тосковать по жене, но она мне упорно не снится. Как-то снился Труфанов, как-то – Воронов, а сегодня всю ночь – кошмары.

Сначала батя ходил по проводам над огородом. Потом четыре коровы стояли за домом у сарая. Потом обалденный летательный аппарат – гусеница-вертолет с двумя винтами – летал-летал, начал трясти наш сортир, где в этот момент находился мой дядя Ваня. Затем эта «гусеница» пыталась поджечь родительский кирпичный дом, прочитала всем грозную нотацию и слиняла. И так всю ночь.

Я постоянно просыпался с мыслью: «Ну вот, Вадик, тебе и конец пришел!». Если такие сны будут сниться и впредь, то не написать свои «Записки сумасшедшего» – значит совершить проступок перед цивилизацией.

Закругляюсь.

Через пару месяцев начнет таять снег, а пока у нас минус тридцать. Правда, здешние морозы не мешают моим прогулкам. Это я многократно проверил. С наилучшими...

10.03.1982 г.

Здравствуй, Шура!

Я произвел статистическое исследование, о чем и рапортую. В авгиевых конюшнях личной конуры мною обнаружено сто шесть писем. На основании простого арифметического подсчета я сделал вывод, что больше всех меня любит мой родной брат. От него получено шестнадцать. Второе место делите ты и моя жена – по пятнадцать. Остальные ко мне гораздо более холодны. А всего – двадцать шесть адресатов.

Получил еще и десятка полтора телеграмм. Последняя пришла сегодня: «Пьем за твое здоровье. Пластун, Терехин, Песцовы, Воронов, Якуб. Омск. Последняя неделя марта. Твои друзья».

В мгновение ока сие стало бестселлером Кутопа. Слухи с почты просочились во все углы, и при встрече каждый меня поздравляет. Чувствую, мои акции с этого дня резко подскочили. Приятно, чёрт возьми!

Ходил на очередную охоту. Опять с Гришей. В этот раз ничего не добыли. На обратном пути изменили маршрут, ушли с губы в лес, на холмы. Поставили три петли на зайцев. В итоге я так утомился, что, вернувшись домой, присел на кровать, тут же упал и проспал с семи вечера до двух ночи. Не сняв полушубка. Продолжаю балдеть от туземной природы. Жаль, что без жены, она была бы счастлива (а, значит, я тоже).

Посылаю тебе фото. Охота номер два. В моих руках – комбинация гладкоствольного ружья и мелкашки, вокруг – куропаточки следы.

Пиши.

29.03.1982 г.

Здравствуй, Шура!

Живу, как взрослый. Сегодня вернулся из командировки (опять в Лабытнанги). Четыре дня бичевал, курсируя между Лабытками (так принято говорить) и Салехардом. Появлялся одетый в бродни, ватную телогрейку и кепку из дерма... в общем, из кожзаменителя в разных культурных местах: окружном отделе народного образования, кинотеатре, гостинице «Ямал», редакции газеты «Нарьяна Нгэрм». Правда, моему виду никто не удивлялся, потому что таких здесь полно.

Одну ночь ночевал в Лабытках в компании снабженца чеченской национальности. Парень явился в балок с работы веселый по случаю удачной продажи партии ворованной краски налево, поил меня вином и удивил заявлением, что никогда не знает, сколько у него при себе денег. «Смотри, – демонстрировал он, – у меня деньги во всех карманах». Действительно, в

каждом кармане брюк, пиджака и куртки было по смятой и скрученной стопке червонцев и четвертаков.

В конце застолья снабженец был поражен, что я – учитель. «А я был уверен, что ты какой-то работяга», – сказал он.

Натерпелся я и страху. Каждый день мы на машинах переправлялись через Обь. Зимник под влиянием оттепели превратился в реку, где глубина до полуметра. У выезда на лед плакат: «Водитель, помни, что под тобою Обь!». Конечно, не забывается, что подо льдом глубина в десятки саженей. А сквозь воду в колее не видно, в прорубь ты едешь или в промоину.

Мельников написал, что женился. По этому поводу я, наверное, сверстаю оду. Мне поручено завтра на проводах русско-коми-ненецкой зимы быть Дедом Морозом. На кой чёрт там нужен Дед Мороз – не знаю. Но говорят, что нужен обязательно.

Привет!

18.04.1982 г.

Здравствуй, друг Шура!

Не лезь пальцами в рот и не ковыряй в носу.

Прочитав это письмо, сожги его, а руки вымой с керосином.

Я ни за что не стал бы писать это, но за пять суток переворачивания на раскладушке с живота на задницу и обратно так замучился, что больше не могу ничего не делать.

Лежу в инфекционном лазарете г. Надыма. Болезнь моя не более аристократична, чем дизентерия, но, как она обзывается, ни выговорить, ни выписать не могу. В общем, название заканчивается то ли на «лёз», то ли на «лёсс». Всё это от каких-то молочных бацилл. Кутопьюганская доярка, угощавшая меня молочком, со своими дочерьми-помощницами – в соседней палате.

Ты вообще-то, не слишком бойся и противогаз не надевай. Тем более, что я уже почти пять суток не был в сортире (серьёзно говорю). Если и дальше будут давать на обед по ложке манной каши, то вообще забуду, что это за угол.

Такова диспозиция.

От нечего делать я начал мечтать о том, как приеду отдыхать в Омск. И получается зашибись.

Ты представляешь...

Раннее утро (сугубо). Скорый (разумеется) поезд с опозданием на каких-то два с половиной часа подтягивает свои зеленые, в саже вагоны к перрону омского вокзала. Его асфальт ещё хранит ночную прохладу, а на мазуте шпал поблескивает не успевшая испариться роса. Но все выше поднимается солнце. Ветром, конечно, и не пахнет. Пахнет тополиной листвой и тем самым мазутом. Воробьи обалдело чирикают, предаваясь эросу. И разливается, разливается море солнечного света. Прислонившись к железному фонарному столбу, стоит морячок в бескозырке Тихоокеанского флота и курит, прищуривая свои бывалые глаза. Благолепие...

Я схожу со ступенек, выдергиваю за собой из тамбура тяжелые вещи, глубоко (до самого дна) вздыхаю и, глядя на морячка, тоже закуриваю. После трех затяжек «Беломором» или четырех «Самел'ом» оставляю в покое папиросу (сигарету) и прю вещи через вокзал на площадь. Она почти пустынна. Бросается в глаза лишь наличие нового подземного перехода, который год назад только строился.

Потом у диспетчерской автобусов я вижу большую машину «Урал» с будкой, на которой написано «Техпомощь». Шофер минуту ломается, ссылаясь на то, что кого-то ждёт, но после показанного червонца везёт в Порт-Артур и получает три рубля.

Дворовая собака Тик подло спит и не реагирует на моё вхождение. Дом открыт. Там тоже все спят. Я ставлю вещи на веранде, хлебаю на кухне недопитый кем-то с вечера кефир и на цыпочках иду. Разумеется, сначала к жене. Потом – к маме с папой.

Пока мама греет борщ, жена охает, а батя лазит в погреб за домашним вином, я опять прохожу по двору, который так давно не видел. После этого бегу к Серёге Тимошенко и тихо стучу в окно его спальни. Он выходит на крыльцо в черных семейных трусах, потягивается, зевает и говорит: «А пошел ты на фиг!». Потом заразительно смеётся и простодушно улыбается, как бы извиняясь за шутку. Мы идём ко мне домой. Нет, пардон! Сначала Тимоха надевает штаны, а потом мы идём ко мне домой.

Тик уже проснулся и гавкает, как бешеный. Жена ревнует меня к Тимохе, а мой сын на его руках боится чужого дядю, то есть меня. Стол ломится от борща, хлеба и жареной картошки. Батя всё наливает и наливает, жена плачет, а мамка через каждые пять минут повторяет: «Мы думали, что тебя там вши съели». Вот так я представляю свой приезд.

На сем заканчиваю бациллоносное письмо.

29.04.1982 г.

Привет!

По нашей стенке пробежал паучок. Жена сказала, что будет письмо. Я обулся, открыл дверь и обнаружил в дверной ручке снаружи конверт, небрежно стиснутый периодическими изданиями. Вот так!

Теперь отвечаю по существу. То есть излагаю по твоему заказу подробности о рыбалке и охоте.

На рыбалку я с Гришей езжу через день. Ставим сети на губе. Рыбы много. Хотя больше четырех мешков с провяза (то есть с 75-метровой сети) мы ещё не снимали. Но и этот результат не плох, если учесть, что рыбка отборная: муксун и нельма.

Тот, кто живёт здесь давно, использует рыбу в качестве авиабилетов, платы за газовые баллоны, за бензин для двигателей и т.п. Мой напарник Гриша использует её также как средство погашения кредита за новый мотор.

У меня же пока нет личного водного транспорта, а значит – главного условия нормальной самостоятельной рыбалки.

Теперь об охоте.

Конечно, можно стрелять немало. Но для этого нужно ехать на острова. А то, что я вижу, впечатляет не очень. За осень был на охоте семь раз. Разок подстрелил четыре утки, другой – три, пару раз по две, ещё раз – одну. Два раза не добыл ни одной.

Правда, всё это были не специальные охоты на уток, а поездки на проверку ондатровых капканов, или я отвозил жену по ягоды. Разок у меня из-под ног взлетел глухарь. Но в этот момент на плечах сидел Андрюшка, и я не мог отреагировать должным образом.

В общем, здешнюю охоту я представлял побогаче. Хотя если выйти за посёлок специально на промысел, то без добычи не вернёшься.

Что касается моей семьи, то, как я уже писал, она приехала.

Жена находит, что в Кутопе, а особенно вокруг него – неплохо. Несколько раз возил её с сыном на природу за ягодами. Брусники в этом году море, грибов мало.

Зима, наверное, будет ранняя. Начиная с 31 августа почти еженощно шарашат северные сияния. Сегодня, 23 сентября выпал снег, который, впрочем, быстро растаял.

Из свежих впечатлений: мой директор порою излишне тепло одевается.

Например, сегодня он вошел в моечное отделение бани в трусах.

23.09.1982 г.

Здравствуй, Саша!

Мы живем полнокровной жизнью. Гостила тёща, завтра улетает. Десять дней назад на глазах у неё я нечаянно обварил кипятком жене правую ногу. Жена лежит, не встаёт, нога гниёт. Надеюсь, что хоть к Новому году Надя начнёт хромать по квартире.

Неделю назад от нас уехала комиссия гороно. Вздохнули облегченно. Но ненадолго.

Четыре дня назад пропал парень из интерната, искали в пурге всю ночь. Утром нашли на краю посёлка, в овраге. Замёрз в позе боксёра с недопитой бутылкой «Агдама» в руке.

Первыми к трупу спустились я и Андрей (новый физрук). Впечатление – высший класс. Парень был желто-сине-зелёный со снегом на оскаленных зубах. Потом к нему лихо ринулась наша кастелянша, чтоб вытащить из сугроба, и давай дергать за согнутую в локте конечность. «Осторожней, сломаешь!» – крикнул ей кто-то. Директор в это время хмуро курил в сторонке. Я подошел к нему и спросил, что он думает об этом. «Посадят на ...!» – сказал директор. Сейчас идёт следствие.

Приключения на работе тянутся сплошной полосой.

Позавчера один восемнадцатилетний семиклассник напился, буянил и не хотел идти в интернат ночевать. Меня позвали на помощь. Полчаса я уворачивался от его кулаков и оборонительно валял в снег. Потом это надоело, и я пару раз врезал. Вчера он не пришёл на уроки, но, слава Богу, никуда не убёг.

Прошлой ночью пропал хмырь из моего класса. Нашли спящим в одной избушке, пьяного вдрызг. Разбудили, отвели в интернат, и он там до часу ночи

буянил, а я его держал. Сегодня он уехал на оленях в стойбище, но вечером, к счастью, вернулся.

По случаю с замерзшим возбуждено уголовное дело. Меня оно почти не касается, если не считать того, что мой десятиклассник пил в тот вечер с покойным.

Что ни говори, а нашу работу можно пожелать только врагу.

Будь здоров.

26.12.1982 г.

Привет, Шура!

Высказанная тобою объективно-идеалистическая позиция («нам надо то, чего нам не надо») мне близка и понятна. К примеру, я поел бульона, а теперь употребляю хлеб с маслом, запивая яблочным соком. Знаю, что будет понос, но отказаться от этой очаровательной комбинации не могу.

Что важнее и сильнее: «Надо, потому что хочется» или «Не надо, потому что вредно»? – That is the question! Такие слабаки, как я, выбирают первое.

Ты спрашиваешь, Шура, какие подвиги совершили в тундре мы с гостившим Тимохой? Отвечаю: подстрелили несколько куропаток, выпили пять бутылок шампанского, две спирта, двенадцать водки, одну коньяка, одну «Белого крепкого» и одну «Porto» (португальского портвейна).

После всего этого Тимоха сказал, что наша жизнь – дерьмо, и не давал спать вопросом «Где живет продавщица Тася?». Мы с женой плакали и клялись, что не знаем. Если бы я ведал, то отнёс бы его к ней на руках немедленно, в два часа ночи.

После того, как Тимоха покинул Кутоп, из Надыма дошли слухи, что он сразу улететь на Тюмень не смог (или не пожелал) и поехал пить на квартиру к менту из аэропортовской милиции. Там чуть-чуть поддал и демонстрировал, как находчиво он провозит контрабанду (шкурки ондатры) в собственных штанах. Потом по аэровокзалу шарахался этот молодой нетрезвый и небритый мужчина, хватал милиционеров за локти и кричал в ухо: «Я – от Саши Дудина». О том, куда и как он улетел, предание молчит.

Буду в Омске 15-17 июля. До отлета хочу поймать осетра, иначе мой папа не будет меня уважать. Вот и всё.

От моей жены привета нет, так как я с ней только что поругался, и она закрылась в другой комнате.

Люблю и помню.

31.01.1983 г.

P.S.: Письмо помято потому, что моя кобра пыталась его у меня выхватить.

Здравствуй, Саша!

Я погряз, но не погиб.

Привет женщинам, которые, заботясь о твоём покое, бросили тебя в пампасах трехкомнатной сельской квартиры и подались в город. Пусть они будут здоровы.

Лучезарный Кутоп продолжает одаривать различными неожиданностями. Вчера умер с перепоя («сгорел») один ненецкий мужик. По этому случаю друзья его пришли похмеляться, но я их не принял.

В школе всё спокойно. Драки разнимаются, питьевые бачки (коими дрались) ремонтируются.

Был в служебной командировке. Надым – паршивый городишко. Магазин культтоваров закрыт, и магнитофон я не купил. В ресторане подают только винегрет, жареную колбасу, «Porto» и русский коктейль «Тройка». Деньги на магнитофон частично потрачены.

Весенние каникулы идут, но до весны далеко. За бортом – минус восемнадцать и легкая метель.

Моя жена ходит по дому, как лошадь, аж половицы гнутся. Сын играет с игрушечным пистолетом и настоящим ружьем. Временами пускает сопли и орёт: «Пойдём смотреть оленей!».

Как и в прошлом году получил телеграмму: «Пьем за твое здоровье последнюю субботу марта. Воронов, Терехин, Якуб, Песцов, Пластун». Юмористы из деканата нам с женой даже прислали приглашение на вечер встречи выпускников. Жаль, что до сих пор не налажена трамвайная линия Кутопьюган – ОмГУ.

Вчера пережил сумасшедший день.

Спал пять часов. С утра до обеда проводил уроки.

После обеда пошёл в баню, где впервые за год не было пара. Там сообщили, что сельсовет собирается меня вызвать на какую-то дисциплинарную комиссию по поводу непристойного поведения. Дело в том, что после парилки я обычно купаюсь в снегу в голем виде. Кого-то это возмутило. Придется теперь надевать трусы, хоть баня и стоит на дальнем отшибе.

Потом пошел на дежурство в интернат. Оно уже кончалось, когда я услышал крики «Беда, беда!» Сбежал со второго этажа на первый. Стоит толпа детей у входа в спортзал, челюсти отвислые. Воспитательница бежит по залу, заламывая руки, и орёт: «Я же говорила, я же говорила...». Другая, белая, как мел, твердит: «Всё, всё, мальчишка глаз выбил, всё...». На полу лежит пацан в луже крови и держится за место, где должен быть глаз. Лицо окровавленное и опухшее.

Я, конечно, струхнул, потому что лично пустил ребят в спортзал и оставил их без присмотра. Побежал за фельдшером. Она посмотрела, сказала, что глаз целый, разорвано верхнее и нижнее веко. Отвели бойца в медпункт. Зашили, забинтовали. Чем всё это кончится – никто не знает.

Это были ещё не все несчастья.

Когда пришел домой, явился друг Гаврилыч – наш банщик и народный умелец. Потом появился физрук Андрей, стал третьим. Посидели. Разошлись.

Жена вспомнила, что у неё завтра смена с семи утра, а будильник у физрука. Пошел к нему. Спит. Стучусь. Спит. Стучусь.

Слышу возню, удар и маты в режиме рёва. Дверь открывается. Стоит Андрей и, согнувшись, дует на стопу. Оказывается, чтоб не замерзнуть, он включил на ночь электрическую духовку и поставил возле кровати. А спросонья и в темноте залез ногою внутрь.

Обработали ногу спиртом и марганцовкой. Он долго стонал. Потом я ушел. Сегодня он сказал, что уснул после трёх таблеток снотворного. Так что я несу одни увечья. Будь здоров! Благо, я далеко, и потому у тебя есть шанс.
3.04.1983 г.

Здравствуй, Рябиков!

Пришел с охоты, не устал, зол, пишу. Жена дремлет. В природе установилась ясная, морозная погода. То, что таяло, замерзло. Вчера птицы летели на север, сегодня летят на юг. Повезли свои яйца обратно к берегам Нила и Ганга. Их отчаянное поведение мне понятно. Вить гнезда в сугробах могут только эскимосы. Сегодня был на охоте в пятый раз. Результаты плачевны. Первая охота (открытие) – шесть по пол-литра на четверых. Вторая охота – два выстрела на дистанцию средней дальности (для крылатых ракет). Третья охота – один гусь. Четвёртая – ни одного выстрела. Пятая – один выстрел через плечо по эскадрилье гусей, следовавших на высоте Френсиса Пауэрса. Поскольку днём я на работе, охотиться приходится ночью. Это значит: морозящий дождь, переходящий в снежную крупу, с последующим похолоданием до минус пяти. И так – каждую ночь. На календаре – 4 июня. Хочется вслед за Пугачевой петь «Лето, ах, лето...» и натирать щеки снегом, чтобы шибче приставал загар. В отличие от тебя, у меня есть резиновая лодка. Еженочно переплываю на ней одну растаявшую далеко за поселком канаву и волочу за собой к полурастаявшему болоту. Речки подо льдом, Обская губа тоже. Рыбы нет. Жду июля – может, хоть тогда начнется весна. Жена взбеленилась, бросается подушками и тапками. Наверное, сказывается нехватка витаминов. Андрей, к счастью, не представляет, что где-то уже наступило лето.
До свидания.
4.06.1983 г.

Привет из солнечного Кутопьюгана!

О том, как мы хорошо живём, можно было бы прочитать в разделе уголовной хроники, если бы её публиковали:
19 сентября. Одна дама, будучи в пьяном виде, задавила грудью собственного месячного ребёнка. Насмерть. В тот же день один парень засыпан обрушившимся с крутого берега песком. Насмерть.
30 сентября. Ненецкий мужик повесился. Насмерть. В тот же день загорелись баки с соляжкой у кочегарки. Тушил весь поселок.
7 октября. Русский мужик поехал стрелять на губе турпанов. Весла забыл дома, а мотор сломался. Будучи выпивши, охотник закемарил и замерз на дальней стороне зерла в собственной лодке. Насмерть.

В настоящее время у нас бесснежная зима: минус двенадцать. Речка застыла, губа тоже кроется льдом.

Весь сентябрь-октябрь меня «давит» парторг. Дело в том, что я как историк веду при сельсовете что-то вроде «школы научного коммунизма». Точнее говоря – провожу политинформации про всякие Чили и Никарагуа. Людям нравится, что делаю это без бумажки, для них без бумажки – экзотика. А в Тюмени грядут курсы для таких, как я. Можно было бы между делом и в Омск смотаться. Но меня грозят не пустить в командировку, если не вступлю в КПСС. Сегодня вызывают на партбюро. Будут вербовать.

Моя лодка осталась на зиму в восьмидесяти километрах от Кутопа вмерзшей на реке в лёд.

Урок рисования, где я – учитель, заканчивается.

Общий привет.

10.10.1984 г.

Привет из лесотундры!

Сначала главные новости.

У нас – зима.

Я купил ботинки, построил нашему псу будку и трижды съездил на подледный лов. Жена все время спит и, проснувшись, дрожит, якобы от холода. Придется и ей что-нибудь строить.

В школе продолжается осенняя лихорадка, послезавтра должна приехать комиссия. Директриса посетила уже пять моих уроков и три мероприятия. По всем приметам – к разносу.

Бухгалтерия явно недоплатила мне тридцатник.

Вызывали на партбюро, вербовали в члены. Неудобно было и мне, и им.

Думаю, что больше не позовут.

В январе, вероятно, поеду с нашими туземцами в Севастополь.

Возможно, на каникулах будет интересная охота, только бы работал Гришин «Буран».

Всё. Чего молчишь? Как твоя дочь? Как твоя жена? Кого видел?

Пока!

29.10.1984 г.

ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

Ах, Тобольск – ренессанс моих глаз!

Шелест мая иль снег новогодний

Одинаково чудны сегодня,

Когда физичи ваши анфас.

Из давнего

Помню, как много лет назад оказался в редакции одной северной газеты: компьютеры, компьютеры, компьютеры и возле кипы собственного тиража – американский журнал «Cosmopolitan».

– Дайте посмотреть, в руках ни разу не держал.

– Да ну! Откуда вы такой приехали?

– Из Тобольска.

– Ну, как же, как же? Тобольск – это круто: отель «Славянская», цивилизность...

Про себя подумал: «Славянская», конечно, – цивилизность. Но, кроме неё, в городе столько всего...

Многие северяне летом на своих машинах пролетают мимо бывшего губернского центра и, как правило, даже купола кремля видят только издали. А между тем...».

Вспоминаю детали биографии.

* * *

Покинув тундру, переехал в бывший столичный град Сибири.

В первые месяцы и даже годы, направляясь пешком на работу, не мог оторвать взгляда от нависавшего надо мной на крутосклонной Алафеевой горе белокаменного красавца кремля. Магическая картина. Особенно по утрам.

Обалдел и от другого. О таких вечеринках я и не догадывался. Музыка, дамы, веселье плещет, дым коромыслом, половина вдрызг пьяна, а пошлости – ни грамма. Глупости если и есть, то это на самом деле – милая игра. Смесь средневековых Сорбонны и Тюильри, ваганты с мушкетёрами. И во второй, и в третий, и в десятый раз. Потом осмотрелся. Оказалось, что просто привели меня в уникальную компанию.

Со временем круг расширился. Среди знакомых появились новые субъекты:

Форвард, Кыча, Патрон, дядя Митя. И новые объекты: гастроном «Огонёк», пивзавод, Заабрамка. Вместо «куда» и «где» мне задают вопрос: «Покуда?».

Отвечаю, как положено, по-местному: «Посюда».

* * *

В начале прошлого столетия некоторые острые на язык журналисты называли Тобольск деревянным городом. Газета «Сибирский листок» писала:

«Деревянные дома, деревянные мостовые, деревянные люди». Злобно, злобно...

Спустя полвека приехали комсомольцы, коллективизированная деревня тобольской округи дыхла люмпен-пролетариатом, и под рокот бульдозеров был возведён нефтехимический комбинат. На горизонте замаячили трубы – краса и гордость новой сибирской индустрии. А вместе с тем, съедая берёзовые рощи и осинники, расползлись серые громады микрорайонов. Без названий, с безликими, как цемент, номерами: четвёртый, шестой, седьмой.

* * *

– Девушка, скажите, зачем вы билетики надрываете? – вопрошаю в автобусе кондукторшу, обменявшую пять рублей на микроскопический и немедленно покалеченный ею проездной документ.

– Чтобы никто не перепродал.

Мне не доводилось слышать, чтобы кто-то, когда-то и где-то перепродавал билетик. Бывало, выходящий бесплатно передавал его входящему, бывало, съедал, коли попадался счастливый. Но коммерцией заниматься... Да и при чём здесь надрыв, чему он может помешать?

– А, что, надорванный труднее перепродать, чем целый?

– Не знаю. Начальство так инструктировало.

Вопрос мой назревал долгие годы. Как только я оказывался в тобольском автобусе, вопрос этот среди всех проблем мироздания вставал на первое место. Наконец-то я спросил и получил ответ. Впрочем, ответ ничего для меня не прояснил.

Вот так бывает: тебе объяснят, а ты не поймёшь ничего, кроме того, что понять этого не сможешь никогда. То ли явление абсурдно, то ли голова твоя.

* * *

Впрочем, что касается тобольского автопредприятия, то надрыв билетиков – ещё не самая продуманная мера. Помню, много лет назад, во времена сплошной приватизации, явились мы с коллегой к одному из больших автотранспортных предприятий договориться о размещении рекламы в салоне автобуса.

– Мы категорически против, – сказал начальник.

– Почему? – удивились мы. – Это же на договорной основе и за такие деньги, какие вы запросите.

– Не в деньгах дело, – сурово отрезал босс.

– А в чём?

– Наш коллектив убеждён, что пассажира во время движения ничто не должно отвлекать!

Из кабинета мы вышли в состоянии культурного шока. В тишине июньского утра было слышно, как у проходной пассажирского автотранспортного предприятия обессилено скрёбся непущаемый на его территорию капитализм.

* * *

Жизнь подбрасывает то, что нарочно не придумаешь.

Проспект Менделеева. С приятелем в кафе. Фея подноса.

– Слушаю вас.

– Нам вот это.

– Этого нет.

– Тогда это.

– Этого тоже нет.

– А что есть?

– Борщ.

– Ладно. Два борща.

– Хлеб нужен.

– Да.

– Сколько?

– Ну... два.

– Записала. А ложки заказывать будете?

* * *

У всякого города свой шарм. Например, в приполярном Надыме уличные киоски даже при минус пятьдесят смотрят на покупателей табличками «Пиво и напитки подаются охлаждёнными». И, действительно, именно такими подаются.

Впрочем, это нормально при любой погоде. В противовес замечанию Джорджа Блейка, агента КГБ, бежавшего из английской тюрьмы в социалистическую Москву: «Насколько мне известно, Россия – единственная страна в мире, где суп подаётся холодным, а кока-кола тёплой».

А шарм Тобольска, конечно, не в билетиках и начальниках. Помнятся строки вятского барда Александра Охлопова, посетившего как-то Тобольск и написавшего после, по свежим впечатлениям:

Здравствуйте, тоболяки!

С добрым утром, земляки!

Вот вам две мои руки,

Вы мне поныне любы:

Ваши добрые дела,

Ваши крепкие тела,

Золотые купола

И золотые зубы.

Есть строчка и в другой, старинной блатной, песне: «Парень в кепи и зуб золотой...».

Так вот, если на голове – кепи чёрной кожи, на деланной сутулости плеч – такая же кожаная куртка, а ниже пояса – спортивное трико с лампасами, то это и есть настоящий тоболяк от пятнадцати до тридцати пяти. Взгляд исподлобья. Суровость. Короче говоря – «нормальный, в натуре, пацан». В грязь на нём ещё и литые резиновые сапоги по колено, потому что он – «мужчина спортивного типа». Отчаянно-прогрессивная особь «с понятиями», которая способна на многое. Например, может закурить в том же автобусе. Не верите? В смутные времена перемены строя государственного я был тому свидетелем трижды. Однажды пришлось даже подраться. Курильщик не внимал моим увещаниям в переполненном транспорте.

Так что золотые купола и золотые зубы – это точно. Священники, художники, музейщики и шпана – фирменные компоненты тобольского общества.

* * *

Из тех же смутных времён девяностых годов... Очередь у железного киоска. Все они в городе типовые, построенные с расчётом, чтоб их было не взять ни кувалдой, ни танком. Крохотное окошко – на уровне причинного места. Каждый раз клиент вынужден переламываться пополам, оттопыривая корму. В итоге получается: одному заду – сигареты, другому заду – «чупа-чупс», третьему – водку.

– Братан, подожди, сейчас я!

Новоявленному «родственнику», пытающемуся оттереть меня плечом, от силы двадцать, мне – сорок один.

– Нет, парень, занимай очередь!

– Да ты чё, в натуре?

– В натуре, я ничё, иди и стой в очереди.

«Родственник» безгранично удивлён моей смелостью, хотя я крупнее его в полтора раза и в два раза старше. «Нарисовываются» ещё двое корешей претендента на внеочередное торговое обслуживание. Из той же золотой роты, квалифицируемой словосочетанием «сопли пузырями, пальцы веером». Тот же незамысловатый вопрос в мой адрес, только теперь шипящим хором: «Да ты чё, в натуре?».

Продолжать разговор у меня нет никакого желания, я сегодня сдержан, ибо трезв, как стекло. Беру сигареты, получаю сдачу и иду вдоль дороги. Через сотню метров меня догоняет легковушка, водитель открывает дверь:

– Садись скорее!

– Я тебя не знаю.

– Садись скорее, говорю!

Сажусь, едем. Водитель поясняет:

– Я стоял рядом, всё видел и слышал. Когда ты отошёл от киоска, эти орлы подобрали здоровенную палку и пошли тебя догонять. Я на машине подъехал раньше. Тебе, кстати, куда?

– Уже приехали. Спасибо!

– Будь осторожен!

Наблюдаю удаляющийся BMW. Надо же, дорогой автомобиль, состоятельный человек...

* * *

Зима. Ночь. Непроглядная темень. Пара шагов от моего подъезда. Провожая друга. Подходят двое: «Дай денег!» – «Не дам!». Цепляют за грудки. Куда деваться?

Бью в морду. Бьют мне. Друг дубасится со вторым. Через пять минут «корсары» ретируются. У меня бланш и затруднительные перспективы последующей работы: в таком виде студентам лекции не почитаешь. «Ах, Тобольск – ренессанс моих глаз...». Друг хохочет: дело житейское и для нас обычное. Его самого, как и всех прочих, цепляли много раз.

Обидно, что в темноте лиц «гопстопников» было не разглядеть. С вожделием искал бы их всю оставшуюся жизнь, а особенно первые десять дней после встречи, когда выходил в город только поздно вечером и в чёрных очках.

Тобольск исторически – приют кандалников и ссыльных. На местном кладбище – могилы декабристов. Но времена дворянских революционеров давно миновали, а традиция продолжилась. Еще недавно на стотысячный городок имелись тюрьма, следственный изолятор, колония для несовершеннолетних, колония для взрослых. Такая «культурная нагрузка» не могла не сказаться. Когда где-нибудь утверждают: «В нашем городе тяжёлая криминальная обстановка», – мне смешно. Советую пару суток провести в Тобольске, сходить к ларьку за сигаретами или прогуляться ночью от седьмого микрорайона до Подгоры. В конце концов, поздно вечером в общественном транспорте проехать.

* * *

Тобольск любят художники. Они едут сюда со всей Сибири и вдохновенно малюют местные пейзажи, храмы, дворики и покосившиеся, почерневшие от времени деревянные особняки. Но Тобольск и сам – город художников. Хороших и разных. На все руки. Косторез Минсалим Тимергазиев даже плакат придумал и выставил на площади: «Тобольск – город мастеров». В самом деле, тут и живопись, и графика, и та же резьба по кости. Творческих людей, то бишь богемы, навалом.

Встретились однажды два живописца в мансарде над пятым этажом. Художественная мастерская. Повсюду – наброски, эскизы, картины в рамах и без рам. Краски, кисти, пыль, лампочка без плафона. Засохшие остатки консервов. Замызганный стакан.

Через сутки один художник, взгромоздившись на подоконник, говорит:

– Паша, я тебя так уважаю и люблю, что готов вниз прыгнуть.

– Да иди ты, Саша...

В проёме открытого окна стало пусто, только синева зимнего вечера. Далеко внизу на заснеженном фоне чернело недвижимое тело. Любимый Паша бросился стремглав по тёмной лестнице, но перед входной дверью с криком рухнул: открытый перелом ноги. Отвезли на «скорой».

В больнице Паша плакал от боли и жалости к погибшему Саше. Проклинал себя. Даже на похороны он не мог попасть, нога была на растяжке. Врачи Пашу не понимали.

Прыгун минут десять лежал без сознания. Очухался. Болит вся спина. Ничего не помнит. Встал и облепленный снегом пошёл домой. От неминуемой гибели его спас глубокий рыхлый сугроб. Из увечий приключились только две ссадины и опухший локоть.

Через пару дней Саша узнал, что Паша в травматологии, и пришёл навестить друга. К обезноженности последнего добавилось онемение.

* * *

Как-то около полуночи я оказался в фотолаборатории Женьки Буйнова. Евгений Александрович в тот момент допивал с товарищами шестую, и вечер для мужчин явно заканчивался. Например, Коля, сильно похожий на Доктора из «Джентльменов удачи», раскованно храпел тут же, на многострадальном диване. Он обогнал всех.

– Слушай, Вадим, ты же писатель? – покачивая нетвердо сидящим телом, спросил Женя.

– К чему это ты?

– Пошли в казино! Ты был в казино?

– Не был и не хочу.

– Тебе нужно побывать в казино. Ты же – писатель.

– Отстань.

– Не отстану. Пошли!

– Таких нас не пустят.

– Пустят.

В трико и кроссовках Женьку в казино не пустили. По чёрным улицам мы поехали ко мне домой, где облачили игрока в туфли и брюки сына. Вернулись. Прошли. В зале было пустынно и тихо. Кажется, едва-едва играла музыка. Кроме дилеров и охранников, присутствовало двое-трое. – Ещё? – спрашивал дилер. И Буйнов кивал головой, беря очередную карту. Игра пёрла. Через двадцать минут у Женьки была гора жетонов. Прямо на зелёном сукне нашего игрового стола между делом появляется водка и сырая стерлядь.

«Лас-Вегас», – отмечаю про себя.

Мне известно, что Женька везуч и его личное сальдо в игре с заведением положительно. А вот как именно это делается моим пьяным другом, я вижу впервые.

Над Буйновым встаёт мужчина.

– Слушай! Дай немного фишек, я всё продул, а поиграть охота. Пожалуйста...

Буйнов равнодушно, снизу вверх:

– Бери!

Возбуждённый игрок отлетает к рулетке, ставит, выигрывает три раза подряд, радостно возвращает Буйнову долг. У того тоже горка фишек растёт.

Через каждые пятнадцать минут мы пропускаем по рюмочке. Поскольку я не играю, то наибольший интерес у меня вызывает закуска.

За столом с Женькой сидит какой-то кореец, как выяснится потом – богатый предприниматель из Тюмени. Он немного трезвее Женьки, но карта идёт не очень. Оттого кореец зол и импульсивен. Казино довольно давно должно ему большую сумму. Сейчас на нём, уже неделю проживающем тут же, в отеле, – тапочки и трико. Но ему так можно. Потому как упомянутая сумма – весьма и весьма. В результате мальчики и девочки в фирменных «белый верх, черный низ» костюмчиках идеально учтивы и предупредительны. А вот один охранник сплоховал, сплоховал...

В ответ на вежливый отказ со стороны этого секьюрити что-то сделать кореец срывается и трескает одного по физиономии. Безопасность, не вдаваясь в подробности, быстро уходит, закрывая ладошкой разбитую носопатку.

Я, конечно, удивлён.

В зале по-прежнему элегантная тишина.

Тем временем Буйнов косеет всё больше. Дилеру приходится повторять вопрос по два раза, дожидаясь, пока Женька откроет свои в дым соловые глаза. Тем не менее, опять выигрыш.

Говорить Женя уже не может. Поэтому он приглашает меня на очередную рюмочку слабым жестом.

Вздыхаю.

Пью.

Теперь Женька не только не смотрит, не слышит дилера, но и не держит голову. Она безжизненно упала на грудь.

Разменивая фишки, сую деньги в буйновский карман и выволакиваю товарища в холл.

В холле товарищ внезапно оживает и даже приобретает способность почти говорить. По его настоянию мы плетёмся в номер к корейцу, откуда я через сорок минут сбегаю домой.

Утро. Спать пора.

Женька выходит из гостиницы лишь через трое суток.

* * *

Один бывший тоболяк – интеллектуал, вырвавшийся из запоев и бежавший на Север, – сказал по поводу сибирской экс-столицы горячо: «Это – чёрная дыра. Там все круги – замкнутые». Другой бывший, живущий ныне далее первого, изрёк не менее категорично: «Тобольск – такой замечательный город, что, как только ты там родился, нужно немедленно уезжать». Но так не думают тоболяки коренные, кондовые. Они – патриоты. Они делят людей на два сорта: своих и приезжих. Это, между прочим, крайне важный фактор в местной карьере, каким раньше было членство в партии.

* * *

По улице Ремезова катим в сторону кремля. Справа, на столбе – рекламный щит: «ИЧП «Скорбь». Оградки. Памятники».

И чуть ниже совсем завлекательное: «Сезонные скидки».

* * *

Ко всему привыкаешь. Или почти привыкаешь. Со временем почти не видишь и почти не помнишь плохого. Почти не замечаешь погоды. Даже смен времён года почти не замечаешь. Всё – «почти», кроме данной минуты.

Лучшее место в Тобольске – на крутом яру у Шведской палаты, под Домом наместника. Здесь – высота птичьего полёта, безотчётный восторг. В конце мая – июне белыми ночами заливаются соловьи, получая отклики с громадного пространства излучины Иртыша. Далеко-далеко внизу – кудряшки зелени. Белеют храмы. Всё такое игрушечное.

Справа поодаль находился рыбный рынок. Когда-то воз язей стоил на нём пятак, а стерлядь ежедневно завозилась десятками пудов. Изобильный был город. Сейчас от рынка осталась только площадь.

Слева, у Никольского взвоза, – польский костёл, правее – институт, исторический факультет, где я отработал много лет. Через дорогу от него – корпус бывшей мужской гимназии, где директорствовал отец того самого Менделеева, учился и преподавал тот самый Ершов, посещал классы будущий композитор Алябьев, тоже – тот самый.

Сегодня в этом здании – кожно-венерологический диспансер. Времена, увы, меняются...

Дальше, за речкой Курдюмкой, – бывшая резиденция губернатора, официально названная в 1917 году Домом свободы. Вскоре после присвоения особняку громкого имени сюда доставили и на восемь месяцев посадили в заключение семью Николая II, последнего российского императора. В садике при доме гуляли царевны, пилил дрова и чистил снег сам Николай, шалил под надзором

мамы Александры цесаревич Алексей. Отсюда слякотным апрелем их отвезли в Екатеринбург и убили.

Напротив бывшей губернаторской резиденции полтора десятка лет стоял сложенный из силикатного кирпича кинотеатр «Союз». Летом 1991 года он рухнул. За полчаса до этого зрители вышли с вечернего сеанса.

Далеко-далеко, почти на берегу, пустует продуваемая ветрами стрельчатая Крестовоздвиженская церковь-красавица. Рядом с ней горбатится металлический ангар с намалёванными метровыми буквами «Слава КПСС!»
Осенний вечерок. Безветрие. Опускающееся за Иртышом солнышко едва просвечивает дымку бесчисленных костров подгорной части. Сладкий запах горелой палой листвы. Дрожит огоньком паром, неспешно пересекающий сумеречную водную гладь. В последних лучах царственно поблескивает позолотой Софийского собора кремль. Он – навечно господин и символ древнего города.

Под тополями тихохонько-чинно прогуливаются семинаристы с девочками. На семинаристах – строгие френчи с медными пуговицами, на девочках – платочки. Очень скромно, очень мило. Прямо, девятнадцатый век.

В декабре мороз плотно одевает белым, мохнатым куржаком липы перед Гостиным двором, студентки, прикрывая носы варежками, спешат по Прямскому взвозу в пединститут. У Покровской церкви, истово крестясь, небритый бич просит подаяния, а голуби, дёргано кланяясь головками, кланчат у вас семечки. Это – тоже Тобольск.

Древняя сибирская столица.

Чёрная дыра.

Остановившееся время.

Единственный и неповторимый.

* * *

Едем из тундры на юг. Пошли третьи сутки. Авто проносится мимо бетонной стелы с гербом Тобольска. Потом – поля, дачи, бензозаправка. Перекрёсток. У самой обочины дама в парике и юбке-мини одиноко сучает, провожая взглядом дальнобойные КамАЗы.

Ещё несколько километров, и вот он – мост через Иртыш. Лента асфальта плавными извивами тянется к Тюмени. Смотрим направо. На горизонте – кремль.

Опять мы проехали мимо.

С РУЖЬЁМ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

*Там, где терпких названий пленительный вкус,
Там, где запахи льда и пустой горизонт,
Где сменяют друг друга туманы и гнус,
Где надежду скрывает реки поворот...*
Александр Соколову

В далёком семьдесят девятом мне впервые довелось попасть на серьёзный маршрут, коим порою приходится скитаться историкам по западносибирскому Северу. С тех пор чего только не было.

В обыденном представлении исследователь минувших времён – человек кабинетный. Ещё всем известно, что он может заниматься археологическими раскопками. А вот о том, что историкам случается ходить в пешие и водные экспедиции, знают немногие.

Между тем, археологические разведки, этнографические и краеведческие маршруты чаще всего составляют главную романтику профессии. Правда, для реализации этой романтики, как правило, необходимы приличное здоровье и любовь к природе, готовность ко всем её неожиданностям.

На маршруте исследователь становится в какой-то степени одновременно туристом, рыболовом и охотником. Но трудности или радости, связанные с первым, вторым и третьим, не должны затмевать главной задачи – профессиональной. Поэтому, любя палатку, костёр, ружьё, удочку и тому подобное, полевик относится к ним почти как к баловству. Но...

Разные бывают случаи, которые потом становятся легендами истории исследований. Пусть о них практически не пишут. Но говорят в узких кругах об этом довольно много и с удовольствием. Потому что любые приключения всегда интересны.

Люди же, от рождения живущие в высоких широтах и при этом вольно или невольно, но тесно связанные с природой, не придают особого значения ни происшествиям, связанным с трудностями и опасностями северного быта, ни деталям, сопровождающим его. И если говорят об этом, то скупно, неумело. Наверное, потому, что лишены взгляда со стороны. Всё для них обычно. Ведь они сами – часть этих высоких широт. Впрочем, обо всём этом речь ниже.

МЕДВЕДЬ НА ШПАЛАХ

Десять лет прошло, как я перестал бродить по выстроенной после войны и вскоре заброшенной железной дороге. Строили её в 1947–1953 годах заключенные, а потому вдоль трассы через каждые пять-десять километров – лагеря. Опустевшие после смерти «вождя народов» они помаленьку гнили, рушились, зарастали лесом. Во время горбачевской перестройки сюда, в модное для прессы «белое пятно», ринулись наши и зарубежные журналисты, чтобы разоблачить прежнюю, тоталитарную систему как следует. Разоблачили.

Мне с товарищами по тобольскому истфаку, где я тогда работал, тоже удалось неоднократно потоптаться по шпалам «сталинки». Хотели составить собственное представление об этом историческом сюжете. Но сейчас речь не об эпохе тоталитаризма. О другом.

Никак не могу уловить собственное настроение по поводу того, что осталось в памяти. Исследовали лагеря, искали кладбища, а в душе остался уют августовских вечеров за их пределами. Мошка и безветрие, навечно замершие семафоры, закатное солнце, разрушенные мосты. В общем, ерунда какая-то. Хорошо, что никто из нас тогда не свернул себе шею. Ну, а теперь непосредственно о...

Вторая половина августа. Студент Сурин, научный сотрудник Соколков и я – на трассе покинутой почти сорок лет назад «железки». Вчера нас завёз сюда попутный вертолёт. Погода – класс. Места – чудные. Под синими небесами то лес, то тундра, то болото. Петляют речки. В речках – чебаки с язями, щуки крокодильего размера. Время от времени перед нами,двигающимися к Надыму, взлетают с насыпи глухари. Пospела голубика, её – прямо прорва. Серега Сурин – парень довольно длинный, то бишь – высокий. И ноги у него соответственно длинные. А Саня Соколков – на голову ниже меня и Сурина. Поэтому идти за нами ему трудно, очень резво приходится перебирать нижними конечностями.

Мы с Суриным просто широко шагаем, а товарищ практически бежит. Причем, не жалуется, ибо полевик он испытанный. Рюкзаки у нас примерно одинаковые, но на Соколкове рюкзак выглядит как гора. Если смотреть сзади, то видно лишь санины ноги, да и то не полностью. Мелькают белые кроссовки, и можно только догадываться, что молодая, но уже лысая, близоруко щурящаяся голова все еще прячется где-то там, за необъятным брезентовым «сидором».

Практически каждый лагерь со шпал видно, или угадываются приметы его близости. Тогда мы сбрасываем поклажу и входим в лес, где среди низкорослых березок и лиственниц наталкиваемся на колючую проволоку, вышки, бараки. А пока ничего не видно – марш. Через каждые два километра – перекур.

В отличие от товарищей я уже бывал в здешних местах. За год до этого мы топали с Лёшкой Нескоровым километров сто западнее. Поэтому местная барачная экзотика успела превратиться для меня в нечто большее. Помню, через несколько дней срифмовалось:

Шаги по мху, как время, не слышны.

Ни шороха, ни треска сучьев.

Я в бывший лагерь у разъезда Щучий

Направлюсь под конвоем тишины.

Там в стены впитаны слова

«Снегоборьба», «лесоповал».

Там, где морошка и мошка,

Взгляд часового вполсмешка

Над чёрной дырочкой ствола.

Мы тихо бродили с товарищем по лагерям, гладили рукою замшелые брёвна, дышали сыростью забытых бараков. Взгляд вытаскивал из тёмных углов то брошенный десятки лет назад валенок, то кайло, то рукавицу. Не очень-то хотелось говорить. В умах было какое-то оцепенение:

*Шаги по мху, как время, не поймать,
Как не узнать, когда ж мы будем лучше...*

И я начну за ржавую «колючкой»

Рассеянно морошку собирать.

Так было. И вот – новые свидания с мрачным прошлым.

Впрочем, приятного, всё равно, сейчас больше, чем тягостных впечатлений.

Даже то, что на плечах – весомый рюкзак, пока доставляет удовольствие.

Специфический мазохизм бродяжничества...

Уже вечерело, когда Серега Сурин, выдохнув дым и вытянув шею, напряженно повел взглядом по густеющим теням окрестной растительности. Его сигарета замерла, слабо коптя в полусогнутой руке. «Чего ты?» – спросил Саня.

«Мужики, медведь!» – сказал шепотом и не шевелясь Сурин. Мы огляделись.

В тишине слабо гудели редкие комарики, скромно стоял километровый столбик с цифрой «205», тихое и доброе солнышко собиралось скрыться за верхушками редколесья. Больше – ничего.

«У тебя, Серега, медвежий синдром», – лениво высказался Соколков.

«Я сказал – медведь! – последовал вновь настойчивый шепот, – Пойдемте, мужики!».

Никакого медведя не было ни видно, ни слышно. Но одновременно нам было известно, что приводов к психиатру у Сереги до сих пор не случилось. А двигаться по маршруту все равно надо. Навьючились и впредь. Я на всякий случай загнал в стволы своего двенадцатого калибра пули.

Топали молча. Не знаю, о чём думал студент, а вот мы с Соколковым даже и не знали, о чем думать. Впрочем, иногда оглядывались.

Через пару вёрст опять остановились, сбросив поклажу и растирая натруженные плечи. «По тебе, Серега, дурдом плачет», – сказал я, пытаюсь продолжить тему. Соколков поддержал меня хихиканьем и шлёпнул Сурина по спине. Закурили. Объект насмешек рассеянно затягивался, блуждая взглядом слева от дороги. На наш юмор ему было явно наплевать.

За несколько месяцев до этого, в конце мая, студент был в краткосрочной археологической экспедиции под Тобольском. Группа забралась куда-то за несколько километров от небольшой деревеньки и чего-то копала. Вечером, после работы и ужина сидели у костра и играли в карты. Откуда-то издали донесся едва различимый звук заводимого мотоцикла. «Странно, – подумали все, – кому понадобилось ехать в эту лесную глушь? Ведь дорога-то едва проходима для вездехода».

Через некоторое время «мотоцикл» заревел ближе. Узнав теперь голос «хозяина тайги», народ кинулся к речке. Ледяная весенняя вода заставила отказаться от переправы на противоположный берег. Юноши и девушки рефлекторно забрались в палатки. Из оружия имелись нож и топор.

Минут через двадцать рычание доносилось уже с края поляны, где был разбит лагерь. Оцепеневшие археологи превратились в сгустки нервов, ибо больше им ничего не оставалось. Стенки палаток были глупой и безнадёжной защитой. То есть, конечно, не были ею вовсе. Обострившийся до невероятности слух ловил все шорохи.

Коротко говоря, через пару часов, когда пришельцы в лице медведицы с медвежонком, наследив у погасшего костра, удалились в неизвестность, Серёга Сурин выглянул. Ему очень хотелось по малой нужде, а присутствие дамы-археологини никак не позволяло сделать дело прямо в палатке.

Утром группа покинула раскоп, поляну и вообще ту местность. Иметь дело с медведями не хотел никто.

Так что на наш юмор Серёге было наплевать. На его жилистой шее встревожено торчал кадык. Нос вытянулся. Соответственно ситуации и Соколков начал шуриться, вглядываясь в ближние и дальние поросли. Я непроизвольно нащупал предохранитель. Молчим. Курим. Нарастает дурацкое напряжение.

«Вот он!». Серёгин палец указал на место, где лежневка, тянувшаяся параллельно земельному полотну, не отгораживалась от дороги деревьями. Светило уже присело за верхушки, и всё, кроме двойной нити рельс на возвышении насыпи, было в тени. Там, метрах в пятидесяти-шестидесяти, темнело нечто неразборчивое. Казалось, что это какой-то низкорослый куст. Мы замерли, не мигая. Нарождавшийся туман начинал покрывать низинку нежелательной вуалью. От напряжения слегка занули глаза. Стоим...

«Да ладно!» – прервал паузу и без того замученный близорукостью Соколков и, как Цезарь у Рубикона, сделал шаг в сторону «куста». Но вдруг... невнятный доселе «куст» приподнял и повернул голову, явственно обнаружив два уха.

Адреналин долбанул так, что свет померк.

Оцепенение закончилось. В секунду рюкзаки оказались на плечах. Это была не ходьба, это был не бег. Это был прыжок!

Поскольку мы с Суриным рванули «очень даже» быстрее, то Саня вообще бежал. По своей близорукости он запинался в густеющей темноте о голубичные кустики и тихо бормотал, придавливаемый в падениях своим громадным рюкзаком. Думать о стрельбе по «крупной мишени» позади нас я категорически не хотел, потому как много наслушался историй от охотников-профессионалов. Только через километр-другой, на ходу, мы приняли решение где-нибудь остановиться. Но, во-первых, хотя бы в радиусе тридцати метров та местность должна быть открытой, и, во-вторых, нужна какая-то вода, чтобы наполнить чайник. Ничего подобного не встречалось. Марш продолжался.

В краю бесконечных озёр и рек мы не вовремя угадали на участок, где не было видно ни единой лужи. По иронии судьбы нам пришлось без остановки отмахать, как выяснилось потом, двенадцать километров.

Встали обессиленные, когда уже вовсе стемнело. Слева уходил в ночь участок открытой, кочковатой тундры. Справа, за руслом бывшего ручья, чернели под луной силуэты редких елочек.

Разожгли костёр. Начали раскатывать спальники. Я набрался мужества и решил по высохшему ложу добраться все-таки с чайником до воды. Очень хотелось пить. Оставил ружьё товарищам и двинулся, пытаюсь угадывать препятствия, чтоб не спотыкаться. Шел медленно и осторожно, наклонив голову. Луна была за крутым холмом. А здесь – тьма тьмушая.

Русло обогнуло холм, и под открытым лунным светом двигаться стало гораздо проще. Я ускорил шаг. Похрустывал песок и мелкие сухие веточки.

О, Господи! От живота до затылка пробрала мгновенная ледяная дрожь.

Вязаная шапочка поднялась вместе со вздыбившейся шевелюрой. На плотном белом песке красовались свежайшие следы, направленные туда же, куда сейчас шел я.

Это что же, я с чайником гонюсь за медведем?! Резкие отпечатки не только пяток, но и когтей, говорили, что «хозяин» проследовал только что. Он, видимо, решил обойти нас и двинулся дальше.

Не дыша, я развернулся и двинулся, ускоряясь, обратно. Опять в тень от холма.

Опять нагнувшись, пытаюсь увидеть то, что под ногами. При этом они сами скорее предполагались, чем различались. А в голове свербело одно: хоть бы за спиной никого не было, хоть бы не было!..

Подняв глаза перед подъёмом к костру, вздрогнул ещё раз. Чёрный силуэт Соколкова на фоне ночного неба какого-то дьявола молчаливо торчал надо мной, у обрыва, метрах в сорока от бивуака. Шура, оказывается, отошел от костра и ждал.

Скверные мои ругательства огласили тихую ночь. И медведь, и Соколков, и темнота, и сухое русло были смешаны в одну кучу, покрыты многослойно и категорично.

Спать легли без чая.

Утром, приняв на нервы бальзам солнышка и подшучивая, сфотографировали следы любопытного сопровождавшего. А ещё через двести метров обнаружили, что железная дорога пересекает довольно крупную речку.

Перейдя мост, мы психологически оставили медведя в прошлом. Вздохнули с облегчением. И над Суриным больше не смеялись.

МАРШРУТ НА ДВОИХ

*Мне переходы, наши переходы,
Наверное, забудутся, как сон...
В полях ледовых талые проходы.
Гусиных криков заповедный звон.
Безлюдной этой тундры бесконечность.
Озёр Нейтинских синее стекло,
Чьи берега холодные, как вечность,
Навеки вечным снегом занесло.*

Какие-то пять километров

«Я помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт, в холодные, мрачные трюмы...».
Головнёв упорно, безостановочно шурует впереди, обвешанный, как мул, с
верху до низу. Молчит. О чём-то думает? Недоволен, что ли?
«Будь проклята ты, Колыма, что прозвана Чёрной планетой!
Сойдёшь поневоле с ума, обратно возврата уж нету...».
Это я уже себе под нос. Нет дыхания, чтоб петь. Больше кряхтишь. Лямки
рюкзака режут плечи. Поверх него – спальник. Поверх спальника, подгибая
шею, давит на затылок чехол с резиновой лодкой. Он – почти на голове. Как,
чёрт возьми, неудобно! Нужно держать, чтоб не свалилось. Рука затекает, ноет.
На груди болтается ружье.
Жарко. Чавк-чавк. Под сапогами – верховое болото. Мерзлота в этих широтах
не даёт воде впитаться в грунт, и мы пересекаем что-то вроде рисового поля.
Только вместо риса – пушица и вокруг не Китай, а ямальская тундра. Чёртова
болотина! Чавк-чавк... А идти ещё пару вёрст. Там-то уже озеро.
«Пятьсот километров тайга,
Где нет ни дорог, ни селений.
Машины не ходят туда,
Бредут, спотыкаясь, олени...».
Это у меня в голове, а сам-то я только дышу со свистом. Пора, пора бы и
отдохнуть. Чего он прёт, как лось?
– Андрей!!!
Останавливается. Сбрасывает со своей шеи мешок с палаткой. Ставит на кочку.
Поднимает серые глаза:
– Давай, покурим?
– Давай!
Фу-у! Хоть плечи размять...

Полтора часа назад мы были ещё в Мысе Каменном, а утром – вообще на юге –
в Яр-Сале. В пустом домишке «аэровокзала» взвешивали свою поклажу. По
шестьдесят кило на брата получилось. Да в Каменном ещё купили соль, хлеб,
сигареты. Затарились больше нормы. Сейчас «отрыгивается», ведь вьючных
ослов у нас нет. Сами, всё сами.
Вообще, Головнёв, мягко говоря, не сильно беспокоится о сытости и
безопасности. За полчаса до отлёта мы ещё бегали по посёлку, разыскивая
спички, хлеб, соль. Карту перерисовали на кальку с пилотской
пятикилометровки, когда уже подлетали к месту. С таким «пособием» нужно
суметь не заблудиться. Деревень тут нет – не саратовские края. Хоть бы
стойбище какое встретить...

– Подбрось!

Подбрасываю товарищу мешок поверх рюкзака. Пошли. Манит далёкая озёрная гладь, она прекрасна и желанна. Дойдём – накачаем лодку, погрузим в неё наши баулы, и всё будет славно. А пока, горбаться под грузом, чавкаем болотниками по этой неприятности и дышим через раз. Тяжело.

Почти десять лет назад вот также шлёпали по Гыдану севернее Няхар-Яхи. Долго и нудно. До радужных кругов в глазах. Только обвешаны тогда всё-таки мы были гораздо меньше. Дошли. Хотя всю дорогу и не видели точки назначения. Всё по следам, по следам – по тёмной вмятине-колее от нарт. А здесь нам никакие следы не нужны. Вот оно, озеро. Здоровенное и молчаливое. Немое какое-то. Ничего, мы нарушим эту тишину. Ещё полчаса напруги, и на месте будем.

В резиновой лодке – двенадцать килограммов. И все на мою голову буквально. Ой, бабоньки, сейчас шея отнимется!

Водичка под ногами весьма прохладная. Через сапоги чувствуется. Чавк-чавк...

Наша задача – провести археологическую разведку (с попутной этнографией) на линии, где когда-то, в шестнадцатом-семнадцатом веках, русские бородатые мужики пересекали Ямал поперёк, направляясь из архангелогородчины в Мангазею.

Сначала плыли они «по морю-окияну», где льдов больше, чем воды. Наверное, прижимались здоровенными деревянными лодками-кочами к берегам, лавировали, чтоб эти льды не взяли в плен и не раздавили. То гребли, то парус ставили. Сложновато же им было с картами тех времён! Наша самоделка – куда точнее.

Кстати, может быть, «кочевать» от слова «коч»? Как «поморы» от «море».

Очень, очень может быть... Глянуть бы в словарь Даля...

Так вот. От большеземельских берегов поворачивали мужики на север и находили устье реки Морды-Яха. (Неприятное название, но...). Верст, эдак, восемьдесят гребли против течения до устья Мутной. (Ещё одно нерадостное имя). Потом по Мутной гребли до истока. А исток – озеро Мал-то. К этому Мал-то мы и топаем сейчас. Вот оно, уже совсем близко.

Мал-то соединяется с Ер-то и Ней-то. «То» по-ненецки – озеро, «мал» – крайнее, «ер» – среднее, «ней» – налимье. Получается триединое озеро, или озёра. Их в целом ещё называют Нейтинскими. По ним поморы добирались до Ярохоя, узкого перешейка, где волочили свои суда в озеро Ямбу-то. А его название за себя говорит. «Ямб» – в переводе с ненецкого – «длинный». Из него берёт начало река Зелёная.

Чёрт его знает, почему Зелёная. Наверное, по цвету воды. Или берегов? Кстати, эта Зелёная, как и Мутная, называется в дополнение Сё-яхой. Кажется, «сё» переводится как «поток». Нет-нет, «горло»! Вот такая богатая гидронимика.

В общем, за лето мужики преодолевали и «море-окиян» и весь Ямал поперёк проходили. На Зелёной было веселей, наверное. По течению, всё-таки. А там – Обская губа, потом – Тазовская губа, потом – река Таз. И, наконец, Мангазея. «Златокипящая» Мангазея. Пушной рай. Окруженный лесотундрой городишко-крепость.

Впрочем, в крепости этой, как написали археологи, и кабаки были, и бордели. Пятно цивилизации на стерильном фоне дикого Севера.

Ёлки-палки! Одних названий собирается уйма. Сколько же трудов и времени стоило бородатым добраться до «златокипящей»? В их коллективах пижонов уж точно не было! При таких мытарствах не станешь терпеть чудака, про которого сегодня принято говорить (особенно, в интеллигентских кругах): «человек своеобразный, со сложным характером». «Сложнохарактерных», наверное, топили ещё на старте, в устье Северной Двины. И поделом.

Впрочем, нас интересуют не следы архангелогородцев. Вернее говоря, не они в первую очередь. Прежде всего, мы будем искать следы «сихиртя». Про которых ненцы сегодня рассказывают «былины». Мол, маленькие человечки живут в сопках, под землёй. На поверхность выходят ночью или в туман. При этом начудить могут, как лешие в русских сказках.

Ну, мы-то с Андреем – люди учёные и знаем, что это – выдумки. Легенды. На самом деле никаких «сихиртя» нет. Но были. Бог его знает, какого роста и обличья, но следов в виде керамики, оружия, украшений и прочей археологии оставили потомкам достаточно. Все эти вещи ненцы находят, и легенды ненецкие получают «подтверждение».

Вот и нам бы найти побольше. Да полегче! А то шея уже отнялась, и пояснице хана придёт очень скоро.

Чавк-чавк... Когда же это кончится?

– Андрей!

– Ну?

– Как тебе вот это:

– Я помню тот Ванинский порт

И крик парохода угрюмый,

Как шли мы по трапу на борт,

В холодные, мрачные трюмы...

– Хорошая песня. Её надо петь.

– Ладно.

Чавк-чавк...

Всё. Сухой берег. Пришли.

Не снимаем, а сбрасываем проклятый груз.

Водное зеркало в тёмной раме берегов. Как здорово, что можно расправить затёкшие плечи! Свободно вздохнуть. Воздух-то какой! Ещё раз вздохнуть. И ещё. Хорошо...

Количество свежего воздуха в тундре не ограничено.

Нейтинские озера

Заканчиваются вторые сутки маршрута. Первый переход длился часов двадцать. Сначала Головнёв грёб на «надувнушке» с горой нашего добра, а я шёл по берегу. В основном, по верху.

Задача пешего – не прокараулить что-нибудь археологическое. Особенно внимательным нужно быть там, где ветровая эрозия устроила среди мохово-

лишайниковых пространств песчаные поля и полянки. Здесь легче всего найти керамику или ещё что-то, например, какой-нибудь металлический предмет: наконечник стрелы или обломок ножа. Могут попасться бронзовое украшение, бусины, остатки кострища.

Топаю. Смотрю под ноги. Не тороплюсь. Наверное, Андрею трудно за мной угнаться, ведь «резинка» – не байдарка. Не тороплюсь.

– Эй! Рыжий!!!

Далее снизу, с воды, прикрытой от меня краем обрыва, слышится непереводаемая игра слов.

– Ты чего еле тащишься?

А я, вроде бы, хотел как лучше... Ладно, пойду быстрее.

Красота неопишная. У громадного озера поблизости, там и сям, – маленькие спутники, небольшие озерца, на которых сидят утки. Разные утки. Я легко узнаю их «в лицо». Вот – парочка свиязей, там – десяток шилохвостей. А эти, глупые в нескольких шагах – чирки. Кажется, что им разглядывать меня любопытнее, чем мне – их.

Конец июля, а на озере – льды. Большое бело-голубое поле посередине и подобное ему у северного берега. Сбившиеся вместе, огромные осколки полярной зимы. В стороне – редкие льдины, недвижно плавающие порознь, напоминают барашков, отбившихся от общей отары. Над ними время от времени прошивают пространство утки. Посидев в компании со льдинами, они направляются в такие же озерца, как то, мимо которого я сейчас иду.

Стоп!

В этом месте в Мал-то впадает речушка. Впадает – сказано просто так. На самом деле, природа отрыла (или оттаяла) канал в озеро или из озера. Но главное, что через него не перепрыгнуть. Ширина – метров десять и глубина, кажется, приличная. Что ж, раздеваемся... Вода, естественно, холодная. С отвращением погружаюсь в неё по горло. Нащупываю дно, коротенько и плавно переставляю ноги. Сапоги перебросил заранее, а всё прочее несущ над головой.

Нет! Не перейти! Берег – в нескольких шагах, но придётся плыть. Бросаю по очереди всё, что было в руках. Штаны, рубаху, куртку, свитер. И трусы. Их мочить тоже незачем. Кучу барахла на плотном, сухом, чёрно-сером грунте дополняет сверху ружьё. Слава Богу, упало аккуратно. Теперь пара гребков, и вот уже снова дно. Выбираюсь, обожженный ледяной купелью. Начинаю одеваться. Тело краснеет мгновеннее, чем в парилке.

Тем временем опять слышно, как кричит Головнёв. Надо поторапливаться. Взираюсь на очередной склон. С него виден мой подельник. Издалека заметно, что усы над сигаретой топорщатся по-боевому. Хмур, язвитель и великолепен. На перекуре решили поменяться местами. То есть теперь в лодку сажусь я. Путь до конца маршрута я проведу в ней один. Или с ним, когда берега будут непроходимыми.

За двести вёрст пути мне предстоит научиться управлять вертлявой надувной посудиной. Расстояние, как выяснится потом, окажется достаточным, чтоб всю оставшуюся жизнь делать это лучше всех.

Теперь я наблюдаю встречающиеся льды в упор. Могу тыкать в них веслом, соскрести с поверхности пригоршню снежно-водяной каши. Она вкусная. Ещё вкуснее вода за бортом. Не напиться. Прихлёбываешь каждые двадцать минут. И гребёшь, гребёшь.

Тем временем вязаная шапочка Андрея то исчезает, то появляется вдаль, над неровностями склонов.

Из Мал-то вышли в Ер-то. Намаялись и проголодались. Остановились «на ночёвку». Головнёв как-то быстро-быстро подстрелил шесть уток. Ободрал их, пока я возился с костром и вещами. Сварили. Нажрались от пуза.

Светило поднималось, значит, было утро. Забрались в палатку. Недолгий разговор. Пара фраз. Благость для ног, наконец-то вытащенных из резиновых болотников, где они промаялись больше суток. Андрей уже сопит.

Проснулись от зноя и духоты. Оранжевая палатка «Волна» превратилась под солнцем в парник. В жарочный шкаф. В духовку. Измотанные, глубоко спящие организмы долго терпели нарастающую пытку. Кажется, снился кошмар. У кого-то из нас он превратился в явь раньше. Растолкались. Кружилась голова. Выползли на воздух. Ух...

От гулливеровской дозы съеденной утятинны мутило. О еде не хотелось думать. Допили оставшийся «с вечера» в котелке холодный чай без сахара. Покурили. Собрались. Двинулись.

За весь остальной маршрут – больше недели – по уткам мы не стреляли.

Казалось, что не будем их есть вообще никогда. Стоило один раз с голодухи и пылу насытиться «выше крыши».

Из-за ледяных полей посреди озёр, да и чтобы не терять друг друга, я правлю лодкой вдоль берегов. Она стала выглядеть ещё более странно и внушительно. Мало того, что возвышается гора вещей, ненамного ниже меня сидящего, ещё и поперёк уложена коряга. Коряга с полным правом может называться бревном, ибо в диаметре составляет сантиметров тридцать. Бог знает, как её занесло в самый центр Ямала. Вокруг – ни одного приличного кустика, лысая примороженная поверхность, как правило, буро-зелёного цвета. И на тебе – дрова! От этой коряги мы откалываем топориком понемногу, чтоб хватило надолго. Коряга сыровата, и нам стоит значительных трудов разжигать её. В качестве «запала» используем таблетки сухого спирта и дуем. Выглядим при этом смешно и глупо, но куда деваться?

На очередной остановке пытаемся сориентироваться. Сопоставляем то, что видим, с картой и компасом. Опять – несовпадение.

Вроде бы всё так. Но то ли компас врёт, то ли изображение на карте изрядно повернуто. Плюём на это обстоятельство.

Лишь год спустя я сделал для себя открытие. Оказывается, на всякой карте помечено магнитное склонение. В связи с тем, что магнитный полюс отнюдь не совпадает с астрономическим. Особенно ощутима эта разница в высоких широтах, где мы как раз и шляемся. Только такие дурни, как мы, могли не знать

про склонение, отправляясь в автономный поход к чёрту на кулички. А раз не знали, то и не посмотрели куда надо. Одни изгибы водоёмов вычерчивали. В общем, «как молоды мы были...».

Мы уже в Ней-то. В бинокль на горизонте виден противоположный берег с каким-то строением. Фактория, однако! Добавляется сил и прыти. Дело даже не в том, что есть шанс встретить людей и жилище. Мы за прошедшие дни преодоления пространства, «где нет ни дорог, ни селений», соскучились по чему-то рукотворному в принципе. И любой сарай для нас будет сейчас памятником архитектуры.

Северо-восточный берег, вдоль которого пролегает кратчайший путь к намеченной цели, затянут ледяным полем. Над ним нависает высокий берег – белый, как стадо мамонтов-альбиносов.

Вблизи картина ещё более впечатляющая. Видно, что толщина снега никак не менее трёх метров, а местами, наверное, и все пять. Мы медленно и осторожно, чтоб не пропороть лодку, протискиваемся среди шуршащих льдин и позвякивающих льдинок. С нависших над водою и нами краёв снежного бока сыпет капель. Но всё равно, понятно, что к зиме это добро не растает. И полностью не тает никогда. Вечное, мёртвое одеяло.

Причалили к серому илистому крутояру. Над нами – тот самый «сарай», который мы разглядели в бинокль. Рядом валялись какие-то железяки.

Чувствовалось, что люди были здесь недавно.

Поднялись на склон. Невдалеке синела гладь следующего в нашем маршруте озера – Ямбу-то, а перед ним, как в сказке, стояла изба. У жилища был человек. Он смотрел на нас.

Ярохой – Ямбу-то

Сейчас уже не помнятся имёна тех, с кем пришлось встретиться. Хоть и не много их было: муж, жена и трое детей. Ярохой в то время был маленькой факторией, где из материальных ценностей имелись только дрова, да и то совсем немного. Так что эта ненецкая семья фактически выполняла роль сторожа избы, в которой сама ночевала. В гостях у семьи в те дни находились два мужика, добравшихся сюда из посёлка Сёяха на моторке. Они выезжали на Ней-то, ставили сети. Не смотря на название, озеро одаривало рыбаков не налимами, а красной рыбой. Рыбу мужики называли тайменем. Но, кажется, что это были ленки, или гольцы. Хорошие, килограмма по четыре рыбины с нежной оранжево-розовой мякотью.

Долго удивлялись ненцы, увидев нас, невесть откуда появившихся с резиновой лодкой посреди Ямала. Кормили, поили, расспрашивали. Мы не были для них в тягость, нас никто не торопил. Наоборот.

Мы увидели на Ярохое описанное чуть не сто лет до этого Борисом Житковым озеро Мёртвых Русских, которое сами ненцы называют «Луце хавы то». Оно представляет из себя аккуратную округлость, кажется, метров пятнадцать в диаметре. Это – одна из святынь ямальских кочевников. Недалеко – несколько

земельных впадин. Предположительно – старинные захоронения тех самых русских. Возможно, ещё шестнадцатого века.

Мы беседовали об особенностях здешних мест. Мы говорили о культуре ненцев. Мы слушали рассказы о сихиртя. Мы наслаждались свежим и малосольным ленком. Нас никто не торопил. Но нужно было поспешать дальше.

Кажется, мы пробыли на Ярохое всего около суток и дополнительно снаряженные сетчонкой, подаренной новыми знакомыми, двинулись.

Километров пятнадцать через Ямбу-то нас перевез на моторной лодке один из гостивших сеяхинцев. Правда, в одном месте мы выходили на берег, осмотрели его, ничего не нашли и двинулись далее. Под урчание мотора мы любовались высокими берегами в снегу. На черных склонах между синей водой и голубым небом снег смотрелся ярким орнаментом.

Мы покидали Ярохой под впечатлением увиденного и услышанного, под впечатлением заботливого приёма. Моторка уносила нас от узкой полосы ямальского водораздела к истоку Зелёной Сеяхи, который в этом обширном пространстве ещё нужно было найти.

За всё время маршрута мы до сих пор не встретили ни одного камешка. А на юго-восточном берегу Ямбу-то высадились у большого камня – гранитной глыбы. Присутствие подобной штуки здесь, в сотнях километров от гор, объяснения не имело. Камень этот, как и многое непонятное, был для ненцев священным. Поэтому мы с нашим проводником подошли к розовой глыбе и согласно обычаю священных мест выпили по глотку спирта. Постояли, покурили.

Отошедший в сторону Головнёв вдруг нашел огромную кость, диаметром сантиметров десять. Наверное – останки мамонта. Мы раскололи её обухом топорика, чтоб использовать под грузила для нашей сети. Обломки воняли тухлятиной. Было явно, что предыдущие тысячелетия кость пролежала в неплохом холодильнике. Чудные места!

Расставшись с проводником, через пару часов поисков наконец-то нашли исток Зелёной Сёяхи. Абсолютно прозрачная вода почти стояла. Но мы знали, что рано или поздно, через километр-другой, течение будет, а значит, путешествие облегчится. Перед нами оставалась вторая, обещавшая быть ещё более приятной часть маршрута.

Запомнился недолгий отдых у истока реки. Песчаные холмы – какой-то необычный для тундры, нереальный, нездешний уголок пейзажа. Нам казалось, что картине этой для комплекта не хватает верблюда. Конечно, шутили. Но пески были почти аравийские.

Нежась в подаренном Богом тепле, мы кормили себя и гуляющих в прозрачной речной глубине хариусов тушенкой.

– Вадик! Видишь вон ту парочку? – спрашивал меня Андрей.

– Ну.

– Сейчас я угощу того, что впереди.

Брошенная Головнёвым мясная крошка неслышно плюхнулась на воду и медленно опускалась ко дну. На глубине в несколько вершков запланированная

товарищем рыбка, как дрессированная, глотала угощение. Вот это аквариум! Появилось ощущение того, что мы проникли в сказочную страну. Лично меня это ощущение не покидало все дни до конца маршрута. При райской погоде мы двинулись по реке.

Потом откуда-то напоззло, надуло. Пошёл дождь, который не прерывался четыре дня и ночи. То проливной, то реденький, он был надоедливый и непреклонный. Мы почти не спали, а переходы продолжались сутками. Вода через швы прорезиненных плащей пропитала всю одежду, сыто хлюпала в сапогах.

Это наказание вдруг сменилось шквальным, стынущим с каждой минутой ветром. Река зашлась пенными барашками. Серую хмарь над головой снесло и утащило за горизонт. Небо очистилось только для того, чтобы стать полем для урагана. О костре думать не приходилось. Давило так, что палатка, не смотря на дополнительные растяжки и особую, проверенную годами устойчивость, постоянно срывалась. Мы отчаянно хватали её и держали немеющими пальцами, как последний, спасительный парус в сошедшем с ума океане. После неоднократных попыток едва-едва укрепились с заветренной стороны довольно крутого холма.

Наконец-то, дрожа от холода, забрались в палатку. При температуре, упорно стремящейся к нулю, пришлось сушить всё, что было, не снимая с себя. Даже свитеры со штормовками. Не снимали, чтобы к невероятной внешней «свежести» добавить тепло собственных тел. Тела хотели выжить. А одежда была в состоянии, будто бы её только что вытащили из ведра с талой водой и слегка отжали. Но многодневный путь и борьба со стихией замучили вконец, и мы «отключились».

Через каждые полчаса – час, проницаемые жутким ознобом до боли, мы вновь отрывались от полудрёмы. Отгораживая спинами горящую таблетку сухого спирта от рвущихся в наше укрытие струй бешеного тундрового Борея, кипятили чифир. По полкружечки.

Клацая зубами, Андрей мрачно шутил: «Сейчас бы Толстого сюда!». Имелся ввиду общий знакомый, любитель романтических песен про «солнышко лесное», оставшийся в тысяче километров южнее археолог Бушков. Я кивал, аналогично клацая и с трудом удерживая кружку в трясущейся руке.

В общем, за сутки удалось подсохнуть (как ни странно, без последующего насморка). Ветер улетел в другие пределы, и мы продолжили путь.

Монотонная гребля – прекрасный повод думать, вспоминать. Если встречный ветер не заставляет грести особо энергично, то можно со скуки или, наоборот, от радости постоянных маленьких открытий мира петь песни. С моим слухом это, конечно, не песни, а мычание, вой или крики, но какая разница! При Андрее я почти не пою, перед ним стыдновато. Но он снова уходит, исчезает из вида. А здешним птицам и рыбам на моё «пение» наплевать.

Впечатлений много. Руки заняты, мозги свободны. Рифмую впечатления:
*«Забудется усталость ломовая,
Солёный пот и серые дожди,*

И весь маршрут от края и до края,

И с выдохом упавшее «дошли».

Река петляет, и с нею петляет маршрут. Каждый раз ожидание чего-то нового за поворотом. А когда впереди открывается длинный прямой участок, когда всё развернуто и очевидно – вот тогда самое время петь или вспоминать.

Например, о событиях десятилетней давности: о сонном деревянном Салехарде, о Полярном Урале с его чудной долиной Лонготъегана, о болтанке в шторм на траверзе Трёхбугорного мыса, об Антипаюте и Гыде, о берегах Явая и льдах Карского моря. Вот, например...

Воспоминание номер один: Владимир Романович

Август 1979 года. Холодная морось, серые, затуманенные горизонты, льды на побережье. Одиноким балок на фактории Няхар-яха (по-русски – Третья река). Собственно говоря, вся фактория – это и есть один балок. Правда, рядом мокнет ещё и навес, который когда-то, если будет достроен, должен превратиться в сарай. Под навесом – десятка два бочек с омулем. В полукилометре отсюда видятся три чума. И море. Всё.

Мы – на северной оконечности Гыданского полуострова, которая в свою очередь называется полуостровом Явай. Кстати, ещё Явай – это одна из ненецких фамилий, то есть название одного из родов. И этим же словом ненцы называют то, что мы называем бульоном. Вот сколько значений.

Средняя температура летом здесь – плюс семь. Для широты семидесяти трёх градусов это обычно. Солнце редко. Как уже было отмечено: холодная морось, серые затуманенные горизонты, льды на побережье. Вечное желание выпить если не настоящего горячительного, то хотя бы горячего чая.

Стоим вдвоём с местным факторщиком, Владимиром Суздровым. Курим. Владимир Романович в черном полушубке, который для него летом вместо спецовки. На голове факторщика – выдавший виды кроличий треух. Глаза Суздрова уставлены в неопределённую даль. Рассуждает.

– Вот, смотри, Вадим! Сургутяне утверждают, что они живут на Севере. А я говорю, какой же Север, если вы в парниках огурцы выращиваете?

Затяжка. Молчание. Взгляд опускается к болотным сапогам – незаменимому дополнению полушубка и треуха. В ногах валяется грязный обрывок оленьей шкуры, которая здесь – обычный теплоизоляционный материал при строительстве. В стороне – помойка, на которой пара гниющих тушек ободранных нерп, скелеты нескольких песцов да консервные банки. Короче говоря, ближний пейзаж тоже не радует.

Моя вязаная лыжная шапочка намочена, но идти в балок не хочется. Надоел его полумрак и обстановка, которую мы за последние дни рассмотрели до последней детали. Холостяцкая обстановка, и к тому же арктического варианта. Суздров – последний романтик. Могуч. От роду – пятьдесят два. Брови лохматятся. Спокойный, чуть грустный взгляд. Последние десять лет он живет без семьи. Что-то не заладилось. И ещё я по секрету узнал, что ему нравится какая-то неночка Галя, которая живет в Гыде.

Гыда – ближайший посёлок. От Няхар-яхи верстах в ста пятидесяти, а то и больше. Только оттуда прилетает вертолёт сюда. Но это бывает всего пару раз за год, и столько же раз за навигацию приходит корабль.

На лодке отсюда лучше далеко не ездить, её может затереть во льды. Даже сейчас, во второй половине августа они в одиночку или большими «стадами» гуляют под ветром по устью губы. Минимум раз в неделю сиверок нагоняет с Карского моря этого добра столько, что льдинами забивается всё побережье чуть ли не до горизонта. И не может размыть их ни вода морская, ни сырость небесная.

«Да, – думаю про себя, – действительно, сургутяне перегибают палку. Тайга – это не Север. На Севере деревья не растут. На Севере живёт Суздров, ловит омуля и солит его в бочках».

Встреча с мастером фактории Суздровым для нас была незапланированной. К этому берегу нас привёз «ПТС-2» – флагман гыданского флота, самая большая посудина из имеющихся в распоряжении местного рыбозавода.

Пару недель судно бродило среди льдов и туманов, кочуя от одной дальней фактории к другой. Чаше туман был пропитан холодной моросью, и в эти дни хотелось пореже покидать каюту или рубку. Главный механик с коком однажды, устремившись за нерпой, отъехали на лодке от корабля и на трое суток пропали. Заблудились в тумане.

Мы запускали сигнальные ракеты. Гудели-сигналили.

– Умеешь готовить? – спросил у меня капитан Пономарёв.

– Умею.

– Иди на камбуз!

Трое суток я варил макароны, заправляя тушенкой. Никто не возмущался. Даже разъездная фельдшерица. Даже жена факторщика Ивана Бироваша.

Бывало, над обволакивающим корабль до клотика слоем тумана сияло яркое солнце. Полный абсурд: над головой синее-синее небо, а вокруг – белое молоко, сквозь которое даже вода под бортом и та не ясна. Подобного чуда я не видел ни до, ни после.

Вышли в солёные воды. На борту кончалась пресная. Мы багрили мелкие льдины и загружали их в бочки на палубе. Растаивали.

Как много было нового! И льды в августе, и нерпы, и строганина на обед. А главное – люди, разговоры. Слушать их можно было бесконечно. Кроме колорита в рассказах и репликах не было ничего. Совершенно другой мир. После Юрибея и Монгатолян-яхи дошли до Няхар-яхи. Стали на рейде.

Когда поднявшиеся на борт мастер и сопровождавшие его рыбаки узнали об этнографах, то есть об Андрее со мной, они настояли на нашей высадке на берег.

– Ничего страшного, – сказали, – через неделю будет вертолёт, тогда и улетите обратно, в Гыду.

Мы согласились.

Потом ехали от корабля на берег на подчалке – большой деревянной лодке, которую в более южных краях, где начинается лесотундра, называют бударкой.

В посудине этой, лавирующей среди льдин, теснились бочка с бензином, немного досок, мешки с хлебом и пара ящиков водки. Настроение компании было самое отменное.

Затем три дня рыбаки пили. При этом однажды наиболее принципиальные подрались. Таких нашлась парочка. Поскольку они не могли стоять на ногах, драка прошла вялотекуще.

Суздоров тоже пил три дня. Засыпал, пил и опять засыпал.

Мы помогли пить и ненцам, и ему. Нам, «дорогим гостям», настойчиво наливали, а мы не отказывались.

Днём мы были в чумах, где Головнёв умудрялся находить трезвых и вел с ними этнографические беседы. Я находился рядом, слушая Андрея, ненцев или разглядывая малых детей, копошащихся тут же.

У одного из чумов были на верёвках привязаны два волчонка. Один из них, прозванный на стойбище Серым, был по-настоящему диким. Он ощеривал свои белые клыки, шерсть на загривке стояла дыбом. Другой был добр, как домашняя собачонка. «Купите! – говорили нам тундровики. – По пятьдесят рублей отдадим». Звери были хороши. Но пятидесяти рублей на экзотическую покупку у нас не было. Тем более – ста. Да и куда их потом девать, полярных хищников? Жалко ведь.

Ночевать мы возвращались к Суздорову в балок. Там было тихо и спокойно. Там было большое количество сгущенного какао со сливками. Очнувшийся от пьяного сна Владимир Романович угощал малосольным омулем, настаивал на совместных ста граммах и снова засыпал.

Через трое суток водка кончилась и в чумах, и у Суздорова. Для Няхар-яхи начинался долгий период сугубой трезвости.

– Владимир Романович! А почему в Вашем балке дыра в стене за печкой не заделана, а просто заткнута тряпкой?

– Так это же не дыра, а технологическое отверстие.

– ???

– Ты видишь, что за стеной – помойка. Зимой просыпаюсь, выдергиваю тряпку. Если на помойку прибежал песец, то стреляю его через это отверстие. Ты на мою мелкашку внимание обратил?.

– Обратил.

– Ну, вот. Стреляю и спать ложусь.

Я верю.

Дымим папиросами.

Владимир Романович бросает окурок и начинает работать. То есть забивает пару гвоздей в остов навеса – будущего сарая. Замирает с молотком, опущенным в руке. Смотрит на шляпку вколоченного гвоздя. Через минуту вздыхает и бросает орудие труда под брус. На сегодня его работа уже закончена.

– Ну, что?

Это мне.

А я знаю «что»: вскипятим чай и будем опять долго дымить «Беломором» и говорить о той жизни, которая цветёт далеко за пределами тундры. Перед нами

будет мутно светиться грязное стекло балка с неярким днём за окном, а на краю стола жалобной деталью интерьера будет пара подшивок журнала «Советский экран» за прошлые годы. Потом придёт из чума, от ненцев Головнёв. Наверное, будем играть в карты.

– Романыч!

Как ниоткуда, вдруг, с тылу появился Лёнька Лапщуй, житель одного из трёх чумов при фактории. Лёнька запыхался в беге по какому-то важному поводу.

– Романыч! Дай мелкашку, в речку лахтак зашёл!

Лёнька указывает рукой вдаль, на поворот Няхар-яхи. Ещё пара ненцев маячит там в этот дождливый час. Отсюда заметно, как они нервничают на берегу. Их маленькие издали фигурки в малицах перемещаются на фоне серой реки относительно друг друга.

– Смотри, Романыч, там, там лахтак!

Действительно, мы видим и нечто слабо различимое, вынырнувшее из воды.

Вообще-то, лахтак – это крупный тюлень, которого ещё называют морским зайцем. Нерпа в этих краях – частая добыча, а вот лахтак – редкость.

Владимир Романович сомневается, что охота получится. Видно, что тюлень нырнул и вынырнул уже ближе к устью, стремясь уйти на большую воду.

Наконец-то Суздров выносит из балка винтовку и идёт за добычей. Совсем невысокий Лёнька энергично шлёпает рядом. Уходят. Я остаюсь.

До Няхар-яхи мы с Головнёвым побывали ещё на двух местных факториях. На их помойках, как и на здешней, валялись те же гниющие тушки нерпы и скелеты песцов. Местные ненцы нерпу не едят, ограничиваясь снятием шкуры. Но в одном чуме на Монгатолян-яхе нас кормили вареной печенью. Печень как печень. Несколько лет спустя я где-то прочёл, что её нельзя есть, как и печень белого медведя, потому, что последует отравление витамином С.

С нами не случилось. Может быть, это всё-таки была оленья?

А вообще-то, нерпа – на редкость симпатичный зверёк. Большеглазый, доверчивый. Выныривает среди льдов и вопросительно топорщит свои усы.

Если запеть или засвистеть, то нырнёт и вынырнет поближе, чтобы разглядеть издающих странные звуки. Этим охотники и пользуются.

Русские шьют из меха нерпы бурки. Бурки эти хороши тем, что в отличие от обуви, сшитой из оленьих «лап», не боятся влаги. А ненцы режут шкуру нерпы на ремни для оленьих упряжек. Говорят, что ремни получаются исключительно прочные. На каждой фактории есть парочка высоких кольев, между которыми растянуты-намотаны эти свидетельства морского промысла. Однажды через такие растяжки мы играли с ненцами в волейбол. Эта хохма была нами даже сфотографирована.

Совсем неторопливо, задумчиво, с опущенным взглядом возвращается Суздров. Лахтак успел уйти в губу. По мне – так и Бог с ним! Я хоть узнал, что здесь есть ещё и лахтаки.

– Владимир Романович! А много ли песцов за зиму через свою дырку стреляете?

– Что?

- Много ли песцов за зиму через дырку в стене стреляете?
- А-а... До двадцати штук.
- И куда деваете?
- Так ведь сестра у меня в Омске живёт. Ей и посылаю.

Мелочи жизни

Мы с Головнёвым отмахали уже километров сто. Сейчас у нас замечательный момент: Андрей только что нашёл наш первый на маршруте памятник – несколько фрагментов керамики с орнаментом и бронзовую бусину. Пытаемся снять план, товарищ руководит съёмкой:

- Сколько метров от террасы до склона?
- Считаю шагами: раз – два – три – четыре...
- Двенадцать!
 - А от озера?
 - Раз – два – три... Двадцать пять!

Андрей говорит, что это место для расположения памятника – самое типичное для Ямала. Озеро соединяется короткой протокой с большой рекой. Над этим природным гидрокомплексом – небольшая возвышенность. На ней сухо, и вода с рыбой рядом.

Мотаю на ус. После зарисовки плана ещё раз тщательно прочёсываю поверхность безымянного для нас мыса, осматриваю обвал. Повезло и мне. Вот он – маленький глиняный осколок. Треугольный обломок венчика сосуда.

– Начальник! Смотри!

Головнёв кивает: «Да, да».

Как здорово, когда появляется осязаемый результат! Мы довольны жизнью, окрестностями и друг другом. Мы уверены, что дальше будет лучше.

Маршрут вдвоём – как поход на подлодке, как полёт на космической станции.

В том смысле, что конфликт при таком раскладе означает опасность стать «трубой», «ханой», «крышкой» или, как говорят грубые мужчины,...

В общем, понятно, как говорят и чем может обернуться конфликт. Только внимание и постоянная, незаметная, ненавязчивая забота о напарнике, об общем деле позволяют добиться успехов. А поскольку в отличие от вышеупомянутых транспортных средств в таком маршруте нет связи с внешним миром, то есть заметные шансы вообще не прийти никуда. Тем более, что кто-то может банально подвернуть ногу, а другому покажется, что это немножко симуляция. Значит людей «своеобразных, со сложным характером» брать с собой в дорогу по Арктике нельзя. Иначе для пользы дела придётся топить. А кому это надо?

За десять дней пути Головнёв рычал на меня, кажется, раза три. Наверное, и я рычал на него. Один раз чуть не утонуло его ружьё. Он посчитал, что по моей вине. Другой раз ему не понравился мой юмор. Третий – не помню. Вот и всё. Через несколько суток после выхода на Зелёную мы остановились на ночлег возле устья какого-то большого ручья. Был смысл поставить перед сном сеть, подаренную нам ненцами на Ярохое. Я долго мучился, умудряясь изладить это,

одновременно подгребая вертлявую «резинку» на течении и расправляя путающуюся стенку. Андрей, подрастеряв терпение, начал делать с берега ехидные замечания. Я ответил грубой фразой:

– Парень ты, конечно, грамотный, но в этом деле мне не советчик.

Фраза эта, превращённая в строки, читаемые в условиях привычного жилья, кажется фальшивой. Будто прошла она тройную цензуру. А какая может быть цензура в безлюдной тундре, в компании двух тридцатилетних матерщинников?

На самом же деле, ненормативной лексики было, конечно, много. Но не в тех случаях, когда существовал хоть какой-то намёк на разногласия.

Чтоб понять сие, надо прочувствовать лично. Тогда и поверится.

А в целом – это самое главное, хоть и самое неромантическое в экстремальном маршруте на двоих. Ну, да ладно...

Между прочим, в сетке, которую я с трудом и «под огнем товарищеской критики» смог поставить, утром обнаружили несколько здоровенных хариусов. Мы везли их с собой полдня и на обед сварили уху. Поскольку всё, что теоретически могло гореть, было мокрым как мочало в душе, мы в тот раз добивались кипения котелка сорок минут. А продолжалось кипение сорок секунд, пока порошком не сгорел «веничек» карликовой берёзки. Но уха успела свариться. Такая вот рыба – хариус.

Кстати, о кострах и котелках. Во время предпоследнего перехода Андрей подстрелил гуся. В зоологических определителях недаром пишут, что гусь живёт до сорока лет. Видимо, нам попался как раз такой экземпляр. Благо, что дров в низовье было много. Мы кипятили добычу часа два, а когда кончилось терпение, съели её недоваренной. Жевать пришлось жаростно. Такой вот может быть птица – гусь.

Но всё это будет ближе к концу маршрута. А пока... А пока мы по карте видим, что скоро будет озеро Тонгаптюн-то. Большое озеро. Карту мы перерисовали не очень чётко и не можем сейчас определить: то ли тот поворот, то ли не тот.

Если тот, значит до озера с километр.

Идти здесь по берегу невозможно: широченные заболоченные поля с непролазным кустарником, – не имеет смысла терять время. А ориентироваться на местности в отдалении от реки не можем из-за качества той же карты.

Можно потерять друг друга надолго, если не навсегда. Поскольку в плане у нас не подвиг, а работа, едем сейчас вместе. Гребёт Головнёв. Плеск вёсел. Тишина природы. Наше нетерпение.

Кусты кончились. Вернее, этот участок – не заросший. Мы пристаём к берегу. Поднимаемся на возвышенность. Батюшки! Озеро-то метрах в ста! Правда, из-за следующего поля кустов не видно места впадения реки.

– Ну, что? Перетащим вещи и лодку?

– Знаешь, Вадик, давай доедем. Наверняка впереди – небольшая петля. Я хочу проделать остаток пути по воде. Чтоб было в смысле символики чисто.

– Что ж, давай!

Упругими толчками Андрей погнал лодку вперёд. «Небольшая петля» на деле оказалась длиною в два часа гребли. Редко в жизни я видел Головнёва таким злым.

Тонгаптюн-то подарило нам ещё две неожиданности. Переночевав у одного берега и переправившись на другой, мы оглядели с его высокого берега тундру. На горизонте, километрах в пятнадцати, что-то было. Бинобль помог разглядеть стойбище. Оставив лодку с вещами, сходили в гости. Приняли нас там, как и положено в тундре, ровно замечательно. Часа через три пошли обратно. В километре от чума лежал мёртвый олень. Возвращаться и сообщать об этом как-то не хотелось, да и наверное не имело смысла. Хотя свербела тяжёлая мысль: «Что о нас подумают суеверные кочевники? Как они всё это истолкуют?».

Вредно долго находится в нехорошем настроении. Лучше заняться работой, а если и она не отвлекает, отвлёки себя памятью о чём-то добром. За вёслами это сделать легко.

Воспоминание номер два: «Прогулки парижского буржуа»

Тогда, в семьдесят девятом, Андрей частенько применял это выражение. Аромат оленьей шкуры, комары или вкус сырой оленьей печени непонятно почему напоминали ему о творчестве французского классика. Конечно, та экспедиция по сравнению с этой, действительно, – лёгкая прогулка. Вот, например, помнится: в Няхар-яхе мы третий день. Проснулись у Суздрова в балке, поели, ушли в стойбище. Полдня отработывали местную этнографию. Вернулись.

Владимир Романыч были пьяны. Сквозь хмельную муть их громадные голубые глаза с трудом смотрели на белый свет. Тяжело ворочая бычьей шеей, добрый человек огорчился, что мы так долго не приходили. Достал бутылку «Экстры», угостил. Головнев под гитару спел ему «Москву златоглавую». Суздров прослезился и налил ещё по одной. Через пятнадцать минут северянин спал. А в это время за окном – яркое солнце, безветрие, теплынь. Градусов пятнадцать. Мы с фотоаппаратом вышли на прогулку.

Скоро мы находились в полутора километрах от своего жилища. В центре холма, куда нас занесло любопытство, был своеобразный «кратер». Почва в нём представляла из себя поверхность бородавчатую: в плоских, поросших только по бокам и лысых наверху кочках. Это перерезалось канавками, промоинами, овражками. Местами высились какие-то земляные «пни» – столбы до двух-трёх метров высотой. За этим марсианским пейзажем из-за края холма выглядывало море. Мы выкарабкались на берег.

Было время отлива. От высокого, обрывистого материка далеко в море уходила гладкая поверхность освободившегося от воды дна. Всё побережье было завалено громадными лесинами. Тысячи льдин сидели на мели или плавали неподалеку. Другой лёд – вечный, обнажившийся в обрыве берега, таял и парился на солнце. Стояла «жара по-карски».

Побродив по краю берега, решили сходить к ближайшим льдинам. Дошли. Было жаль, что всего окружающего в этот миг не видит никто из наших старых знакомых. Разделись до трусов, поставили фотоаппарат на автомат и щёлкнулись на льдине рядышком: два тюленя.

Вечером того же дня три аборигена, с которыми мы успели подружиться: Евадю, Моголя и Лёнька, – повезли нас севернее по морю, а затем вверх по реке в оленстадо. Эти трое были рыбаками, а в окрестной тундре кочевали их родственники-оленеводы, для которых нужно было отправить мешок с хлебом. Да и просто, ребята давно не видели родню. Нам было сказано, что чумы, в кои направляемся, стоят недалеко от берега реки и останется пройти чуть-чуть. Через три часа плавания мы пошли пешком. Ориентиром служила большая бревенчатая тренога-маяк, едва видимая на горизонте. Время – около двадцати трёх. Тундра мягко стелилась под ноги. Под сапогами причмокивала вода. Первые километры. Проклятый мох не даёт нормальной опоры. По заболоченным участкам идти и вовсе неприятно. Хлюпаем своими броднями, как слоны, но движемся быстро. Хнычет Лёня Лапцуй. Во-первых, он не может шагать настолько быстро, во-вторых, он постоянно хочет пить. Сам я иду резво, радуясь своим длинным ногам.

Режим движения такой: час пути – минуты три-четыре перекура. К половине второго добрались до маяка. Чумов там не было. Минут пять раздумывали. Продолжили путь, повернув почти в обратную сторону. Набирается усталость. Я начал спотыкаться. Через какое-то время нашли место старой стоянки и следы каслания. Идём по ним.

Темпа стараемся не сбавлять, но это уже не ходьба, а ад. Чувствую, что ноги окостенели, дорогу выбираю всё меньше: мох – так мох, болото – так болото. Наши переходы всё короче, остановки всё длительнее. Они продолжаются уже минут по десять. За это время кто-нибудь успевает уснуть и увидеть сон. Уж совсем одуревшие движемся дальше. На часах – четыре утра. От моей былой резвости ничего не осталось. Зверски хочется есть. Начались разговоры о том, что неплохо было бы поспать, а уж потом продолжить путь. Плетёмся набычившись. Наконец-то на горизонте видим две точки – кажется, чумы. Андрей обращается ко мне с риторическим вопросом: «И какой же человек с большим животом может повторить наш маршрут?». Я по-лошадиному киваю головой. Кое-как продолжаем движение. Поднимается солнце. Остановки наши увеличиваются до пятнадцати минут. Нижняя губа Лёньки зависла чуть не до живота. Но он уже молчит, потому как сил на звуки не осталось. Общее состояние – бредовое. Пьём воду из лужи с мелкими дафниями.

Андрея снова тянет на риторику: «Мало того, что мы добрались до Гыды, мы пошли на корабле. Мало нам Карского моря, мы остались в Няхар-яхе. Но и этого нам было мало, мы отправились к черту на рога, в стадо».

Впрочем, вслед за этим мы с другом обсудили, где «чёрта рога»: здесь или южнее. Вопрос не случаен, ибо мы знаем, что прилегающие к Яваю острова, под милым названием Проклятые, действительно остались южнее.

Тем временем тащимся. Точки на горизонте не приближаются. У меня в глазах радужные вспышки. Только бы не растянуться в ржавой воде! Вот уже

отчётливо видно чумы, до них – километров пять. Мечтаю вслух о борще и сметане с хлебом. Ещё один привал. Встаём. Моголя и Евадю остались лежать. Один из них, засыпая, бормочет:

– Ребята, мы поспим, а потом дойдём.

Андрей мудро подмечает:

– Силы наши на исходе.

До чумов – километра два. В моей хохляцкой голове среди шума и тумана единственная мысль: «Не вырубиться бы до того, как покормят!». Лапцуй поматывает губой за нашими спинами. Ещё минута отдыха, и теперь я плетусь позади всех. Андрей с остекленевшим взглядом шлёпает в авангарде.

Очередной овраг – последнее препятствие. До чумов – метров сто. Почти дошли, но радоваться – сил нет. Влезаем наверх. Последняя минута пути. Всё. Смутное распознавание действительности: какой-то мужик в ягушке на голое тело, ковш с водой, олени упряжки... Солнце высоко, половина шестого утра. После глотков холодной воды немного оживаем. Садимся на шкуры, за столик. Сейчас нас должны покормить.

На стол шлёпается кусок сырой оленины. Подаётся нож.

Проснулся я от слов Андрея: «Он спит? Ну и пусть!». Не открывая глаз, послал всё и всех к чёрту и уснул снова. До полного отдохновения.

Погода в тот день стояла солнечная, условия для съёмок прекрасные, этнография, что называется, «пёрла». В общем, Головнёв поработал хорошо. Что касается меня, то я почти всё время посвятил прогулкам по ближайшим окрестностям.

Чудеса начинались рядом. В здешней холмистой, лысой тундре, на границе с арктической пустыней, куропаточки выводки подпускали метров на пятнадцать. В одном месте видел, как щенок песца – неразумный подросток – пытался добыть птиц, но те каждый раз вспархивали у него перед носом, совершенно при этом не паникуя. Охраняя свои гнезда, надо мной, бесцельно слоняющимся, изредка угрожающе и отчаянно пикировали чайки. Весь день простоял полный штиль.

Наступивший вечер обволок туманом. Стойбище замерло, жители уснули. Докурив перед отбоем папиросу, я бросил последний взгляд на мир. Безмолвно, как привидения, то виднелись, то исчезали в белой дымке дремлющие упряжные олени. Дочь хозяина, девочка, которой не спалось, словно фея тундры, задумчиво стояла у чума, посреди этого немого кино.

Следующий день, 17 августа, пятница. Сороковые сутки экспедиции. С утра нас дважды кормили айбатов, то есть – свежим мясом. Потом тремя упряжками отправили к лодкам. Олени, шлёпая копытами по сырой тундре, бежали по известной только нашему проводнику прямой два часа. Мы тем временем думали, сколько же километров было давеча протопано нами по кривой? У лодок задавили и освежевали ездового хора, еще раз плотно поели. Пару часов ждали прилива, затем двинулись в Няхар-яху, сначала рекой, потом морем.

Вечером прибыли к Суздрову. Вяло поговорили. Отфиксировали процесс своего одичания и уснули, как убитые.

Финиш

Чем ближе к низовью, тем больше гусей. Время линьки, и они не летают. Гусыни сидят на гнёздах. Гусаки гуляют рядом. Для меня, речного извозчика, это выглядит обычно так...

Гребу. Вижу впереди гуся на берегу. Метров за сто он, оглядываясь, начинает улепётывать. Подъехав к месту его старта, наблюдаю гусыню на гнезде, которое в метре-двух от края возвышенного берега. Она не встает, не уходит и только тревожно вытягивает шею над ровным ёжиком здешней карликовой берёзки, рассматривая меня. Течение медленно проносит лодку мимо, мы расстаёмся.

Часть выводков уже вылупилась. Мамы гуляют со своими родными желтыми комочками по берегу, плавают по реке. Над ними летают крупные чайки, хищно высматривая момент, чтобы украсть младенца. Однажды мы увидели такое безобразие. Птенцов жалко, поэтому с тех пор иногда постреливаем в сторону крылатых ворюг. А в общем, гусей много. Настоящий гусиный роддом. В одном месте вижу на берегу скелет здоровенной нельмы. Вспоминаю рассказ Фёдора Яунгада как раз про эти места.

Поехали как-то несколько мужиков из посёлка Сёяха вверх по реке водки попить на природе. Попили. Собрались домой – сломался мотор. Гребут себе тихонько по течению, которое относит их медленно, но верно к родным жилищам. Один спит тут же, на дне дюральки. От нечего делать привязали к его ноге миллиметровую леску, на другом конце которой волочилась блесна. Ехали-ехали. Про блесну уже забыли. Ещё один товарищ закемарил. Тишина, скука. Один, полусонный, – на вёслах. Прочие – так. Час проходит, второй. Вдруг – крик. Мужик на дне дюральки орёт, и нога его дёргается. Попалось что-то! Перехватили леску в руки, давай вываживать. Полчаса мучились, осторожничали. Вытащили нельму килограммов на двадцать.

Вот это рыбалка! Лично я крупнее восьмикилограммовых не ловил. Хотя, говорят, бывают нельмы и по сорок кило. Ромка Бабшанов рассказывал.

На десятые сутки маршрута мы увидели посёлок. Наконец-то, вот он! Точнее, увидели мы антенны. Пока никаких крыш или, тем более, домов. Антенны. «Знаешь, Вадим, – говорит Андрей, – так в тундре всегда. Сначала видны антенны. Когда ходишь по посёлку, внимания на них не обращаешь. А на открытом пространстве они видны, Бог знает, откуда. Вот, сейчас кажется, что до них километра три. Но чёрта с два! На самом деле – километров пятнадцать».

Слушаю товарища и не верю. Думаю: «Какие там пятнадцать! Максимум пять, да и то вряд ли. Ближе уже».

Но проходит время, и я вижу, что Головнёв прав. Вот уже три часа движемся, течение здесь быстрое, помогает нам, а посёлка всё нет и нет. Одни антенны. Так, ёлки-палки, «близко».

Тем не менее, маршрут заканчивается, можно подводить итоги. Во-первых, мы остались живы-здоровы, не потеряли друг друга, никто не сломал ногу, никого не скопил аппендицит или ещё какая-нибудь напасть. При этом нашли несколько памятников, так что ходили не зря. Это – во-вторых. Красот насмотрелись. Будет что рассказать. Это – в-третьих.

Когда до посёлка уже рукой подать, Зелёная разливается широко. Дует сильный встречный ветер. Грести против него почти невозможно. Причаливаем к берегу и решаем оставшийся путь проделать пешком.

Снова мы навьючены, как верблюды. Головнёв, зараза, прёт быстро и без остановок, будто мы опаздываем. Прямо, спурт какой-то на финише. Вот уже не только антенны, а весь посёлок открывается перед нами. Через час мы на месте. Серые дома. Разбитые колеи. Пустые бочки. Какие-то брошенные металлоконструкции. Обычный северный бардак. Переползаем через какие-то канавы, шлепаем по деревянным тротуарам и деревянным коробам теплотрасс. Навстречу идут люди, поглядывая с ленивым любопытством на нас, нездешних. «А ведь вы, господа, – думаю про себя, – и не догадываетесь, откуда мы умудрились сюда прийти!».

Мы шлёпаем в местный сельсовет, чтобы отметить командировки.

Командировки! Даже смешно. Маршрут окончен. Вот уже Головнёв встретил кого-то из знакомых и что-то выясняет. Я имею возможность сбросить вещи и передохнуть. Курю. Хорошо. Почти нирвана... Когда-нибудь потом прочитаю Андрею то, что сочинил. Когда-нибудь потом...

Сколь многое за десять дней минуло!

Мы новый путь наладим на заре.

А то, что нами пройдено в июле,

Наверное, забудем в январе.

ПРЕЛЕСТЬ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ

Кому приходилось бывать в тундре подолгу, тот по-особому ценит хорошую погоду.

Конечно, и в непогоде арктической бывает своя прелесть, своё очарование. Но только потом, и если выживешь.

В далёком восьмидесятом восьмом, когда над тундрой висел переменчивый июль, мы с Андреем Головнёвым направлялись от Нейтинских озёр к посёлку Сеяха. Извилистый маршрут составлял около двухсот вёрст. Особенно трудными были первые, поскольку каждый тащил на себе пуда по четыре. Добравшись до большой воды, накачали «резинку», и рюкзаки поехали на ней.

Дни стояли тихие и солнечные. Озёра, окаймленные полями колотых льдин, отражали в синеве редкие облака. В безмолвии парили чайки, изредка стремительно проносились над водой и берегами утки. Под незаходящим

светилом льды таяли медленно, обещая раствориться только к началу новой зимы.

Блаженным был недолгий отдых у истока реки Зелёной: ласкающие взгляд песчаные дюны, теплынь и хариусы, как в аквариуме. Сказка.

А потом вдруг стало совсем ветрено, мокро и шибко холодно. Несколько суток мы клацали зубами. Хорошая сказка превратилась в страшную.

Ну, да ладно. Это всё – предисловие.

Тундра то реже, то чаще, но с неизменностью ломает какие-то представления. Идет ли речь о чудесах ландшафта или климата, о красках неба или вкусе воды, о пределах человеческих возможностей или широте людских душ, о скудости или изобилии.

В глазах идущего-путешествующего одно из преимуществ Арктики перед прочими весями громадной Родины в том, что здесь, на конкретном квадратном километре, где ступают сейчас твои ноги, никого из людей, возможно, не было год или десять. Вероятно, и двадцать. А, может быть, никогда вообще. Свежесть мха и травы. Непуганые птицы. Очарование первозданности. Иллюзия первопроходца. Светлая тайна открытого пространства.

Ясавэй переводится с ненецкого языка на русский как «землерой». Эта река с центрального Ямала утекает в Байдарацкую губу Карского моря, присоединяясь устьем к Юрибею. Наша задача – археологическая разведка на протяжении примерно сотни километров. Главный – Шура Соколков, неглавные – я и студент Серёга Сурин. Только что десантировавший нас и растворившийся в синем горизонте «Ми-8» – сигнал к началу дороги. Ровно через неделю такая же «вертушка» заберет нас в другой, обозначенной на карте точке.

Идеальная погода летней тундры – солнце и лёгкий ветерок. Если ты в своё время успел помыкаться, то спешишь нарадоваться этому чудному сочетанию. Сухо, и комары не заедают...

Сурин со свойственной ему псевдомузыкальностью мурлычет: «О, море в Гаграх! О, пальмы в Гаграх!». Радостно-торопливо он распаковывает рюкзак, доставая двести граммов спирта. Больше у нас нет, если не считать бутылки «Агдама». Но через три дня у меня – день рождения. Так что портвейн мусульманского разлива пока – неприкасаемая заправка.

– Вадик! – заявляет торжественно Шура, – Я очень рад, что ты прихватил столько еды. В прошлом месяце мы без тебя сильно отощали. Давай, выпьем за начало и за сытость!

Производственная цель – обнаружение археологических памятников – кажется рутинной. Мы к ней без трепета: будут – значит найдём. А вот погода, погода!.. «Солнце! Ты посмотри, какое солнце в вышине...».

Топаю с ружьём по берегу. Болотники шоркают по кустикам карликовой березки, неслышно пружинит ягельник. Чуть позади Соколков как собака «обнюхивает» песчаные выдувы, керамику ищет. Планшет через плечо, в руках сапёрная лопатка. Иногда напяливает очки. В общем, вид у него деловой.

Справа – по реке – Сурин гребёт на байдарке, за которой телепается на привязи резиновая лодка, груженная парой рюкзаков.

А чего бы ни грести, по течению-то? Блещет речная рябь, слепит глаза. «Солнце! Ты посмотри...». Тьфу! Опять привязалось... И на кой чёрт я ружьё взял? Никакой живности. Даже гагар не видать. А ведь уже полдня топаем. Скучновато, когда без событий!

События пошли на третий день. Шура начал находить памятники. Одному из них суждено стать знаменитым. Через год Соколков сотоварищи выкопает здесь уйму дерьма, оставленного легендарными сихиртя – исчезнувшим к семнадцатому веку племенем тундровиков.

Как позднее предположат историки, племя это погубили предки нынешних «коренных северян». А всё, что осталось от предыдущих, находит и копает Шура. Конечно, не только замороженные в вечной мерзлоте «органические останки», а в первую очередь всяческие черепки, остатки жилищ, наконечники стрел, украшения, ножи и прочее. Но попадают и мёрзлые фекалии в прямом смысле. Ковыряться и в них тоже – издержки профессии археолога в Арктике. Сейчас мы только собираем керамику на выветрах, фотографируем да помогаем Шуре рисовать планы. С рулеткой бегаем.

Идти можно круглые сутки. Практически одинаково светло. Так что разбиваем палатку, лишь когда устаём. Обычно это бывает в два-три часа, как раньше было принято говорить – пополуночи. Спим, пока не выспимся. Курорт. Здоровый образ жизни.

Особенно силён спать студент Сурин. Крепок. Причём, у него редкая аномалия: наутро помнит все сны. В минуты отдыха он охотно их пересказывает. Без радио и телевизора – это единственные новости «из иных миров».

Я опять не могу сомкнуть глаз. В палатке тесно, и соколковский затылок прямо у моей переносицы. Тишина. За Соколковым еле слышно посапывает-похрюкивает студент, наблюдая мозгами очередную порцию сюрреализма.

Вдруг из абсолютного наружного безмолвия начинают рождаться звуки.

Тихие, неясные, они становятся всё более отчетливыми. Нет, уже определённо, не кажется! Но, что это может быть? Ничего подобного слышать не приходилось. Встать бы, но ведь сон тогда разгонишь окончательно и не выспишься точно. А завтра опять «пилить» весь день...

Вот звуки громче и громче. Как будто табун коней по тому берегу бежит. Да что это, черт возьми?!

– Шура, ты спишь?

– Нет!

– Что это там такое?

– Черт его знает!

– Посмотрим?

– Давай!

Звук тем временем тает.

Мы выбрались из палатки. По противоположному илистому берегу неширокой реки бежало, размахивая крыльями, десятка три-четыре гусей. Они уже удалялись, унося с собою шум.

– Ну и чудо! Топают, как лошади!

– М-да...

Легли опять. Через некоторое время, сдавшись перед бессонницей, я снова выбрался наружу. Курю. Солнце поднимается над безветренной тундрой. Тишь да гладь. За далёким поворотом реки летает одинокая чайка. Там, где недавно пробежали гуси, стоят два оленя. Мама и детёныш-подросток. Ну прямо телепередача «В мире животных»!

– Шура! Шура! Спишь, что ли?

– Чего тебе?

– Смотри!

– Ну, что опять?

Соколов откидывает полог и вопросительно щурится на меня.

– Смотри туда! Что делать будем?

– Ничего не будем. Не стрелять же!

Через несколько суток кончилось изобилие, а потом и еда вообще, если не считать муки, картофеля и «Агдама». Ещё была соль. Ружье из украшения превратилось в орудие промысла.

Гусей мы больше не видели, но ближе к устью реки всё чаще попадались гагары. Осторожные, они не подпускали на выстрел. А потом повезло. За полчаса я подстрелил куропатку, гагару и увидел белую сову. Зная, что ненцы очень даже уважают её мясо, стал подкрадываться. Через пять минут уже тащил добычу к байдарке, где оба моих товарища сидели в ожидании результатов охоты.

Получилось трагикомично. Сова оказалась недостреленной, и, когда Соколов протянул руку, чтобы положить птицу в лодку, здоровенная четверня полярной королевы в предсмертной (или посмертной) судороге впилась в шурино запястье. «А-ай!» – воскликнул Шура. Пришлось чем попало колотить хищницу по голове. Потом археолог, шипя и ругаясь, задрал штормовку с поддетым свитером. Кожа оказалась проколотой когтями, из ранок выступила кровь. Шура дул на больное место, как маленький.

Сварили всё в одном котле. Самой вкусной оказалась сова. Она была действительно белой. Белее курятины. И вовсе не пахла мышами. Как, впрочем, и гагара не пахла рыбой.

Очередная остановка на ночлег знаменовалась открытием любопытным.

Разместились, как обычно, над рекой. В этом месте в Ясавэй впадал мелкий безымянный ручей. На часах была полночь, на горизонте – солнце. Как и положено в летней тундре.

На устье ручья изредка плескалась рыба. «Наверное, нельма гуляет, – подумал я, – Однако, нашла для этого странное место...».

Пока мои товарищи укрепляли палатку, направился с чайником за водой.

Перешёл ручей, зачерпнул, развернулся. В шаге от берега в мою ногу ткнулась

рыбина. Непроизвольно «выпнул» её на песок. Двухкилограммовый щёкур запрыгал по суше, а я, естественно, радостно заорал.

В два прыжка друзья оказались рядом. Сурин схватил подарок случая обеими руками и ошалело водил сияющим взглядом. «Ничего себе!» – так можно было перевести наши восклицания в тот взбудораженный миг.

Через несколько минут мы увидели сквозь прозрачную воду ручья, что по нему в одиночку и группами шастают другие, подобные первому экземпляры. В обмелевшем устье глубина не позволяла проходить свободно, и они, цепляя дно брюхом и трепеща, яростно прорывались в реку. Именно на такую штуквину я и нарвался. Вернее, она на меня.

Второпях попив чаю, мы занялись «промыслом». Шура, правда, быстро остыл. А вот мы с Суриным больше часа бегали туда-сюда и вернулись с ног до головы мокрые, но довольные уловом.

Следующие сутки мы не снимали палатку, совершая обход окрестностей. Нашли ещё пару древних стоянок. Вернулись. Примерно в двадцать три ноль-ноль ручей вновь стал наполняться рыбой, желающей прорваться в реку. Мы с Суриным опять носились в припадке первобытной промысловой страсти, как полоумные. Ловили руками, давили ногами, били палкой.

Отныне мы знали, как очень давние предки обходились без удочек, сетей и динамита. Была бы рыба...

Сейчас я стал равнодушен ко всем праздникам. А тогда во мне сидело священное отношение ко дню рождения. В «день ангела» я всегда носил с собой паспорт. Помню, как-то раз в ресторане на берегу Черного моря меня отказались обслуживать по причине предстоящего закрытия. А показал паспорт – принесли водку и закуску. Причем для водки специально нашли заказанный подвыпившим именинником граненый стакан.

В этот раз ресторан не грозил, но отметить надо было. Пусть в заначке всего бутылка портвейна, зато обстановка какая!

Каждому из нас, как Паниковскому, хотелось гуся. И он наконец-то появился в поле зрения. Тихонько гребя на байдарке, мы с Серёгой увидели лапчатого метров за сто пятьдесят. Серая птица настороженно, но не торопясь, улепётывала от нас по берегу. Было время линьки, когда гуси бегали и плавали, но летать не могли. Такой «пешеход» попался и нам.

Высадившись и сделав дуговую пробежку за кустами, я стал в засаде. От прибрежного песка отделяла небольшая полоса ольховника. Издалека очень медленно, прижимаясь к берегу, грёб Сурин. Птица, оглядываясь, шлёпала перед ним вдоль кромки воды. Я подпустил нашу цель поближе.

Добычу замочили в мудро прихваченной из дома лимонной кислоте. Ближе к полуночи остановились. Разожгли костёр, вытащили остатки картошки. Выставили «Агдам». За двадцать минут до истечения положенного срока автоспуск «Зенита» щёлкнул памятный кадр. Мы подняли кружки и зачерпнули ложками тушеный картофель с гусятиной – невиданную роскошь пешего маршрута.

Скоро экспедиция заканчивалась, и за нами должен был прилететь вертолёт. От всего этого и чудной погоды охватывала улыбчивая беззаботность. Правда, спать после празднования почти не пришлось. В окрестных кустиках, под вуалью тумана, начали периодически орать куропатки. Попытки разогнать их ни к чему не приводили. Не будучи в состоянии уснуть, мы по очереди вставали, бродили по зарослям, кричали, стреляли. Через полчаса куропатки опять злились своими криками.

Выглянув утром из палатки, были удивлены заново. По соседству паслась та же парочка оленей, которую мы недавно видели. Экспедиция словно дарила картинки из букваря.

«Символы тундры» не очень-то боялись нас. Кто-то из парней предложил поймать рогатую животину петлей, привязать, как домашнюю козу, к колышку и удивить этим прилетевших пилотов. А, может, даже увести в Салехард. Кому-нибудь в подарок. Но ничего не вышло. Парнокопытные ходили кругами и, кося на нас лиловыми глазами, ели ягоды в стороне от ловушки.

Мы обнаружили крохотные остатки масла. Разочаровавшись «в охоте» и маясь бездельем в ожидании вертолёта, стали печь на крышке котелка пирожки с морошкой. Добавили ещё один бесподобный для пешей разведки штрих.

Кстати, в той экспедиции нам довелось увидеть, сколько бывает этой самой морошки. Наш путь преградила пологая, лёгкая возвышенность – жёлто-оранжевое поле. Чтобы обойти «грядку» с крупными, будто клубника на бабушкиной даче, спелыми ягодами, нужно было брести довольно долго. Причём, в отличие от культурных родственников, морошка не пряталась под шапкой листьев, а создавала сплошной, празднично-пламенного цвета ковёр. И сесть или ступить на том ковре было некуда. Ягоды были повсюду и густо. Понимая, что добро ничьё и всё равно никогда не будет съедено, мы, тем не менее, бережно ставили подошвы бродней. Жаль было такую красоту. Аккуратно обобрав перед собой участки, ложились на брюхо и продолжали блаженствовать в новой позиции. Вот это был смак!

Поскольку морошка имеет свойство не надоедать, мы долго ползали на животах, пока археолог-руководитель, опомнившись, не погнал нас дальше по маршруту. Удивительную тундровую «ниву» покинули с сожалением и памятью на всю жизнь.

Конечно, встречались ягоды и до, и после. Но чтобы столько враз!..

Затем было ожидание вертолёта и полное двухдневное безделье. Слуховые галлюцинации: летят – не летят. Рюкзаки то запаковывались, то распаковывались. Наконец-то вертолёт материализовался, сделал круг и присел на бывшее кострище. Яростно «заштормила» волнами окрестная растительность. Неосмотрительно оставленное сиденье от лодки – многослойная фанера под вихрем авиачуда взлетела и заехала Шуре между глаз. Тот упал, но, преодолевая боль и почти теряя сознание, снова вскочил, продолжая забрасывать рюкзаки и прочий скарб в транспорт. Забрались и сами. Бортмеханик хлопнул дверью. Пилот добавил газа.

Свист, грохот, вой. Вибрация корпуса. Песчаная буря под шасси. Подъём сотен лошадиных сил на небеса. Сладкий, тёплый запах авиационного керосина в полумраке салона. Разворот на курс. Пройденные места остались за горизонтом.

При видимости «миллион на миллион» наплыло, раскинулось за иллюминаторами Карское море. Показалось невероятное, фантастически заболоченное, изрезанное паутиной речушек и ручьев, илистое байдарацкое побережье. Его уникальное безобразие не красил даже солнечный день.

Дробный гул винтов. На лбу Соколкова вздувается голубой рубец. Зато в душах – одна гармония. Экспедиция остаётся в памяти яркой, разноцветной картинкой. Улетая домой, теперь можно посмеяться и над шуриным «увечьем». Мы покидаем тундру, уставясь в открытые иллюминаторы, жадно впитывая взглядом залитые светом просторы, хрупкую и наивную планету по имени Север. Она оказалась так добра.

Подсоленная у ручья добыча, как доказательство недавних чудес, отправляется в рюкзаках до Тобольска и вскоре будет съедена в честь окончания странствий большой околонушной компанией. Экспедиционный народ, вернувшийся со всех концов Западной Сибири в лабораторию, будет до следующего полевого сезона вспоминать лето, галдеть, звенеть стаканами. Сквозь сигаретный дым будет орать музыка.

Через полгода, в феврале-марте, начнёт нарастать коллективное помешательство, подогреваемое памятью о предыдущем сезоне. И вновь будет грезиться тундра, и снова защежит под ложечкой у каждого полевика. И на бесконечно повторяемый вопрос «А помнишь, Шура?..» – Соколков будет рассеянно-блаженно улыбаться и, вздыхая, кивать головой.

Но это состоится потом. А сейчас лётчики, не закрывая кабину и не стесняясь нас, единственных пассажиров, весь рейс до Салехарда, кажется, пьют водку. Мы не беспокоимся, хотя про эдакую разухабистость «рыцарей неба» даже не слышали.

Да и какие могут быть волнения в хорошую погоду?!

КАК Я БЫЛ ОЛЕНЕВОДОМ

«Ан-24», долго и натужно зудя винтами, перелетел залитую водой Западную Сибирь и развернулся, проваливаясь над Ангальским мысом. После недолгого пробега колеса замерли на ребристом стальном покрытии взлетно-посадочной полосы Салехарда.

Студенты-историки Белич, Головнев и Гриценко вышли на трап. Лица ополоснул свежий ветер. Полярный круг встретил гостей ярким солнцем июля и температурой плюс семь. Я в первый раз оказался на Крайнем Севере.

Проходная аэропорта три дня спустя.

Примчавшись на попутке из гостиницы, мы хватаем рюкзаки и прочие мелочи. «Осторожней с камерой!» – говорит Белич. А я и сам понимаю, что с

кинокамерой нужно быть осторожней. Не только потому, что это вещь хрупкая и дорогая, но и потому, что она – кормилица и пропуск в красивую жизнь. Быстро шагаем, почти бежим к вертолету. В голове буйствует дикая радость: «Надо же, получилось!»

Вчера зашли в контору совхоза «Салехардский». На плече Белича висел черный кожаный кофр с самодельным, неграмотным, но впечатляющим любого советского человека белым трафаретом «Кино».

– Здравствуйте! – сказали омские парни. – Мы – экспедиция из Москвы. Нам бы попасть на Полярный Урал к оленеводам.

– А-а! Так вы и есть та самая киногруппа, которую мы ждем?

Андрей с Игорем переглянулись. И хором соврали ещё раз:

– Да!!!

– Завтра в одиннадцать будьте в аэропорту у ПАНХа.

ПАНХ расшифровывается как Применение авиации в народном хозяйстве. Это подразделение есть в любом аэропорту, в том числе и в салехардском. В его ведении здесь в основном вертолеты «восьмерки».

– Спросите там Палтырева Валентина Митрофановича. Это наш зоотехник... – и ещё что-то почти кричат нам, быстро уходящим, вдогонку.

Для пользы дела третий день мы занимались хлестаковщиной. Кофр с трафаретом неизменно производил убойное впечатление на начальников и подчиненных. Мы были вхожи в любые кабинеты, исполнялись все наши пожелания.

Теперь же «Операция «Хлестаков» приобрела новое качество. Нас бесплатно везут на вертолете в горы к зырянам-оленеводам. Мы охвачены радостным волнением.

В салоне взлетевшей «восьмерки» кроме нас – тот самый, сухощавый, мрачный, чем-то недовольный Палтырев, а также несколько женщин в национальной зырянской одежде и девочка-подросток. На сером дюралевом полу – гора каких-то коробок и мешков.

Перелетели широченную Обь. Втянулись в горы. Со вчерашнего дня мне известно, что в горы пускают не всех пилотов. Здесь нужен специальный допуск, особая квалификация.

Красотища! На дворе – середина лета, а тут – то зеленые мхи, то белые снега. Солнце. Синее небо. И главное – местность кривая. Горы!

Белич, открыв иллюминатор и загнувшись буквой «зю», стрекочет камерой.

Садимся. Медленно теряя последние метры высоты, вертолет трясется-бьется, как эпилептик. Двигатели грохочут с особым напряжением.

Сели.

Винты перестали крутиться.

В установившейся тишине стукнула-грохнула распахнутая дверь салона.

Спрыгнул бортмеханик.

«Здравствуй, романтика!».

Позади разгрузка. Вертушка улетела. Мы сидим в большом и подчеркнуто-чистом чуме на шурах. Вокруг нас – пастухи. Хозяйка чума молча и четко

обслуживает присутствующих. Перед нами – маленький столик кочевников. На столе – горячее, парящее рагу из оленины, зырянские шаньги, водка. Оказывается, что сегодня великий православный праздник – Петров день. А зыряне – люди религиозные. В каждом чуме за очагом – по дюжине икон. Через пару часов праздник набрал силу. Выходим наружу. «Господи, какая красота!». В полукилометре от нас, в центре долины, бурлит-шелестит река Лонготьюган. Справа, совсем рядом, – впадающая в неё какая-то маленькая речушка с кристально-чистой водой. Цветут огоньки. Легкий ветерок несет над горной цепью редкие белые облака. Слева разбрелось по долине и пасется оленьё стадо. Говорят, что две тысячи голов. «Господи, какая красота!».

Бригадир по имени Федор тащит за рога к чуму упирающегося оленя. Через пять минут его уже распластывают. В полости скопилась кровь. Федор зачерпывает полкружки, протягивает мне: «Будешь?».

Деваться некуда. Еще весной в пустой университетской аудитории Головнев говорил: «Я приглашаю в экспедицию именно тебя, потому что ты не пижон и будешь делать и есть все, что предложат аборигены. Только так и должен вести себя этнограф».

Кровь теплая, жирная, сладкая, с черными сгустками. Аппетита не вызывает, но и рвотного рефлекса тоже. Благо, граммов двести водки я уже принял.

Вытираю губы.

«Вес взят», – думаю.

Все вокруг, кроме Игоря Белича, тоже пьют кровь. Кое-кто, выпив, покрякивает. Руки и хохочущие лица измазаны.

– Какой кусочек тебе отрезать? Мясо, печень, почку?

Смотрю на Федора. Я не знаю, что именно пойдет легче. Пытаюсь угадать.

– Ну, давай почку.

– Держи!

Почка – горячая и упругая. Она похрустывает, когда я пытаюсь её разжевать.

Проглотил.

– Всё! Больше ничего не надо!

Водка на свежем воздухе. Водка в чуме. Очень весело. Очень шумно. Все счастливы, особенно мы трое. Мы уже чувствуем себя в доску своими здесь, в горах, среди собак, оленей и оленеводов, среди этих людей с мозолистыми, крепкими руками и красными обветренными лицами. Время летит незаметно. Тем более, что за стеною чума – круглосуточный полярный день.

Впрочем, на самом деле и на часах уже глубокий вечер. Мужики по очереди, незаметно выпадают из компании готовенькие. Предпоследними клонятся, прилегают на шкуры мои друзья. Кроме меня всё ещё может сидеть только бригадир Федор. Он с трудом выговаривает: «Пойдем, выйдем!».

Выходим.

Тихая белая ночь. Стойбище спит. Даже собаки.

– Вадим! Оленей видишь?

Смотрю на стадо разошедшихся поодиночке между горами, по всей широкой долине две тысячи рогатых голов. Отсюда они мелкие, как букашки.

- Вижу.
- Короче, я пошел спать, а ты подгони оленей к чумам!
- Как?
- Обыкновенно.

И качнувшись, исчезает в полумраке первобытного жилища. Слышен короткий бряк-звон опрокинутой посуды. Тишина.

Для того, чтобы начать перегон стада, мне нужно удалиться от стойбища на пару километров. Иду, спотыкаясь о камни, переправляюсь через какой-то глубокий ручей. Опять иду. Оборачиваюсь. Чумы далеко-далеко. Между мною и ими «широким фронтом» среди оседающего тумана мирно пощипывают ягель или дремлют лежа олени. Сотни беззаботных, неорганизованных животных. «Эх-ма! Займемся организацией».

Начинаю.

Последующие часы я бегаю зигзагами по всей долине, бросаюсь камнями, ругаюсь и кричу. Несколько раз переправляюсь через ручьи и реку, потею, проваливаюсь в ледяную воду по пояс, трезвею. Едва держусь на ногах от усталости.

Снова бегаю, ругаюсь, кричу и бросаюсь камнями. Опять форсирую водную преграду. Опять выливаю воду из болотников. От меня практически валит пар. Согнувшись, упершись ладонями в колени, пытаюсь отдышаться. Смотрю на стойбище вдаль и по-черному завидую спящим там, в уютном полумраке, на мягких, теплых шкурах.

До чума осталась треть пути. Ноги гудят. Легкие, с избытком провентилированные горным воздухом, работают, как безотказные кузнечные меха. Солнце уже поднимается над долиной, сверкая на тысячах капель росы. Далеко-далеко, от стойбища в мою сторону движутся неясные мужские силуэты. Проснулись, значит!!! Кажется, что один из них – Федор.

Подошли. Встречаемся.

Вопрос Федора:

- Ты что делаешь?
- Оленей гоню к чуму.
- На хрена?
- ??? Ты же сам сказал!
- Ерунда какая-то. Зачем они у чума? Гони обратно!
- ??? Нет, парень. Я пошел спать!

Федор что-то говорит, но я уже не способен слышать. Трогаюсь. Почти в отключке, запинаясь и падая, добредаю до чума.

Последними силами снимаю мокрую одежду.

Залажу в спальник из медвежьей шкуры.

Провал сознания.

Моему знакомству с Крайним Севером уже более двух десятков лет, но могу сказать ответственно, что со случая полета к оленеводам на Полярный Урал я больше ни разу не видел столько комаров.

Кстати... Как-то пришлось быть единственным пассажиром на громадном транспортном самолете «Ан-12». Дело в том, что некоторое время один мой товарищ работал в Надымском аэропорту начальником смены, и это означало, что я мог улететь оттуда даже тогда, когда закончилась обкомовская броня. Так вот. Меня провели и завели. Набрали высоту. Сажу я себе тихонько среди каких-то тюков и контейнеров в чреве здорового авиасарая под названием «Ан-12». Вдруг из кабины выходит дядька в форме и спрашивает:

– Что, парень, скучно?

– Да нет, нормально.

– Скучно, скучно! На, хлебни кофейку!

Ну, я хлебнул. Беседуем. Любопытствую.

– А куда вам летать приходится?

– Куда угодно. Вот, например, сейчас сядем в Тюмени, разгрузимся и получим команду, куда двигать дальше. Всю страну уже облетали. От Молдавии до Чукотки.

– А что произвело наибольшее впечатление?

– Самое большее впечатление произвел Чокурдах.

– Где это?

– Это – на северо-востоке Якутии.

– Что же там особенного?

– А там комары – вот такие!

И летчик, смеясь глазами, развел большой и указательный палец, оставляя между ними сантиметра четыре.

Несколько дней после нашего прилета на Лонготъеган выдались исключительно погожими, теплыми и абсолютно безветренными. В июльской тундре это означает кошмар.

В ненецком календаре июль недаром называется «ненянг яры» – комариный месяц. А тогда он выдался какой-то особенный.

Комарами был наполнен весь воздух. Комаров было столько, что невозможно было нормально дышать. Комары лезли в рот и нос – хоть закашляйся, заплюйся, засморкайся. Невозможно было смотреть. Они бились в глаза и жалили веки. Глаза заплывали.

Среди этого океана комаров дополнительно с интервалом в пятнадцать-двадцать метров из летающих кровососущих тварей роились «столбы» диаметров в полметра и высотой до пяти.

Оленья стада сбилось в плотную кучу, и, обвеваемое дымокурами, сутками не останавливаясь, бегало кругом. В центре этой живой воронки по очереди отдыхали выбившиеся из сил животные.

Собаки-оленегонки изредка поскуливали, почесывая глаза лапами, и не могли долго находиться вне чума. Они лезли внутрь, не обращая внимания на незлобивые пинки хозяек. В каждом чуме почти постоянно тлел тот же дымокур, оставляя пространство для жизни, для дыхания только у самого ложа.

Наши спины в свитерах и энцефалитках, наши вязаные шапочки были плотно покрыты серой шевелящейся массой. Вынужденные часть времени проводить вне кочевого жилища, мы, конечно, постоянно мазались до одурения продуктами химпрома, от чего кожа лица болезненно горела. Но комаров это почти не останавливало.

По утрам, собираясь умыться, мы тщательно готовились. Натирались антикомарином, проверяли наличие в руках полотенец, мыла и зубных щеток. «Ну что, готовы?».

«Готовы!».

Откидывали полог и втроем стремглав мчались к ручью. Быстро-быстро плескались и скакали обратно, вытираясь на ходу. Падали на шкуры в чуме: «Ух!».

Гораздо сложнее было сходить пописать. Даже после предварительной химической подготовки. А ведь нас ещё и кормили...

В общем, эту яростную романтику словами не передать.

Комариный ужас сопровождался эпизоотией копытки. Практически каждый день оленеводы подводили к чуму заболевших оленей и привязывали веревкой. Их предстояло забить. Но между приводом и забоем проходил час, два, три. Все это время олень, и как правило – олененок, вынужден был лежать, съедаемый тысячами маленьких вампиров.

Зимой у оленя ресницы короткие, летом – длинные. Прекрасные, нежные ресницы символа Севера! И при этом...

Я больше никогда не видел таких обреченных, **горечных** глаз.

Потом подул северный ветерок. Комариный натиск ослаб. Олени, собаки и люди смогли немного вздохнуть. Нам всем предстояла перекочевка.

Через сутки – двое после окончания комариной пытки мужчины согнали стадо в сооруженный ими кораль и стали формировать упряжки, а женщины начали разбор чумов. Все бродячее хозяйство укладывалось на нарты, перевязывалось веревками. Наконец, аргиш тронулся и неспешно растянулся по долине.

Оленеводческий караван двинулся через мхи, каменные гряды и ручьи. Мы форсировали неглубокую бурлящую реку. Наискосок поднялись в горы, перевалили невысокое взгорье, спустились. Спустя несколько часов наше прежнее кочевье скрылось из глаз и мы вышли на новое пастбище.

Такого же качества и масштаба красота. Закатные облака, горы и краски Рериха.

Незабываемо.

Дней через десять нам нужно было покинуть гостеприимных зырян и возвращаться в Салехард. Как?

Тем временем один из пожилых оленеводов заболел. Он лежал под ветерком, на расстеленном брезенте и, опершись на локоть, подавленно и безучастно смотрел в никуда.

Радист вызвал санитарный рейс вертолета. Ежедневно мы слушали и оглядывали небо. Тишина.

На третьи сутки из-за гор в нашу сторону поползла букашка гусеничного вездехода. Вблизи он оказался внушительной, грохочущей и лязгающей траками машиной. Почти танком.

Подойдя к стойбищу и пустив с рокотом последнюю струю сизого дыма, агрегат затих. Из него вылез здоровенный мужик в запыленной и замасленной робе: «Здрасьте!».

Больной ехать на попутном вездеходе отказался. Сказал: «Не доеду». А мы через час тряслись в этом чудовище куда-то, на железнодорожный полустанок Полярный, до которого было около шестидесяти верст.

Линию нашего движения трудно было назвать дорогой. Вездеход мотало во всех направлениях. Грохот не позволял разговаривать, оставалось только смотреть.

Нам открывались виды на реки и горы. На одном участке, где островерхние высоты были покрыты глубокими снегами, местность внешне ничем не отличалась от Центрального Кавказа. Разве что растительностью.

Полярный, как оказалось, назывался еще Сто десятым километром или поселком Полярно-Уральской геологоразведочной экспедиции – ПУГРЭ. Располагался он в долине реки Собь.

Здесь стояло около полутора десятков барачков, магазин и крошечный домик «вокзала». Еще на окраине грязно белело выцветшим брезентом несколько больших палаток с топчанами, где нам какие-то люди позволили переночевать. Мы распаковали вещи. Съели банку тушенки.

Не известно с чего ради к нам заглянул однорукий мужчина лет пятидесяти, под хмельком. Не помню, почему через некоторое время я оказался в другой палатке с этим одноруким и его таким же поддатым другом. Они угощали меня малосольным хариусом и рассуждали о проблемах трудоустройства для «настоящих, истинных геологов». Мне же причина представлялась очевидной: мужики были сильно пьющие. Но я помалкивал и поддержать колоритную компанию отказался.

– Хоть у кого спроси, кто такой дядя Леша – хозяин тундры? И тебе скажут! – патетически восклицал однорукий, вытирая тыльной стороной ладони свои губы после очередной дозы спирта.

– Хорош, Алексей! Баста! Ты как хочешь, а я возвращаюсь в Ленинград! – хмуро говорил второй. – Вот только денег на билет найду. Может быть, завтра. Я грустно слушал, но уходить не хотелось. В первый раз передо мной сидели геологи, хоть и безработные. Обочина жизни Севера. Кажется, их было жаль. После гармоничного мира природы, оленей и оленеводов передо мной беспомощно копошилось человеческое дно.

С тех пор я посещал Полярный Урал еще несколько раз. Бывало всяко, но неизменно интересно. Хариусы, дикий лук, горные зайчики. А чего стоит,

например, «подвиг» Стаса Кана, когда он сдуру забрался августовской ночью на ледник, а потом, остудив задницу, от голода и одиночества орал из поднебесья на всю долину:

– Вади-и-к! Ты где-е-е? Вади-и-к!

Я злобно отмалчивался, а эхо бросало этот неуместный корейский вопль от одного дикого склона к другому.

В общем, ездил я на Полярный Урал с друзьями по разным поводам, но истинная причина была одна: он притянул душу.

А вот на самом Лонгъюгане я больше не был. И никогда больше не пас оленьё стадо в две тысячи голов.

Впрочем, кто, где и когда делал это без собак-оленегонок? Хоть разок!

То-то же!

СЕВЕРНЫЕ РАЗНОСТИ

ФУФАЕЧКА

Было это в тот год, когда Валерка Езынги вернулся из армии, а по оленеводческим бригадам начали выдавать снегоходы.

Расставался молодой парень с гостившим в Яр-Сале родным дядькой, который в обеденное время отбывал на просчёт оленей в Порцы-Яху. А это же – важнейшее мероприятие. Имеется в виду, разумеется, просчёт оленей. Потому немного на дорожку выпили. Тем более, что путь не совсем близкий, шестьдесят с лишним километров.

И говорит Валерка дядьке:

– Давай, провожу тебя немного, а между делом и новый «Буран» обкатаю.

– Поехали!

Валерка тогдашней осенью носил коротенькую фуфаечку без воротника. Сейчас таких фуфаечек уже нет, а тогда ему выдали, как и всем остальным грузчикам на убойно-холодильном комплексе. Там такая кацавейка была в самый раз, потому что до двух десятков машин в день оленьей грузить приходилось – не потей, только поворачивайся. При среднем весе туши в тридцать кило умудрялись грузчики на одни весы сложить больше тонны. Профи!

Короче говоря, в рабочей фуфаечке и обуви на микропорке поехал Валерка снегоходом дядьку провожать. На дворе – конец октября. Погода солнечная. Не холодно. Так что решил с собой Валерка сани не брать и даже капот бурановский дома оставил. Чтобы двигатель не перегрелся.

Через пять верст остановились на том месте, где все ярсалинцы любят тормозиться и меж собой место это так и называют – «остановочный пункт». Выпили. В душе и природе было тепло и хорошо. А коли так, то зачем домой торопиться?

Решились еще на десяток километров. Дядька на своем снегоходе впереди.

Проехали. Стали. Отметили мелочь – потерял валеркин шарф. Хрен с ним!

Опять выпили.

– Давай до самой фактории провожу тебя, чего уж там?

– Давай!

Между тем, любящих родственников развезло. И, как всегда, не вовремя. Во-первых, начиналась метель. Во-вторых, уже темнело, а вместе с капотом дома осталась и фара. При этом задний фонарь дядькиного «Бурана» увидеть было не возможно, потому что и не было его, разбит. Вместо него имелся кусок белого целлофана, который в метель и трезвым не разглядишь. В какой-то момент он и растаял незаметно в серой мгле вместе с расслабившимся и беспечно давившим на газ дядькой.

В общем, очнулся Валерка в неизвестной ему долине речки, среди жидкого, убогого, забитого вечной мерзлотой и арктическими ветрами редколесья,

которое и редколесьем-то не назовешь – полторы палки. До ломоты окоченела оголившаяся под коротенькой фуфаечкой поясница. Это было в-третьих. Где находится дорога – Валерка уже не догадывался. Окутывала мгла. С трудом работающим мозгом он понимал одно важное: если потерялся – не дергайся. Если хочешь, чтоб тебя нашли, пережди на месте. К тому же, убийственно хотелось спать. Потому ярсалинец положил «Буран» на бок, снял сиденье и примостился на нём с заветренной стороны. Как собака.

Но спать было невозможно, холодно. Десять минут дрёмы менялись двадцатью минутами топтанья и попыток согреться. Между тем, одежда, главным элементом которой была грузчицкая фуфаечка, промокла и остыла. Мокрый снег валил, не переставая, уже несколько часов. Потом задуло с другой стороны, и под утро температура упала до нормального мороза. По закону природы сырая одежда заледенела и превратилась в панцирь.

Спать Валерка не мог, потому что коченел. Снег налетал вместе с порывистым ветром, и от этого бича Севера защищена была только голова, на которой сидела ушанка из песка. Все остальное нещадно мерзло. Сопrotивляясь стуже, организм дрожал в таком напряжении, что заболел брюшной пресс. Давным-давно заледенели ноги в микропорке и под тонкими носочками. Много раз за ночь Валерка отходил от снегохода, пытаясь, всё же, найти дорогу. Но скоро возвращался, боясь в темноте потерять «Буран» и с ним последнюю надежду, а равно – свою жизнь.

Среди всяких других неприятностей Валерке в голову лезла мысль, что, наверное, никто до сих пор толком не описал, что такое замерзать.

Светало. Светало так медленно, что временами парень сомневался в этом процессе. Но, всё-таки, светало. В очередной раз взгромоздившись на снегоход, Валерка, как ему показалось, увидел на горизонте чум. Или что-то похожее на чум. Какое-то пятнышко. Да, ему показалось, что там было какое-то пятнышко! «Если это пятно окажется деревом, я его выкорчую», – со злой иронией подумал заблудившийся, хотя чувствовал, что энергии не остается ни на что. Завести «Буран» Валерка не смог. И тогда плохо гнуцимися, немymi ногами он пошел.

Через километр пути встретилась глубокая ложбинка речушки, где снега, несмотря на самое начало зимы, уже намело по пояс. Её форсирование отняло почти все силы. Выбравшись из ложбинки наверх, Валерка увидел потерянную вчера дорогу. А впереди действительно темнел чум. Но до него оставалось ещё версты две. Мела ровная, ленивая, равнодушная метель, не спеша выдувая и вылизывая из деревенеющего путника последние силы.

Вот чум уже почти рядом. Видны две нарты и почти полностью занесенная снегом кучка дров. Собак нет. Наверняка, они там за толстыми, теплыми нюками* греются, глядя на очаг, или дремлют, не обращая внимания на возню хозяйки и редкое хныканье ребёнка в люльке. Ветер снаружи и потрескивание печи делают валеркино движение для оленегонных лаек неслышным.

За сотню шагов до чума вдруг отказали ноги, и Валерка упал, как подкошенный. Ощущение было абсолютно новым. Поскольку до жилища было

* Нюк – покрытие чума, зимой – из оленьих шкур

уже рукой подать и страх замерзнуть исчез, Валерке стало даже любопытно: что за ерунда?!

Он встал, но снова упал, не сумев сделать даже шага. «Что ж, – вяло подумалось, – поползу, как тот летчик из школьной хрестоматии». Догреб до входа. На мертвецки побелевших запястьях снег уже не таял. Поднял голову. Из трубы над чумом струился дымок. Заползать было стыдно. Поэтому, опираясь на спасительную меховую стену, невероятными усилиями встал. Откинул оледеневший нюк и, не удержавшись, рухнул внутрь. Вскочили и заголосили лежавшие у входа собаки. Ошарашенные хозяева застыли с блюдцами утреннего чая. Внезапное валеркино появление-падение из пурги, да еще в таком виде, в коротенькой фуфаечке, стало шоком. Стыдно было Валерке за свою беспомощность, но даже «здрасьте» не мог он вымолвить. Вместо этого из глотки доносилось что-то слабо шипящее. Как он ни старался.

* * *

То был чум Няданы Худи. Семья сидела в оцепенении, пока сам хозяин не опомнился и не мотнул головой. Женщины бросились к Валерке, пытаясь растегнуть фуфаечку, но это было невозможно. Тогда пуговицы отлетели под лезвием ножа, и одежда, сдвинутая с плеч, упала, глухо стукнув о доски. Рукавицы, когда-то сшитые из тонкого байкового одеяла, а теперь превращенные в два куска льда, были положены к самой печи и затрещали под напором её жара. Кое-как снятые джинсы поставили у входа. Хозяйство Худи в тот день не должно было находиться на этом месте, просто Нядана, закончив подсчёт своих оленей в Порцы-Яхе, решил начать перекочевку в сторону Яр-Сале для забойки на двое суток раньше запланированного. Это и спасло Валерке жизнь.

После горячего чая и мяса путник откинулся на подушки, затянулся сигаретой и отключился. Хозяин, посплюнув палец, притушил огонёк. Так, через несколько часов, в этой же позе Валерка и проснулся с сигаркой в зубах. Горела керосиновая лампа. У чума стояли запряженные нарты.

Заново попив чая, поехали искать «Буран» и нашли быстро. Пока думали, что делать дальше, послышался шум мотора, и из вечеряющей мути появился на снегоходе валеркин дядька. С восклицаниями «Живой! Живой! Живой!» он кинулся к племяннику, а племянник с хрипом и шипением: «Сволочь! Ты меня бросил!» схватился за хорей.** Конечно, Валерка шутил.

Оказывается, дядька всю ночь, не сомкнув глаз, проколесил в поисках, и ещё на тот момент в Порцы-Яхе уже стояло наготове несколько упряжек в помощь. Валерка заново обрел голос только через пару месяцев, когда, наконец-то, выбрал время сломавшийся свой «Буран» притащить в поселок. Мужики тогда шутили: «Ты нашел голос там, где потерял». «Хорошо, что потерял только его», – думает с тех пор Валерка, вспоминает свою пижонскую кацавейку и без малицы в тундру больше не суется.

** Хорей – шест для управления оленями

А отцу, то есть старшему дядькиному брату, они эту историю рассказали только три года спустя. В виде анекдота.

НАГРУЗКА НА ЗДОРОВЬЕ

Верный способ найти интересного человека – попросить помочь в этом интересного человека. Так Андрей Задоя свёл меня с Кузьмичом.

Уже полтора десятка лет круглогодично и почти безвылазно Кузьмич живет в избе на берегу протоки. А вообще, ему скоро исполнится семьдесят четыре. И еще немного статистики.

В жизни он перенес семь операций. Удален желчный пузырь, вырезано три четверти желудка, был компрессионный перелом позвоночника, сломаны пять ребер и челюсть. Двадцать дней он когда-то провел в коме после удара доской по голове. Доска, кстати, раскололась.

Уже из этой цифири ясно, что приключений хватило бы на многих. Но достались они одному Виталию Кузьмичу Карабутову.

- Меня давно списать пора, а я все еще бегаю, – говорит Кузьмич. – Впрочем, осталось недолго. Двадцать пять с половиной лет.

Он поворачивается к закипевшему чайнику, и я обращаю внимание на основательную шею и убедительную пятерню.

- А чтобы остеохондроза не было, – добавляет седой как лунь брат просторов, – существует элементарное средство: повесь на стенку годовую подшивку газеты и ежедневно молоти кулаками, пока она не превратится в пыль. И твой остеохондроз пройдет.

Пей чай. Вот – сахар.

Ребра мне сломали в Салехарде. Дело было осенью. Шел я один, а их пятеро. Сбили с ног, и ботинком по ребрам. Потом смотрю – опять ботинок летит. Я умудрился его поймать и вывернул ногу. Смог подняться. Тут меня было уже не взять. В общем, четверо остались на земле, а пятый на меня не пошел.

Через неделю они явились ко мне в балок, выставили мировую – десять бутылок. Тот, кому я вывернул ногу, пришел на костылях.

А вот случай в Сургуте. Это было в те времена, когда железная дорога там даже не планировалась. Наш городок стоял за аэропортом. Шел я домой в Новый год после ресторана. Девочку свою уже проводил. Выгляжу прилично, на мне все кожаное: куртка, шапка, перчатки. Узкая тропинка, навстречу – человек девять. Я, чтоб не мешать, шагнул с тропинки и пошел по снегу. Вроде бы почти разошлись, но вдруг мне кто-то щелк сзади по челюсти. Готово. Хорошо еще, что у шапки уши были опущены, а так он мне вообще бы все вынес.

Я поворачиваюсь и говорю ему: «Ты, поганец, что, не мог зайти спереди?». А он захохотал и говорит: «Я тебе правую сторону сломал, а теперь сломаю левую». Кулак его я поймал, перехватил одной рукой за кисть, а другой за локоть. Потом об колени. Хрусть, и готово. Рука его стала под девяносто градусов. Хороший прием.

Заорал он благим матом, Я его еще раз, в лоб. Он и скис, не комфортно ему стало. Тут все эти сволочи на меня кинулись.

В больнице я оказался вместе с женщиной. Её угораздило стать свидетельницей того, как меня били. Метрах в пятнадцати. Она говорит, увидела, что я один лежу, а все другие на меня прыгают. Я их по одному выщелкиваю. Но тут кто-то побежал, доску схватил, половую полутораметровую сороковку. Я её потом в больнице видел. В общем, сзади меня по черепу, и я ушел в аут, в снег. Женщина испугалась и закричала. Тот, кто меня ударил, подбежал к ней и долбанул. Она потеряла сознание. Так нас обоих в снегу «скорая помощь» и нашла. Двадцать дней в больнице я без сознания пролежал. В результате этой истории я в Надым и попал. Тот, кто мне сломал челюсть, оказался сыном второго секретаря райкома партии. А я кто? Я никто. Я ему лапу сломал. По слухам, которые дошли через одного милиционера, они решили судить меня. Но начальник милиции говорит тому секретарю: «Подожди. Давай проанализируем всё. Ты видишь, что в Сургуте творится? Хорошо, что друзья Карабутова не знают пока, что ты – отец своего сына. А то и тебе вломили бы». Короче говоря, они организовали мой отъезд сюда, чтоб от греха было подальше.

СКУЧНАЯ ЗИМОВКА В ПАНГОДАХ

Так, в 1968-м приехал Карабутов в Надым, проработал год. Их бригада бочки ставила под горюче-смазочные материалы.

Приходит однажды прораб Конопля Василий и спрашивает:

– Кузьмич, ты сможешь один в лесу жить?

– Ты что, смеёшься надо мной, – удивляется тот.

– Нет, – говорит прораб.

– А в чём дело?

– Надо на Пангоды. Мы там будем организовывать участок, нужно жильё подготовить в заброшенном сталинском лагере. Неделю тебе на размышление там, на Пангодах. А через неделю мы пришлем бригаду плотников и других рабочих. Надо два барака отремонтировать, чтобы мы приехали и начали работу. Бросим стеллажи, будем варить трубу и гнать трассу. Это – решение треста.

Кузьмич знал, что Пангоды – это местность между Надымом и Новым Уренгоем, где при Сталине руками зэков построили станцию секретной железной дороги. Потом эту дорогу забросили, зэков перевели в другие, далёкие отсюда края. И небольшой, на сотню сидельцев Пангодинский лагерь, обслуживавший автобазу, на то время уже полтора десятка лет пустовал.

Дали Кузьмичу самолет «Ан-2», взял он собаку и двустволку свою двенадцатого калибра. Высадился.

Это был конец ноября. Снег лежал уже довольно глубокий, поэтому толком разглядеть территорию было сложно. Лагерь был огорожен колючкой, сохранились все вышки, но половина столбов подгнила и валялась.

Сначала пришлось три ночи в снегу провести возле барака. Холодно было. Ночевал в спальном мешке-полutorке с собакой вместо грелки.

Из трех барачков, что там стояли, выбрал он один. Нашел комнату, которая была более-менее. Рамы поменял, дырки заткнул, печь разобрал и снова собрал – отремонтировал. Потом затопил печь, тепло стало. Квартирка получилась нормальная.

Продовольствия Кузьмич взял с собой на всякий случай много: муки, дрожжей, сахара, чая. В течение полумесяца он умудрился сделать трехкомнатную квартиру. Работал, конечно, не по пять часов, а сутками. Сильно уставал – спал, потом опять работал. В темноте помогал фонарь.

Через некоторое время он еще одну печь отремонтировал, и тепло стало во всем бараке. Дошел черед до мысли «А как же мне связь наладить?». Дело в том, что в нескольких десятках метров телефонная линия Москва – Игарка проходила, провода на столбах висели.

Когда отремонтировал квартиру, начал по вышкам шарить. Нашел кучу телефонов-вертушек, один телефон понравился. Был он в деревянном корпусе. Когда телефон оттаял, Кузьмич крутанул – крутится свободно. Значит, электричества там нет. Тогда прихватил он еще штук пять аппаратов и методом тыка собрал один годный к применению. Потом взял провода, загнул на концах крючки и начал искать связь. И залез, как оказалось, на центральную, министерскую линию. Крутанул телефонную ручку. А там какой-то строгий дядька спрашивает:

– Ты кто такой и откуда взялся?

Говорит ему Кузьмич:

– На Пангодах я, связь ищу.

А ему в ответ:

– Ты залез на министерскую линию, убирайся отсюда. Цепляйся к другим проводам: к самому нижнему и третьему снизу.

Созвонился «лагерник» с Надымом. Ему начальство говорит:

– Подожди, решаем вопрос.

И это «подожди» повторялось день за днём. Что ж поделаешь? Кузьмич продолжал осваивать окрестности, делать для себя маленькие открытия.

Лагерь-то был настоящий. В соседнем бараке кровати железные прикручены к полу. На койках этих бирки: десять лет, двенадцать, четырнадцать, десять... В столовой валялись алюминиевые кружки.

До него в этом лагере побывали сейсмики и бурильщики. Но молодцы ребята – ничего не разграбили. Все просто от ветхости сыпалось.

Потом составил Кузьмич себе план: суббота-воскресенье – отдых, понедельник – дрова таскать. Во вторник – на охоту.

Хлеб, мука, сахар у него, конечно, имелись. А остальное-то восполнять нужно. Боеприпасов взял достаточно, собака была отличная, лыжи наличествовали. Стали они со своим псом глухариков стукать. Их там много было, особенно возле будущего водозабора.

В декабре пошли с собачкой куропаток пострелять. Набредли на следы трех лосей. Пес тут же рванул вперед. Через некоторое время слышит охотник: «Ав-ав-ав». Подошел, смотрит, лайка их всех троих крутит. Кузьмич решил, что лосиху трогать нельзя, а большой лось-самец не нужен. Подстрелил годовалого лосенка. Мяса стало – завались.

Нашел он как-то завернутые в мешковину пять связанных верёвочкой пластин, от каждой из которых отходил проводок. Там же – коробочка с лампочками. Пластины интересно действовали: чем сильнее их сжимаешь, тем ярче лампочка горит. Нашел Кузьмич резину, перемотал пластины и под этой лампочкой несколько недель вечерами старые журналы читал.

Как-то днем послышался нарастающий гул. Что такое? К бараку подъехал гусеничный вездеход. Вышли из него мужики. Поздоровались. Обошли барак, заглянули, удивились тому, что в квартирке тепло. Осмотрели печку. Потом увидели телефон:

– Что? И позвонить можно?

– Можно.

– А в Москву?

– Да хоть куда, только крючки сейчас переброшу.

Позвонил один в Москву. Покачал головой, языком удивленно поцокал. Уехали.

Прошло еще месяца полтора, звонит из Надыма Василий Конопля:

– У нас тут есть нечего. Ты лося добыть можешь?

– Могу.

– Тогда я тебе через неделю самолет отправляю, успеешь?

Добыл им лося. Увезли.

Живут они с песиком дальше.

Как-то в начале марта проснулся Кузьмич оттого, что холодно стало и собака его на дворе лает, в окно снаружи прыгает. Это пёс открыл утром дверь и выбежал гулять, потом нашел лося и подогнал к бараку. И вот держит зверя и хозяина будит.

Выглянул хозяин в окно – сохатый стоит, на собаку особо внимания не обращает, но и не уходит.

А мяса-то не нужно! За неделю до того пес на Кузьмича стадо оленей-дикарей нагнал, парочка на снегу осталась. Крупные, не то что домашние, и шкура светлая. Но дело не в шкуре. В запасе еще туша лося лежала и семнадцать штук глухарей. Куда же больше?

И Кузьмич собаку при сохатом взял за ошейник и утащил домой.

Неделю этот кобель не разговаривал с хозяином, из-под кровати не вылезал и не ел ничего. Когда мужик пытался с ним заговорить, пес только зубы показывал и рычал. Через неделю терпение Кузьмича кончилось, притащил он ретивого охотника в кладовку и показал запасы: «Ну, куда ещё?».

Пес как-то сник. Успокоился. Видимо, понял.

В марте начал Кузьмич искать рыбу. Пробурил лунку в одном озере – поймал на мормышку лишь пару окуней. Потом, к весне стало клевать лучше.

Как-то произошел интересный случай. Пришел Кузьмич на старицу, что метрах в пятистах от барака. Раскопал снег метровой толщины. Продолбил лунку.

Сидит, рыбачит. Со стороны на дне этого снежного окопа рыбака не видно.

Вдруг собака зарычала. Встал Кузьмич, а в десяти-пятнадцати метрах – росомаха. Выбрался он от лунки наверх. Собака лает, но от человека не отходит, побаивается. А ружье-то в квартире осталось. Что делать? Осталось

только ругаться. Росомаха посмотрела на Кузьмича, посмотрела и ушла спокойно. Ему и рыбачить расхотелось, отправился домой.

Потом позвонил опять Василий Конопля:

– Соберись. Решение вопроса опять откладывается. Высылаю за тобой самолет. Собрался Кузьмич и на прибывшем «кукурузнике», в лыжи обутом, улетел в Надым. 28 апреля 1970 года это было. Вот так в одиночестве ему довелось провести зиму в Пангодах.

ХОТЬ ЧТО-ТО ВЕСЁЛОЕ

– Чего ж тебе при серой нашей жизни веселого рассказать? – вопрошает Кузьмич. – Ну, слушай.

* * *

Однажды, в августе какого-то года приехал в Надым второй заместитель министра «Нефтегазстроя». Фамилии Карабутов не помнит. Так вот он попросил, чтобы кто-нибудь показал местность дней за десять. Вызвал Кузьмича начальник – Резников – и говорит:

– Покажи, где ты был и что ты видел. А я закрою в табеле десять дней по десять часов.

– Согласен.

Карабутов вертолетчикам определил точки, куда нужно бочки с бензином выбросить, чтобы заправляться по пути. И они с замминистра проехали такой маршрут: ушли выше Танлово километров на пятнадцать, покрутились по ручейкам, потом спустились на полторы сотни верст, прошли Семиозерье, посмотрели Собачьи сора и Норинские протоки. Все это за десять дней. Рыбу ловили и на спиннинг, и на сеточку.

С собой продуктов почти не брали. И водки имелось на десять дней всего пара пузырей, да и то полбутылки они потом привезли обратно в Надым.

После окончания путешествия начальство собрало стол. Народа было мало, только самые доверенные лица. Замминистра встал и произнес тост за Кузьмича – за человека с фундаментальной памятью, который прошел столько километров и ни разу не заблудился. Прошел, в общем, без всяких эксцессов.

– Это надо уметь, – закончил речь большой человек из столицы.

«А чего не уметь, – подумал Кузьмич, – если все время по природе перемещаешься и всякое бывает. А когда что-то бывает, то все и запоминается. В том числе – география».

Вот стояла у него избушка на Подкове, это старица километрах в сорока отсюда. Появились забереги, и шука начала икру метать. Вскоре должно было начаться половодье. А поскольку избушка весной заливалась, то пошел он на лыжах приготовиться.

Добрался, уложил продукты в рюкзак и повесил его на кедр. Котелок туда же. А палатку поставил повыше. Лег спать.

Утром просыпается, видит – Михаил Иванович по снежку прошел. Ладно.

Лодка там у Кузьмича была весельная, нормальная. Поехал он заберегами по делам на этой колданке. Вернулся. А берег высокий. Карабкается наверх и сначала видит, что мешка на кедре нет. «Сдернул уже, сволочь», – успел подумать рыбак. Поднялся выше, а Михаил Иванович вот он, у рюкзака стоит. И всего-то в трех метрах от любителя природы. Глаза медвежьи при этом ни о чем не говорят, пустые они у него: ни злости, ни испуга. Безликие, как стенка. Рюкзачок-то он разодрал и печенье с маслицем съел. Давай рыбак его материть сразу же. А что делать? Ружье-то – в лодке. «Что ты, собака, – говорит Кузьмич, – не мог найти себе поесть что-нибудь в другом месте?». Вот, утверждают, что медведь не пьется. Еще как пьется! Кузьмич своими глазами видел: раз-раз-раз, сдал медведь назад. И боком, боком, на человека глядя, ушел.

Только тогда мороз по кузьмичевой коже побежал, не по себе ему стало. Хотя медведь этот, по словам Карабутова, не крупный был. Впрочем, если Карабутова слушать, так их у нас крупных-то и не бывает.

Другая история. Сентябрь. Решил северянин насолить рыбьих брюшков. Тогда как раз в Надым привезли виноград и появились из-под него пустые ящики. А щёкур в это время шел хороший, семидесяточник.*

Прихватил Кузьмич те ящики на рыбалку, к избе. Поставил их меж тремя кедрами повыше, чтоб от мышей сберечь. Два ящичка уже засолил, третий начал. Поехал в очередной раз утром сети смотреть. Возвращается – его ящики сверху сняты. Содержимое одного съедено, другого затоптано. Вывод один – Михаил Иванович, сколько мог, сожрал и ушел. Что делать?

Решил Кузьмич брюшки складывать на крышу избушки, а в ящичках оставлял спинки. «Привыкнет, – думает, – всё равно, привыкнет к халяве».

Ружье стал он с собой в лодку прихватывать. Но в последующие дни медведь приходил и, увидев человека с лодкой издали, исчезал не сразу. Не торопясь. Недели полторы ел он дармовую рыбу, а Кузьмич приноравливался, как бы мишку застрелить.

Как-то утром туман был с южным ветерком. То есть ветер несло от медведя. Он и не почухал, что рыбак приехал. Вылез Кузьмич из колданки и пошел к избе. А бурый стоит. Метров пятнадцать до него.

В ту минуту мандража у стрелка не было. Только потом кожа **поморозела**. Шкура же мишки оказалась хорошая и мясо отличное. Сладкое. Нагулянный подвернулся.

А про рыбу вот что Кузьмичу помнится.

Октябрь наступил, припай уже намерз. На Семиозерье у бывалого рыбака обычная сеть стояла и еще одна – восьмидесятка из посадочной нити, почти **ахан****. Эту восьмидесятку он ставил, чтоб прикрыть основную сеть от мусора, который ветром и течением несло. А в тот вечер погода была нормальная, и он толстую сетку на берегу бросил.

Короче говоря, проверяет семидесятку, а там дыра обнаруживается такая, что лодка пролезет. Видно, что большая щука пробила. Никак не менее пуда.

* Попадающийся в «семидесятку» – сеть со сторонами ячеей в семьдесят миллиметров

**Крупноячеистая сеть для ловли осетров и больших нельм.

Поставил он толстую сеть на кольях. Утром приезжает – один кол торчит, другой плавает. Подобрался ближе – аж не по себе стало. Видит – спинаща черная и толстая, как бревно. Взял он топор, подтянул тихонько сетку и обухом по башке крокодилу этому двинул. Щучара хвостиком так мотанула, что Кузьмич весь мокрый стал. Но замерла. Обух-то попал куда следует. Потом уж рыбак её вытащил, да и то с трудом. Хорошо, что у его лодки борт низкий был. Сейчас жаль Кузьмичу, что не измерил тогда длину рыбыны. А кантарик у него десятикилограммовый имелся. Разрезал ту щуку на четыре части. И все четыре раза кантарик зашкалил. Так что больше сорока кило получилось. Но это – не рекорд. Иван Вэлло утверждает, что когда рыбачил на Ивлевских песках, ему попадалась щука на пятьдесят шесть килограммов.

ПОРЫБАЧИЛИ

То ли в семьдесят втором, то ли семьдесят третьем году замерзал Кузьмич на Семиозерье.

Работал он тогда в лесничестве, и свободного времени было навалом. А в Надыме один знакомый художник жил, в УМ-2 трудился. Между прочим, царство ему небесное, умер несколько лет назад.

Так вот. Как-то в октябре, под занавес сезона, приехал по реке художник к Кузьмичу в избушку на Семиозерье. И с ним на собственной лодке прибыл несовершеннолетний пацан – Олег.

– Давай, – говорит художник, – вместе порыбачим. Заготовим рыбы на зиму.
– Хорошо.

Начали. Пошла рыба. Но вскоре, в аккурат на день рождения Кузьмича, у паренька мотор сломался. Художник тут же проявил инициативу:

– Я в город съезжу, привезу другой движок, и мы тремя лодками сможем домой вернуться.

А на дворе-то – октябрь. Река вот-вот замерзнет. Кузьмич попросил:

– Только шевелись быстрее, как бы тут не зазимовать.

Человек от искусства успокоил, что смотается быстро. Отчалил.

Кузьмич с Олегом приютились в укрытой сеном палатке на каркасе. Если не при морозах в том жилище все время топить печь, то оно довольно теплое.

Из провизии осталась булка хлеба, пачка «Беломора» и упаковка спичек, но соли и рыбы было изрядно.

Ждут они художника день, два. Художника нет.

Рыбачат. Уху варят.

Тринадцатого числа проснулись – лед. Пока еще тонкий, с палец толщиной. Случилось то, чего опасались.

Кузьмич предложил пареньку перебраться на Надым, где сильное течение и ледостав позже. Ведь на протоке-то вода движется еле-еле, значит, скоро лед вырастет – не пробьешься.

Начали собираться. Затащили олегову лодку повыше, перевернули, привязали. Сломанный мотор под нее спрятали. Сняли с озера сети. Уложили в «Обянку» центнера два щекуров. На нос сел старый рыбак и, кромсая лед, позволял ей

двигаться к открытой воде, которая чередовалась замерзшими участками. То мотор работал, то Кузьмич. До большой реки было восемь верст.

С утра до обеда выдвинулись по протоке километра на три. А на развилке мотор выдохся. Вроде бы все наличествовало: и бензин, и компрессия, и искра, которая способна лошадь убить. До вечера рыбак дергал стартер, менял свечи, разбирал карбюратор, регулировал зажигание. И снова дергал, дергал, дергал. Бесплезно. Двигатель отфыркивался и молчал.

Стало темнеть.

Сел Кузьмич, опустил руки. Отдышался. Помолчали, глядя в леденеющую тишину. Кажется, оба думали о художнике: «Куда же он, зараза, делся?».

– Ладно, – сказал старший, – пока не вмерзли, давай на гребях до избушки идти.

А куда деваться? Развернули лодку, взялся мужик за весла. И тут пацан говорит робко:

– Деда, может, я мотор дернуть попробую?

– Попробуй!

Двигатель завелся сразу.

– Надо же!

Пробираться вперед по темну было немисливо, а к избе доехали без приключений. Переночевали.

Рано утром, когда солнце еще не приподнялось над чахлым, черным лесом и вокруг царила настороженная пустота, мужики выползли из палатки.

Посмотрели на окрестности и шагнули по мерзлой земле к лодке.

Мотор заурчал с первого рывка. Прогрели его. Колотя по прихваченной за ночь льдом поверхности веслом, вышли на открытую воду. Толкнули реверс.

Вперед!

Лицо обжег студеный воздух предзимья. Гладь протоки, охваченная с берегов ледяным припаем, чернела безнадегой. Зато в близкой перспективе мнился дом и обустроенная жизнь после мытарств в зябкой сырости. Натянули шапки поглубже – так теплее. Только носы мерзли, и жаль было, что кончились папиросы.

Поворот. Еще один. Вот и развилка. Вдруг, на вчерашнем месте двигатель опять заглох, как заговоренный.

Кузьмич выразился смачно и мрачно.

Снова дергали, разбирали, дергали. Тщетно. К палатке вернулись на веслах.

Молча. До наступления прочного ледостава маячила единственная перспектива – плен.

Еще перед отъездом, дома Кузьмич показывал жене Александре на карте место:

– Направляюсь сюда. Если через месяц меня не будет, скажешь об этом другу-вертолетчику Пикулину.

И потянулись дни ожидания.

Чем-то нужно было заниматься. Сети сняли, наладили ставной неводок. Рыба шла на скат, и каждое утро рыбаки вываливали из мотни пару мешков белой рыбы: сырка, пыжьяна, щекура.

Олег оказался замечательным парнем и прекрасным помощником: был сообразителен, не хныкал, не стонал, не ленился. Жили они душа в душу. Вот

только пацан сдуру начал курить мох. Но когда Кузьмич сделал внушение – бросил.

Не считая выдавшего виды брезентового плаща, одежонка робинзонов состояла из фуфаяк и сапог. Еще имелись валенки. Но не торопящаяся зима с температурой близкой к нулю делала и ту, и другую обувь не вполне подходящей. А в общем, не потели, надо было шевелиться.

Тем временем лед оставался тонким. Идти по нему было невозможно, хоть и насчитывалось до города всего-то верст сорок пять. Да и многочисленные ручьи застывать не хотели. Сидельцам оставалось от нечего делать живое серебро промышлять, хоть лично им столько и не требовалось. Меню при этом отличалось понятным разнообразием: рыба сырая, рыба соленая, рыба жареная, рыба вяленая, рыба вареная.

Быт палатки-шалаша, вечный дым и рыбацкие процедуры, мягко говоря, не предполагали стерильности. Но, слава Богу, имелось хозяйственное мыло. Благодаря этому отшельники временами устраивали что-то вроде бани и даже кое-что стирали. Соблюдали гигиену.

Закончился октябрь. Никого. Прошел ноябрь. Никого.

«Что же с художником-то случилось? Утонул, что ли? И почему жена к Пикулину не обратилась? Может, карту потеряла?».

Кузьмич никогда не был склонен к панике. Его упрямая натура всегда искала выход в действии. Но теперь рыба почти вся прошла, уловы становились все меньше. Плен дополнялся нарастающим бездельем, исчезал хоть какой-то смысл пребывания. И вместе с этим усиливалась досада.

Неизбежное в таких обстоятельствах раздражение гасила необходимость заботы о юном пареньке. И накатывала грусть. Тогда он опять начинал что-нибудь делать: поправлять жилище, рубить дрова, прибираться у очага.

Как-то, в начале декабря, когда дневные хлопоты были закончены, выбрался Кузьмич из опостылевшего логова и устроился на валежине. Перед ним спала давно замерзшая протока, виднелся выход на усыпанное снегом озеро. За озером темнели стеною кусты тала, над которыми высились редкие ели. Далеко пролетела какая-то птица. Кажется, ронжа. Вечерело.

Посторонний звук – легкий хруст – заставил повернуть голову. На том берегу, на расстоянии выстрела, через кусты к ручью шел олень.

Кузьмич остолбенел: «Мясо!!!». Ёкнуло сердце, и заныло под ложечкой.

Олег, сидевший перед палаткой, узрел ошалелую мимику старого охотника и услышал сдавленный шепот: «Ружье!».

Беззвучно метнувшись в жилище, парень прихватил стволы и лихорадочно, на четвереньках, доставил их старшему.

– Тьфу ты, а патроны-то где?

Пришлось ползти ещё раз.

Тем временем животное пробовало лед копытами, лед проваливался. Олень раздумывал. Пробовал снова. Потом, не торопясь, пошел обратно, в горку. Дело решил единственный выстрел. Правда, при этом рогатый отчаянно сиганул в чащу и скрылся за ветвями. Олег, не отрывая глаз от места, где только что стояла добыча, приподнялся на коленях и разочарованно протянул:

«Мимо». Кузьмич торжественно молчал, и его борода была задрана выше обычного. Он точно знал, что попал.

Тушу нашли сразу и с энтузиазмом начали свежевать. Когда нож вспорол шкуру и оголилась плоть, в нос ударил горячий дух парного мяса.

Для начала сварили шурпу из ног. После двух месяцев рыбной «диеты» это было нечто. Старший разлил в эмалированные кружки жирный бульон и определил по куску. Сказал подростку:

– Больше пока не ешь, не торопись. Это все наше, никуда не денется.

Поужинали, и Кузьмич, довольно крякнув, завалился на нарах, уснул.

Но растущий организм Олега настойчиво требовал продолжения. Поэтому он выпил еще пару кружек шурпы и съел дополнительный кусок. И еще один, побольше.

Утром Кузьмич не увидел парня рядом. Тот сидел в кустах недалече. Так надежно устроился, что почти сутки штаны не надевал. Жесточайший понос удалось остановить только с помощью травяного отвара по рецептам, известным Кузьмичу с юности. Так Олежа усвоил второй урок старшего товарища о том, чего не стоит делать.

Через несколько дней пошел сильный снег. Не выполнив одной обязанности – мороза, зима стала отрабатывать вторую. В тишине валило густо. Радоваться бы сей прелести, но мужикам было не до того. Они понимали, что покров задержит намерзание льда и их плен затянется.

Пересиживали снегопад в палатке, где они давно научились нетягостно молчать часами. Каждый занимался своим делом: кто носки штопал, кто портянки стирал. Осколком наждака ежедневно неторопливо подтачивали ножи. Но как-то раз обоих вытолкнул наружу далекий гул вертолета.

Давным-давно была устроена посадочная площадка с тремя кучами хвороста. Мужики кинулись к ней, чтобы зажечь костры. Но бурило так плотно, что летчики ничего не заметили. И вертолетный рокот, превратясь в неясный шум, растаял за болотами.

– Отбой, – сдержано сказал Кузьмич.

Возвращались след в след. Снега нанесло больше, чем по колено, и не было смысла пробиваться поодиночке. Перед жильем остановились у длинного сугроба, под которым хранился улов. Помолчали.

– Сколько здесь? – спросил Олег.

– Тонн шесть, наверное.

Прошла еще неделя. Маленькое, мутное солнце все ниже выползло над горизонтом. А чаще его появление только угадывалось в сумрачном рассвете. Опять в безмолвии порошило. За месяцы вынужденного сидения на природе слух обострился до невероятности. И он снова уловил звук.

Быстро оторвав рукава у одной из телогреек, рыбаки намочили их горячим и бросились к хворосту. Зажгли. Плохо различимый в снегопаде вертолет сделал большой круг и прямо над головами пошел обратно. Кузьмича кольнуло: «Уходит». Он выхватил припасенную ракетницу и пальнул по курсу. Вот эту красную ракету летчики и увидели.

Когда умолк двигатель и был открыт фонарь, Пикулин игриво крикнул добиравшемуся через сугробы товарищу:

– Что ж ты мне не позвонил, старый?

Кузьмич остановился и развел руками:

– Да я, видишь ли, рацию отдал на ремонт в Америку и аккумуляторы на зарядку в Японию. А они через океан никак состыковаться не могут.

– Ха-ха-ха! – ответил экипаж.

* * *

Может, это и не важно, но через пару дней ударили морозы за сорок.

А что до канувшего в октябре художника, то он не утонул и ничего с ним не стряслось. Просто, вернувшись в город, немедленно ушел в запой, забыл о своих подельниках и вообще о поездке в Семиозерье напрочь.

Кажется, этот факт добавляет истории оптимизма.

МИСТИКА МЫСА ЖЕРТВ

Я – человек далекий от религии и, тем более, от мистики. Но некоторые совпадения, если, конечно, это только совпадения, заставляют задуматься.

На прошедшее лето имелись большие планы, и все они были связаны с перемещениями. А расстояния у нас – сами знаете. Даже на приличную рыбалку съездить – нужна бочка бензина, а если желаешь дополнительно торкнуться по каким-то делам – добавь сто литров.

Затарились мы горючим и поехали. В тот раз я твердо решил посетить Мыс Жертв, о чем и упросил своих товарищей, счастливо обладающих моторкой, на которой почти не страшно в небольшую волну и в море выходить. Морем у нас Обскую губу называют, потому как противоположных берегов у неё не видать ни при какой погоде.

Мыс Жертв находится в нескольких километрах западнее устья Надыма и упоминается в литературе с девятнадцатого века. То так его называют, то Святым мысом. А сто лет ранее называли ещё и Сиду-сяду, что в переводе на русский означает Двуликий. Многие путешественники и исследователи о нем говорили, как о важном для ямальских ненцев месте жертвоприношений. Знаменитый на Севере обдорский миссионер отец Иринарх в заметках о путешествии по Обской губе в 1899 году вспоминал: «Впереди нас давно уже виднелся горный отрог – Святой мыс, с именем которого связано у наших самоедов много легенд, он почитается ими и поныне. Проезжая мимо него, они всегда бросают что-либо в омывающие воды для умиловления его. <...> Малопоросший растительностью мыс, окруженный безбрежными волнами Оби, казался диким. Он выглядел гордым, величавым исполином, которому всё нипочём. Потому-то, должно быть, самоеды и почитают его, называют «Святым», в честь его бросают в воду деньги, льют вино и пр. Но мне не удалось подплыть к Святому мысу близко, самоеды круто повернули влево, оставив его с правой стороны».

Известный исследователь севера Западной Сибири Григорий Дмитриев-Садовников, путешествовавший в 1916 году по Надымскому краю, отмечал, что со Святым мысом связано ненецкое предание о потопе. Описывая здешнее

место жертвоприношений, ученый сообщил: «На некоторых из берёзок повешены за шеи олени шкуры с копытами. Одна берёзка перетянута шнурком и осетровой вязигой; у её подножия стол – дно лодки, лежат стекла разбитой бутылки».

Приметно, что исключая, кажется, Дмитриева-Садовникова, все, кто упоминал в мемуарах Святой мыс, только мимо проезжали, не посещая. То же могут сказать и многие мои знакомые. Они по сей день предпочитают бросить монетки за борт и плеснуть туда же каплю водки, пересекая траверзу, но не причаливать и, тем более, не подниматься наверх.

В общем, у меня сложилось мнение, что ни один «европеец», если под этим словом понимать всех окружающих, кроме ямальских кочевников, на самом мысу не был. Мнение это подкрепляется рассказами надымских коренных жителей, которые в отличие от ямальцев Святой мыс настолько побаиваются, что туда – ни ногой. У них даже есть поверье, что на мысу этом деревья растут корнями вверх.

Аномальность мыса подтверждается и реальностью, известной многим рыбакам, промысляющим от Салемала до Ныды. Много лет назад проезжая мимо, я ощутил эту аномальность лично. Дело в том, что при любой самой тихой погоде в радиусе примерно километра гуляет мертвая зыбь, и лодку покручивают постоянно меняющиеся струи течений. А при дуновении ветра, говорят, такая волна может прийти «из ниоткуда», что только держись. Так что никак не случайно недалеко от этого места смотрит на север скромный памятник надымским мужикам, утонувшим в семидесятые годы. А ведь бывало это не только в семидесятые.

Например, приятель моего друга Ивана Неркагы, молодой парень-ненец, тем же летом только чудом не погиб, когда решил подъехать к легендарному берегу. Сбросил скорость, а невесть откуда взявшаяся волна с кормы залила лодку почти до краёв. Спас только американский «Меркурий», «через не могу» пропыхтевший ещё полсотни метров, а там уже и глубина всего по грудь оказалась. Подниматься наверх, к святилищу у молодого человека желание отпало намертво, и пошел он берегом людей искать. Повезло, нашел в тот же день.

Когда мы собирались, я этой свежей истории ещё не знал. Зато взял рабочие инструменты – фотоаппарат и камеру. Во время отчаливания погода была пасмурной, но не более. А через час пошел дождь, который не прекращался потом сутки. Так что пока двигались по реке, а это – сто двадцать верст, немного подмокли мы сами и вещи наши. Но я – фотограф опытный и старался держать фотовидеоаппаратуру в сухости, в двойном целлофановом пакете за лобовым стеклом. Конечно, пару раз за дорогу доставал, надо же было «командировку» увековечить.

В губу вышли без приключений, только настроение поменялось. Оно всегда меняется, когда из уютного ложа речной долины попадаешь в изменчивое, недружелюбное и бескрайнее царство воды. Особенно, при неважной погоде. Из-за опасности напороться на мель править приходится очень далеко от берега, и каждый раз посещает паскудная мысль, что не зависимо от умения плавать, в случае какой-то аварии до суши не добраться и помощи ждать

неоткуда. Абсолютно. Да и останки твои не найдут. Память будет зафиксирована позднее только в милицейском протоколе: «Выехали ориентировочно в ...».

Товарищи мои согласились на посещение мыса Жертв, потому что они – товарищи. А может, еще и потому, что путь к их цели – заброшенному полстолетия назад поселку Хэ – пролегал мимо. Впрочем, ерунду говорю, просто им тоже было любопытно. Так или иначе, но все эти обстоятельства работали на достижение цели.

Ничего чрезвычайного в волнах у Святого нам в тот раз не показалось.

Промокшие в пути насквозь, мы благополучно выбрались на берег.

За последнее столетие мыс зарос и сейчас представлял собою довольно крутой склон, с края которого в результате оползней часть деревьев сильно наклонилась, а некоторые вообще как бы «свисали». При этом у них обнажались торчащие в небо корни, а кроны упирались в землю ниже. Так что картина, нарисованная поверьем, была отчасти верной.

Обойдя мыс справа, мы начали подъём. Желания поискать какую-нибудь тропу не имелось. Времени было навалом, но пропитанная влагой одежда и неисчислимые полчища комаров не располагали к наблюдениям и тщательному изучению. Тем более, каждый знал, что через двадцать пять верст пути по губе нас ждал впереди нормальный, сухой дом с печью, дровами и чайником.

Пока продирались наверх через густые, смешанные заросли ольхи и берёзы, они одаривали нас водопадами капель. Но это было лишним, поскольку даже в сапогах-броднях уже давно хлюпала вода. Фотоаппарат и видеокамера в это время прятались у меня за пазухой, в том же двойном целлофане. Ведь более всего я заботился о предстоящей съёмке.

Вот и пришли. На открывшейся полянке стояла лиственница высотой около десяти метров, и примерно на половине роста её висела наброшенная на ветку, как набрасывают на веревку для просушки белье, шкура оленя. Впрочем, не просто так. К оленьей шкуре была пришита волчья голова. О подобной комбинации упоминаний в этнографической литературе я не встречал, и таких рассказов слышать не приходилось.

Пониже шкуры на ветвях были повязаны полоски ткани. На нижнем сучке было приложено эмалированное ведро со следами костра. Под лиственницей валялась пара пустых бутылок из-под водки. В общем, кроме головы волка всё выглядело обычно.

Я достал технику. Снял на видео полянку, где, накинув капюшон энцефалитки, уже лежал лицом вниз, с чертыханьем спасаясь от комаров, Дмитрий. Перевел объектив на Сергея, который с прибаутками в это время фотографировал меня в облаке гнуса. Потом я выключил камеру, подошел к священной лиственнице и снова нажал на «запись». В этот раз «запись» не включилась.

Я неоднократно включал и выключал свой «Panasonic», но дорогая японская машинка не хотела работать. Мигала лампочка, сигнализируя о какой-то неполадке. Помучившись так с четверть часа, я упрятал камеру в пакет.

«Ладно, – подумал, – пусть будет хоть только фото».

Мы сели под лиственницей и раскупорили припасенную к такому случаю бутылочку. Угостили духов, капнув на корень. Потом выпили сами. Покурили.

Выпили еще, опять передавая рюмку по ходу солнца, как это принято у ненцев. Я отошел на несколько шагов, достал фотоаппарат, направил объектив на святилище. Затвор не сработал.

Наверняка это «молодое» святилище было не единственным на мысу. Но что толку было в промокшей одежде и под комарами мучиться в поисках, когда фото и видео не работали? Мы спустились к лодке и через час уже обсыхали в доме, который был нашей конечной целью.

Фотоаппарат исправился сам собою, лишь когда мы переночевали, то есть на следующие сутки. А камеру мне отремонтировали, наговорив кучу непонятных технических терминов, только спустя полгода, в далеком городе Омске. И заплатил я за ремонт десять тысяч рублей. Между прочим, почти столько же стоит камера новая, только классом ниже.

* * *

Тем же летом был еще один необъяснимый случай. Ехал я с другом и его женой по протоке Инзета в ста с лишним верстах от города и недалеко от мыса Жертв. Погода была чудесная, и хотелось снимать все хоть чем-то примечательное. Неожиданно для меня слева от протоки показалась изба. Добротная изба, какой не стыдно стоять и в поселке.

Я попросил товарища подвернуть к ней и, когда лодка, не торопясь, описывала круг, трижды щелкнул столь приметный в безлюдной местности объект.

Поскольку я снимаю уже четверть века и делаю это регулярно, то устоялся навык слушать срабатывание затвора. Трижды затвор сработал нормально, четко. Мы поехали дальше, на губу.

В наших планах было через пару дней вернуться домой. Но как раз на второй день заштормило, и мы вынужденно сидели еще почти неделю. Когда однажды под вечер волны стали утихать, я предложил товарищу возвращаться.

– До города сегодня не успеем, – сказал он, – а ночевать в кустах, на речном песке неохота.

– Можно, ведь, переночевать в той избе на Инзете. Наверняка там все прилично.

– В избе, про которую ты говоришь, я ночевать не буду. В ней умер тот, кто её построил. И, между прочим, узнали об этом не сразу.

– М-да... Тогда я тоже не хочу.

На следующее утро мы благополучно преодолели часть пути по морю, вошли в протоку, из неё в реку Надым и после обеда добрались до города.

На проявленной фотоплёнке присутствовали все кадры, снятые мной до избы и после неё. Самой избы не было. Не имелось и никакого брака на пленке. Просто было «до» и было «после». А избу словно и не фотографировал. Но ведь я отчетливо помню все три ракурса и даже звук затвора! Да и свидетели есть!

Чертовщина какая-то. А может, ненецкие боги опять что-то хотели мне сказать?

ГОРОД ПОД КУПОЛОМ

... а невежды мне поют про северá

Стоит под ветрами, среди полярных болот, городок не великий по числу жителей, а по площади и вовсе маленький. Очень компактный. С вертолета или самолета глянешь – просто пуп на брюхе лесотундры. Правда, местами – десятиэтажный. Так что, если говорить точнее – не простой пуп, а настоящий, железобетонный, морозостойкий пупище.

Друг Пыльцов утверждает: «Надым собирались сделать городом под куполом. Так оно и получилось».

Я с этой точкой зрения согласен.

Город строили люди подвижные, предприимчивые, увлекающиеся и могущие увлечь, то бишь – пассионарии. Строили те, кто мерз в палатках, маялся в бараках, теснился в вагончиках и порою в лютую стужу погибал на трассах.

Эти люди строили, городили город посреди лесотундры.

Они приезжали сюда на три года, чтобы заработать на «Жигули», но незаметно для себя застряли.

Сначала они устали от лесотундры, а потом родили здесь детей, которым, разумеется, желали легкой доли. Они отгораживали свои семьи от холодного климата и малообжитой местности, которая по их меркам была необжитой вовсе. Они укрывались, прятались от неё, как от стихии, от напасти, от врага. И вот первоначальный окоп и первый блиндаж превратились в неприступную крепость. Одна крепостная стена – улица Набережная, другая – улица Заводская. Жилкомплекс «Финский» – просто дальний форпост.

Внутри крепости всё по уму. Как написал ехидный старик Витковский:

«А центр города у нас сложился так:

Библиотека, церковь и кабак».

Штурм лесотундры закончился, началась глухая оборона, и выход из крепости стали использовать раз в год, только для того, чтобы отлететь подальше, в отпуск.

Что-то в этой тактике было естественным. Хотя бы потому, что любить трудности за то, что они – трудности, почти так же проблематично, как любить бухгалтера за то, что он – бухгалтер. В общем, тактика обороны стала стратегией и единственной линией.

Отгремели битвы. Генералам поставлены памятники. Солдаты отдыхают. Сегодня дети и внуки былых строителей преодолевают трудности чаще на дискотеках, реже – на тренажерах спортзалов. Ведь они – дети и внуки победителей. А о Севере им вещают стерилизованные куполом и вечной перегруженностью школьные учителя, многие из которых приехали сюда позже, чем эти дети здесь родились.

И все-таки в перерывах между юбилейными речами свербит у ветеранов на душе. О чем же? Почто кручина?

Не смотря на денежное довольствие и безусловные достижения в благоустройстве, свербит у поседевших солдат о том, о чем с безутешно-одиноким честностью поет бард Дмитрий Шишкин:

«Город нежный, нежный, снежный,

Как же ты меня достал!».

Приезжий спрашивает про Север у надымчанина. И надымчанин говорит, начиная невпопад:

– Отдыхал в Геленджике. Масса знакомых. Там ведь как бы филиал Надыма. А Север... Ну, что Север? Да ничего. Зима длинная. И еще у нас есть ханты... Тьфу, ты... ненцы!!!

* * *

Праздник День города в Надыме я бы назвал Днём космонавтов. Почему так? Очень просто!

В Надыме по уникальному местному обычаю отмечается не очередная годовщина его основания, а годовщина получения статуса города.

Уникальность эта происходит от мироощущения. А мироощущение – вещь великая. Мироощущение может игнорировать или отталкивать не только историю, но и реальность в виде болот и прочих горизонтов.

Один знакомый мне подводник, простоявший всю жизнь вахты на атомной субмарине, например, утверждает: «Подводники служат на море, но они не моряки, их изолированность от внешней морской стихии скорее напоминают условия космонавтов».

Поэтому, взяв критерием связь людей с «внешней стихией», можно сказать, что Надымский район – пространство оленеводов, рыбаков и космонавтов. Причем, разных космонавтов.

Самые космонавтные космонавты – труженики буровых. Как ни странно, но они – самые нездешние существа, собранные от Карпат до Байкала. Вдали от стартовых площадок обычной жизни, на апогеях и перигеях субарктических болот протыкает космос тундры их ракета – буровая вышка. Рядом – спальные космические модули-балки, где чумазые, хронически усталые космонавты умываются и отключаются. Перед этим они немного курят. Хоть и не везде, но, в принципе, это им можно. Ведь других развлечений, как и женщин, на этой орбите нет.

Из модулей в открытый космос, то есть в тундру, буровые космонавты, в общем-то, не выходят, ограничиваясь перемещениями по отсыпке буровой площадки исключительно в скафандрах-робах с опознавательными лейблами на трудовых затылках. Например: «... бургаз», «... нефтегазгеология» и т.п. В роли шлемов у них на головах строительные каски.

Руки буровых космонавтов натружены, лица угрюмы, тусклый взгляд – под ноги. Далее пятисот метров от модуля они не бывали и никогда не будут.

Внешнюю среду они познают не параметрами пространства, а исключительно данными температуры, влажности и силы ветра в физиономию.

Запаса кислорода у них ежедневно хватает только для того, чтобы отстоять смену – полсуток, потом умыться, поесть, покурить. Затем, сняв скафандр-робу, они растягиваются и затихают на лежаках из досок, покрытых тощим матрасом. До следующей смены.

Космическая вахта продолжается месяц, а то и два. Где-то гуляет радость и по телекам гонят красивую рекламу пива «Охота». А здесь нудно гудит дизель, придавленный хмурым небом. Транспортный корабль «Ми-8» периодически привозит свежую смену и увозит отработавшую.

Космонавты трассовых поселков в отличие от буровых, находятся в привилегированном положении. У них много теплой воды и чистой одежды. У них есть спортзал. Их модули гораздо крупнее, а главный космонавт летает на базу обычно не в «Ми-8», а в BMW X5, Toyota Landcruiser или в корабле им подобном. Космонавты трассовых поселков курят редко и так, чтобы главный космонавт не видел, а после смены они часто играют в волейбол так, чтобы главный космонавт видел. Потому, что он строгий.

Возле его отсека, в большом модуле на самом видном месте находится стенд с крупными буквами: «Люди – наше главное богатство». Потому что главный космонавт – справедливый и добрый. Это подтверждено материалами газет и телевидения.

Если выражение глаз у буровых космонавтов – усталость, то у трассовых космонавтов – опаска, настороженность. Настороженность не перед космосом, конечно (на фиг им этот космос нужен, если снится зеленая трава у дома, оставленного в Краснодаре). В глазах у трассовых космонавтов – опаска перед главным космонавтом и руководителями полетов. А в космос тундры трассово-поселковые космонавты поглядывают довольно равнодушно и исключительно держась за толстую трубу. Ведь она – главное. Она – аорта их жизни.

Третьи космонавты обитают в городе. У них много больших и удобных модулей. Городские космонавты имеют много профессий. Они много учились. Видимо, по причине этих трех «много», скафандр у них облегченный, но очень технологичный. Его главные компоненты – белая рубашка и галстук. То, что эти предметы космического белья дисциплинируют, – им объяснили еще тогда, когда они попадали на орбиту. Поэтому основное выражение глаз у них – не опаска, а что-то подобное страсти. Подобное дисциплинированной, конечно, страсти. Кажется, она называется подобострастием.

Особенно характерно такое выражение глаз не для тех космонавтов, которые умеют выполнять какое-то конкретное дело, требующее узкой квалификации, а для «специалистов вообще». У них рубашки самые белые и галстуки самые дорогие. Считается, что от этого надежность скафандра выше.

Один человек, объехавший Север, записавшийся в городской отряд космонавтов и через год по собственному желанию из него выбывший, почему-то называл Надым «городом строгого режима». Может, ему не понравилась та мелочь, что городские космонавты вслед за начальством не курят. А может, он так и не излечился от реликтовой бациллы пассионарности.

Космос тундры городские космонавты в городе же и наблюдают. Он к ним сам приезжает в марте на оленях. Иногда, если повезёт, городские космонавты щупают космос тундры за рога. После этого они знают, что... Не знаю, как сказать. В общем, они после этого знают, что знают нечто, хотя и полагают, что это лишнее.

Да и на самом деле, в отличие от белых рубашек и галстуков весь этот чёртов космос – лишний. Он настоящих космонавтов только отвлекает.

* * *

О чём это мы? Ах да, об оленях!

Олени для Надыма – банальность. А вот до недавнего времени по городу бегало стадо свиней. Деловых и уверенных. Особенно часто встречались они на улице Полярной. До сих пор по газонам неспешно пасутся коровы – неотъемлемая часть летнего надымского пейзажа. Проживала здесь и пара лошадей, гулявших по городу, как собаки. Они любили отстаиваться на автобусных остановках или у входа в продуктовый магазин. Выходишь, бывало, а лошади в твой пакет с хлебом морды суют, топают следом. Не дашь хлеба – могут укусить. Наглые, как танки.

Например, упомянутый нами Витковский про климат и фауну Надыма не случайно выдал:

«Холодно в январе,
В подъездах греются собаки,
И только кони во дворе
Копытят мусорные баки».

В прошлом году лошадь бродила уже одна. Грустная-грустная.

Но самое замечательное в животном мире Надыма – псы. Наверное, нигде больше эти друзья человека не пересекают проезжую часть исключительно по «зебре» и только на зеленый свет. Лично мне довелось еще наблюдать, как лайка дождалась автобуса, зашла в него с прочими желающими, а через две остановки вышла. Вот только за проезд не заплатила.

Кстати, о транспорте.

Крик души автоводителей: «Надым – город непуганых пешеходов». Всякому бросается в глаза местный приоритет шкандыбающих перед теми, кто крутит баранку. Не только на переходах, но и в любом ином месте. Такое положение вещей особенно удивляет и даже шокирует командированных москвичей. По прочим автомобильным показателям Надым не отличается от других городов Севера. На душу населения машин много, и число это растет катастрофически. По слухам – на четырнадцать процентов в год. Многие авто безболезненно зимуют под снегом, при этом никто не откручивает у них зеркала заднего вида и никто не угоняет. Ведь Надым – крепость, из которой есть только один выход – трасса до Нового Уренгоя, на которой два поста автоинспекции. В отличие от казахской степи, по ненецким просторам их не объедешь.

А вот на улице завыл клаксон. К нему присоединился другой, третий.

Внезапные душераздирающие стенания покорных четырехколесных тварей заставили вздрогнуть и оглянуться. Раньше машины ревмя ревели исключительно на похоронах профессиональных шоферов...

Расслабьтесь! Теперь клаксонная истерика знаменует радостный день бракосочетания. Как когда-то залиvistые бубенцы.

Уставая от зимы, надымчане тоскуют по лету, когда на свежем воздухе можно не от мороза страдать, а отдыхать. Поэтому с марта все чаще можно видеть мангалы с шашлыками, жарящимися у подъездов, прямо под окнами. В средней полосе, наверное, посчитали бы плохим тоном распространять по двору слюновыделяющие ароматы в то время, когда не у всех есть деньги на шею и ребрышки. В Надыме же средства на это есть у всех, и мангалы не раздражают

и не удивляют. Более того, все обыденно, по-домашнему: «Сосед! Зачем так торопишься? Не проходи мимо!».

Продовольственный рынок – территория нервного накала. Чего стоит, например, оказаться у мясного ряда.

– Мужчина, мужчина, куда же вы пошли? Смотрите, какая вырезка! А вот курочка! Может, вам курочку? Нет? Тогда свининку! Мужчина, ну куда же вы? Отбиться от надымских продавщиц мяса, пожалуй, труднее, чем от тюменских таксистов.

Но самых очаровательных фей прилавка поставляет Краснодар. Пусть рост и телосложение у них среднее, зато с их уверенностью могут соперничать только авторитеты по обе стороны закона.

Вчера такая фея пыталась обмануть мою жену, но была разоблачена в переборе двадцати двух рублей за единственный персик.

Сегодня подхожу к продавщице солений. Ценник на квашеной капусте: «100 гр. 15 руб.» Мучаюсь от любопытства.

– Чего ж так дорого?

– Но это же не простая капуста.

– Судя по виду, в магазине рядом то же самое, но почти в три раза дешевле. Непонятно.

– Мужчина! Вы бы поняли, если бы в вашей голове имелось на извилину больше.

Другой угол. Рыба. Под вывеской сырка на витрине пыжьян. Как старый рыбовед не могу не подколоть.

– Хозяйка! Пыжьян не хуже сырка, но это не сырок.

– Как не сырок? Не морочьте голову. У меня в накладной черным по белому написано «сырок».

– Это в накладной. А сами-то вы в рыбе, вижу, не разбираетесь.

– Честно говоря, нет. Да что – я? Мой хозяин даже слово «окунь» пишет «окон». Вы понимаете, о чем я?

– Понимаю.

А вот и дары из кубанских водоемов. Изумляюсь:

– Вот это да! Ваш подвяленный рыбец дороже копченого муксуна!

– Ну, вы сравнили тоже... Нашего рыбца с каким-то муксуном...

От сногшибательного заявления теряю бдительность. Рынок вот-вот закроется, а я еще не купил чего пожарить. Показываю на щекуров, которые, несмотря на конец торгового дня, радуют глаз густой изморозью. Впечатление, будто из лютого холода их вытащили только что. А почему так поздно – не мое дело. Продавщица укладывает рыбу в пакет. Дома обнаруживаю, что рыба талая и изморозь на самом деле – не изморозь, а мука. Фокус с припудриванием. Вот... (непечатное, непечатное, непечатное)!!!

В уличных павильонах маркитантки помоложе и попроще. Их даже жаль.

– Мне бы огурцов. Только не маринованных, а консервированных.

– Консервированных нет. Может быть вас устроят кабачковые?

– Это еще что такое?

– Как что? Кабачковые огурцы!

– У них что, форма такая?

– Форма как форма. Просто кабачковые.

– ??? Может быть, бочковые?

– Ну да, бочковые...

Наконец-то наступил короткий период между желтыми одуванчиками и желтыми деревьями. Называется – лето. Из Надыма в Москву – семь рейсов в неделю. Для тех, кто никуда не летит, помаленьку нагревается река. Можно искупаться или, слегка отмахиваясь от гнуса, половить на удочку чебаков с ершами.

В городе и по окраинам много кедров. Урожай выдался приличный, но вожделенные плоды высоко. Кажется, замеченная мною дама эту проблему решает.

Вот на дерево садится кедровка, неуловимым движением клюва снимает шишку и слетает на травку покушать. Не тут то было. Дамочка срывается с места, размахивая руками и вскрикивая, несется к птичке. Обалдевшая кедровка ретируется, а шишка оказывается в пакете довольной грабительницы. Повсеместно вылезли на божий свет маслята, подберёзовики, сыроежки. По маленькому парку с утра до вечера бродят пенсионерки, собирают дары. И на другом конце городка в это же время наблюдаю диалог людей репродуктивного возраста.

Он, бросая окурок и оглядываясь:

– Наташа! Давай быстрее, автобус уже идёт!

Она с ведёрком и ножом устремляясь к корням ближайшей березы:

– Я мигом. Только ещё одну семейку вырежу...

«Юморист Задорнов тебя не слышит», – думаю.

* * *

Отошли маслята, увяли мухоморы.

Девятнадцатое сентября. Ветер с дождём и снегом.

В квартирную форточку просятся странноватые звуки, может показаться, что где-то очень далеко разлаялись собаки. А на самом-то деле на юг с криками подались лебеди. Десятками, сотнями.

Мужик в спецовке Севертрубопроводстроя ежится на остановке, выдыхая сигаретный дымок и глядя из-под бровей на давящее город серое небо.

Грустновато ухмыляется: «Полетели... А я остаюсь с тобою, родная моя сторона...».

Может быть, в миноре своём он хотел процитировать, но забыл иные строки: «Здесь под небом чужим я, как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль...».

Чувствуется, что мужику в этом году из крепости Надым выйти не удалось. Так и остался крепостным. Под куполом.

НАРОДЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

*Три месяца в году хожу без шубы,
От табака позеленел язык,*

*Подрастерял свои почти все зубы
За тридцать лет. И к Северу привык.*
Анатолий Витковский

Фразу «Сибиряк – не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается», конечно, все слышали, и все с ней согласны. Некоторые мыслят и далее: «Северянин – не тот, у кого нос красный и сопли текут». Предпримем и мы попытку разглядеть северян и Север. Во всяком случае – сегодняшних северян и сегодняшний Север на его западносибирской оконечности.

* * *

Когда ходишь или едешь по Новому Уренгою, трудно представить, что в Азербайджане осталось хоть какое-то мужское население. Ведь оно все здесь. Азербайджанцы – самый тундровой народ, а ВАЗ-2106 – самый азербайджанский автомобиль.

При этом, отвечая на вопросы о сегодняшних делах на исторической родине, парни из Баку говорят, что там, как в раю и даже лучше.

Впрочем, Ямало-Ненецкий округ справедливо называют Татаро-Донецким, ибо татар и донецких ребят здесь гораздо больше, чем титульной нации, то бишь – ненцев. При этом утешает, что межнациональных противоречий особо не видать. Разве, что изредка над «исконно русской» мерзлотой, в ноябрьском или новоуренгойском лифте прочитаешь фломастерный вопль малолетнего кандидата в скинхеды: «Р а с и я д л я р у с к и х ».

А вот в краях победнее нашего противоречия бывают острее и выражаются порою в устной речи.

Так, жили мы в гостинице с прибывшим из казахстанского Павлодара гражданином Суюмбакиевым. На третий день обращается: «Я смотрю, ты – парень нормальный. С тобой можно спокойно поговорить».

Я, конечно, согласился. Разговариваем. Жалуется: «В нашей бригаде мужик есть, дурацких шуток которого я не понимаю».

«Какие же это шутки?»

«Представляешь, он заявляет: «Ты мне хоть сто раз скажи, что я – русский. Я не обижусь. А вот ты – татарин».

По поводу ямальской демографии есть анекдот.

Тронулся фирменный поезд «Новый Уренгой – Москва». В купе – негр, хохол и ненец. Поставили на стол бутылку. Негр достал связку бананов, очистил один, откусил и все остальные выбросил в окно. Попутчики к нему с претензией: зачем, мол, выбросил? А он им:

– У нас в Африке этих бананов – хоть завались.

Достал хохол шмат сала, отрезал кусочек, съел, а остальное – тоже в окно.

Теперь народ с вопросом к нему:

– Что делаешь?

А хохол им:

– У нас на Украине этого сала – хоть завались.

Дошла очередь до ненца. Достал он рыбу. Порезал. Сидит.

– И что дальше? – спрашивают. – Выбросишь или угощать будешь?

– Буду угощать.

Вдруг берет и выбрасывает в окно хохла.

- Ты с ума спятил? – спрашивает у него негр.

- Нет, – отвечает ненец. – Просто у нас, на Ямале, этого добра – хоть завались.

Это, конечно, шутка. Но иногда на совершенно пустом месте случаются настоящие противоречия.

Например, как-то зимою мой товарищ Николаев сидел за столом с гостем-москвичом. Москвичи бывают, а особенно раньше бывали, с мощным синдромом столичной прописки, разделяя по этому признаку российское человечество на две части: они и все остальные, то бишь – провинциалы.

Так вот, сидел Николаев в городе Надыме на проспекте Ленинградском, номер два дробь один, квартира четыре и слушал рассуждения гостя о том, что вокруг слова «сибиряки» – одни мифы. Нет, мол, никаких сибиряков, а есть однородная масса от Смоленска до Сахалина.

Москвич не знал, что у Николаева – синдром провинциала сибирского. Эдакое местное центроупие в противовес всякому прочему. И, нахмуясь, житель лесотундры сказал:

– Ладно, пойдем!

– Куда?

На улице было минус сорок шесть. Вечерние фонари светили сквозь морозную дымку. Редкие надымчане, не успевшие попасть домой, спешили к теплу, приберегая носы варежками.

Поднявшись из-за стола, Николаев перед входной дверью снял носки и рубаху, оголил весьма не спортивное, конопатое тело. Оглянулся на москвича. Того стриптиз не обрадовал:

– Ты чего это?

– Надень пуховик, – сказал Николаев, – и шагай за мной.

– Так ведь...

– Давай, давай!

Спустились вниз, вышли из подъезда. Стриптизер пару мгновений оценивал поверхность под окнами. Затем упал спиной в большой сугроб и зарылся.

Ерзая затылком и елозя пятками, он покряхтывал, демонстрируя получаемое удовольствие. Ноги москвича в тапочках быстро коченели. Лицо сморщилось от ужаса. Через три минуты молвив: «Ну, ладно!» – он метнулся в подъезд и хлопнул дверью.

Николаев поразминался еще в сугробе, потом походил по тротуару, смахивая с побагровевшего, парящего на морозе торса остатки тающего снега, и выдохнув напоследок, как паровоз, вернулся в тепло и тишину квартиры.

Москвич сидел за столом молча, уперши взгляд в остывшие, недоеденные пельмени. Отказавшись покурить, пошел спать. Утром, перед отъездом к самолету, он сказал, что все понял.

А национальность у обоих, между прочим, одна – русские.

ЧАСОВНЯ В ЛЕСОТУНДРЕ

Хотелось начать с обратного отсчета событий, чтобы было интереснее самому. Раздумал. От обратного отсчета решил оставить лишь три детали.

Первая деталь – в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружена чудом сохранившаяся часовня, построенная в конце XIX века.

Вторая деталь – она обнаружена там, где она была обозначена в исторических описаниях. Третья деталь – её обнаружили надымчане, читавшие о ней ранее и потому знавшие, что именно они ищут.

Напрашивается аналогия с Америкой, открытие которой сам открыватель Христофор Колумб оценил неадекватно, потому как полагал, что нашел всего лишь новый путь в общеизвестную Индию. Америго Веспуччи догадался, что это не так, и тем увековечил своё имя в названии целого континента.

В случае с часовней было почти так же. Эдуард Юрченко вернулся с маршрута на охотхозяйственную базу Нижний Ярудей, где работает, и сказал товарищам, что нашел неизвестную промысловую избу. В предлагаемой нами аналогии он стал упомянутым Христофором.

Вячеслав Горохов и Евгений Игошев сыграли роль того самого Америго. Они иногда почитывали брошюру «Историческое краеведение Надыма», где сообщалось о часовне, которая в конце XIX века была поставлена где-то в окрестностях. Координаты окрестностей, сообщенные им Юрченко, очень даже подходили. Горохов с Игошевым завели «Буран» и съездили. Забрались внутрь «неизвестной промысловой избы» и, в частности, прочли сделанную итальянским карандашом на тесаном бревне надпись (с ятями, которые мы опускаем): «1906 году февраля 12 дня был в часовне священник Н. Карпов с толмачом Г. Кудриным». Другая надпись была вырезана ножом или топором: «1912 г. 3 нояб. иеромонах Никон был».

Под ногами исследователи-любители увидели довольно высокий пенёк (около 35 см), происхождение которого им было известно. Об исторической важности этого пенька мы сообщим ниже. Для этого обратимся к историческим документам.

«Тобольские епархиальные ведомости» в 1915 году сообщали: «С 25 по 30 декабря состоялась поездка иеромонаха Феодосия с псаломщиком П. Вылкою из Хэ до Нарэ и Надыма. Было посещение несколько чумов со Св. Крестом, совершены молебны и требы. Заезжали в Надым, в часовню, которая была устроена отцом игуменом Иринархом и профессором Якобием на том месте, где случайно нашли кедр с природным крестом внутри. Тот кедр был вывезен в Петроград, а пень и теперь сохраняется посреди часовни. На этом месте они предполагали открыть и миссионерский стан, но по практическим соображениям оказалось более удобным быть стану в Хэ. В часовне был отслужен молебен святителям Николаю и Гурию, иконы которых в ней имеются».

Теперь три пояснения.

Первое. Упомянутый «отец игумен Иринарх» (в миру – Иван Семёнович Шемановский) был настоятелем Обдорской православной миссии, то есть

главным священником на территории всего Ямальского Севера. Кроме того, он явился основателем краеведческого музея, который сегодня называется Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом его же имени.

Так что игумен Иринарх – фигура для нас историческая во всех смыслах.

Второе. «Профессор Якобий» – это профессор богословия Императорского Казанского университета Аркадий Иванович Якобий. Кроме преподавания он вел активную исследовательскую и миссионерскую деятельность, бывая на Ямальском Севере. В частности, большая экспедиция по территории нашего района была им проведена зимою 1894 года, когда и произошел случай с кедром, описанный «Тобольскими епархиальными ведомостями» много лет спустя. Нужно полагать, что часовня над пеньком этого кедра была поставлена если не тем же летом, то не позднее, чем через год-два. То есть в интервале с 1894 по 1896 год.

Профессор Якобий на общественных собраниях, в среде священников и в прессе выступал горячим поборником коренных жителей, ратуя не только за христианизацию, но и за большую заботу государства и деловых кругов об аборигенах. В частности, тревожно и настойчиво говорил об их вымирании. На наш взгляд, краски он сгущал, но в целом такую заботу нельзя не оценить. Особенно, учитывая, что в ЯНАО приходилось слышать лексику типа «русские колонизаторы». Видимо, человек желал поставить в истории освоения пространств в один ряд русских с испанцами и британцами. Очень даже зря. Третье. «Тот кедр был вывезен в Петроград». Конечно, в 1894 году тот кедр могли вывезти только в Санкт-Петербург. Но в 1914 году, в условиях войны с Германией и Австро-Венгрией (которая тогда называлась Второй Отечественной, а большевики переименовали в империалистическую) столицу переименовали на славянский лад, и газета в 1915 году из политических соображений упомянула новое название – Петроград.

И ещё одно соображение – историческая справка.

В книге «Народы Севера Сибири в коллекциях Омского государственного объединённого исторического и литературного музея» (Томск, 1986) в качестве активного исследователя Ямальского Севера упоминается некий Н.Г. Кудрин: «В 1916 и 1917 гг. хантыйская коллекция поступила от Н.Г. Кудрина. В эти годы он совершил две экспедиции на север Западной Сибири. Экспедиция 1916 года, кстати, единственная экспедиция Западно-Сибирского отдела Русского географического общества в этом году, была проведена Н.Г. Кудриным для обследования рыболовства в Обской губе.

К сожалению, отчет по экспедиции сделан не был, а материалы не опубликованы. Во время этой экспедиции была собрана коллекция по культуре хантов. Упоминания о второй экспедиции Н.Г. Кудрина в работе В.Ф. Семёнова отсутствуют. Они сохранились лишь в музейной документации. Видимо, экспедиция совершалась с той же целью, что и первая. Летом 1917 года Н.Г. Кудрин собрал коллекцию по культуре хантов и ненцев. Хантыйскую коллекцию он собрал в Обдорске и его окрестностях, в низовье реки Оби за Обдорском. ... Она состоит (33 экспоната) главным образом из орудий рыболовства и орудий труда, необходимых для их изготовления, орудий приготовления пищи, деталей жилища и интерьера. Коллекция Н.Г. Кудрина

была, видимо, последним собранием, поступившим в музей в дореволюционный период».

Поскольку других Кудриных в документах по истории Ямальского Севера нами пока встречено не было, выскажем версию (которую сами же и попытаемся при случае проверить), что исследователь Н.Г. Кудрин, возможно, был сыном того самого «толмача» Г. Кудрина.

Часовня является одним из свидетельств миссионерской деятельности. В 1895 году, докладывая на заседании миссионерского братства в Обдорске, профессор Якобий изложил, что ранее было предположено устройство трёх миссионерских станов с интернатами «для инородческих детей». Один – в самом селе Обдорском, другой – в юртах (в данном случае – бревенчатые жилища ханты) Шурышкарских. Третье место определено не было. Из всех предложений по третьему месту – Хэ, Шуга и Надым – профессор высказался за последнее.

В подтверждение своего мнения профессор, во-первых, отметил, что под словом «Надым» понимается не одна река, а вся местность, орошаемая ею. Далее он перечислил несколько преимуществ Надыма: относительно прочей окружающей местности тёплый климат, наличие лугов и центральное положение во время перекочёвок самоедов. В те времена через Надым проходило со своими стадами около пятисот кочевых семейств ежегодно. Вывод профессора гласил: «Миссионерский стан следует строить не в Хэ, не в Шуге, а именно в Надыме, по всей вероятности, южнее «хой-йоша», у среднего течения р. Надым, в области кедровых лесов».

И всё-таки, дело кончилось тем, что миссионерский стан создали в селе Хэ, на берегу Обской губы. Там же на смену молитвенному дому был в 1908 году построен Никольский храм.

В истории православия надымскому селу Хэ суждено было сыграть драматическую роль: с 1927 по 1930 гг. здесь пребывал в большевистской ссылке глава русской православной церкви митрополит Пётр Крутицкий (и не только он).

Вернёмся к нашей часовне. Еще одна надпись в ней, вырезанная ножом, сообщает: «1912 г. 3 нояб. иеромонах Никон был».

Отцы-миссионеры круглогодично разъезжали по тундре с проповедями. Летом это делалось на лодках или редких тогда пароходах, а зимою на нартах. При этом миссионеры возили с собою походную церковь, которая представляла собою фактически брезентовую палатку, внутри которой устанавливалось всё для убранства церкви, а точнее – для совершения служб, минимально положенное.

В «Отчёте Тобольского Епархиального Комитета Высочайше утвержденного Православного миссионерского Общества» за 1914 год среди прочего сообщается два факта: «С 6 по 9 января состоялась поездка иеромонаха Никона из Хэ до Нарэ и обратно». «С 19 по 23 января состоялась поездка иеромонаха Никона с псаломщиком И. Соколковым из Хэ до Обдорска».

Надым – не то место, где сегодня имеются залежи исторических документов, поэтому в данную минуту приходится пользоваться только личным архивом, который позволяет описать детали упомянутых поездок. Но если

переместиться, например, в Тобольск, то, скорее всего, можно обнаружить подробности именно той поездки иеромонаха Никона, когда в начале ноября 1912 года он побывал в обнаруженной много десятилетий спустя надымчанами часовне.

Вероятно, можно найти и подробности возведения часовни. Ведь, например, имеющиеся у нас документы (копии) от 11 сентября 1888 года сообщают, что «1-й гильдии купец Иван Николаевич Корнилов отпустил для дома псаломщика и миссионерского дома в Хэ кирпичи и плахи пыльные на общую сумму в 280 рублей». Кроме подобных финансовых документов и в миссионерских отчетах строительство часовни обязательно было отражено. Они просто ждут своего исследователя.

К слову сказать, тобольский рыбопромышленник И.Н. Корнилов долгие годы настаивал перед епархиальным начальством о превращении в духовный центр края, восточнее Обдорска, именно территории Надымского района в противовес мнению об устройстве такового в долине реки Таз. В итоге по-корниловски и получилось.

А «Ежегодник Тобольского губернского музея» в далеком, 1917 году опубликовал очерк своего сотрудника Григория Матвеевича Дмитриева-Садовникова «Река Надым». Он за год до этого провел экспедицию в долину названной реки и, в частности, писал: «Верстах в десяти от Иовеля, по левую сторону Ередея, в материке есть часовня; в ней две иконы – Гурия и Николая Чудотворца и распятие. Место часто посещается в зимнее время».

Поясним. Во-первых, Ередем в начале XX века называли ту реку, которую мы сегодня называем Ярудеем, это ясно при сравнении карт того и нашего времен. Во-вторых, Иовель – это Иовель (Ивлий) Васильевич Филиппов, который в начале XX века жил с семьей и вел хозяйство на том участке побережья реки Надым, который и сегодня называется Ивлевскими песками. От них до найденной нами часовни действительно около одиннадцати километров. В общем, сомнений никаких: Эдуард Юрченко, Вячеслав Горохов и Евгений Игошев обнаружили настоящий памятник истории и культуры, важный не только для нашего района.

Конечно, маленькая часовенка – это не целый город Мачу-Пикчу в Андах. Не те масштабы и никакого мирового значения. Но из сохранившихся сегодня это самое древнее деревянное православное сооружение на территории ЯНАО, если вообще не во всей Тюменской области в широком понимании. И то, что оно не рухнуло, не сгнило и не сгорело в череде лесных пожаров, не было уничтожено вандалами и не оказалось разобрано на дрова регулярно кочевавшими мимо оленеводами – удивительно.

Вот только упомянутых икон в часовне не оказалось. Может быть, в годы гонений на церковь их прибрал и сохранил кто-то из верующих. Скажем, какой-нибудь житель соседних сел Хэ или Нори.

У этой истории нежданно случился трагический эпилог из-за того, что в нашем мире существуют сумасшедшие в самом скверном смысле слова. Один из них открывателя часовни Женьку Игошева, добродушного парня, художника и романтика вскоре убил. Беспричинно и зверски. В той же местности.

А у меня перед глазами весенний денек и надымская женькина квартира, где он демонстрирует свежие фотографии еще невиданного мною открытия: «Вот, видишь, надпись, гляди, с ятями... вот тот самый пень... вот на этом месте стоял крест... Это же та самая... девятнадцатого века! Я не ошибся?». Нет, Женя, ты не ошибся.

* * *

После окончания ледохода мы добрались до часовни с Гороховым. Потом чуть не ли год факт находки никого не интересовал, и вдруг прорвало. Патриархия разместила материал о часовне на своём сайте. Трижды нам позвонили из ИТАР-ТАСС, взяло интервью Уральское информационное агентство, прилетела съемочная группа ОРТ.

А между обнаружением и короткой вспышкой ажиотажа выяснилось, что ненцы-кочевники всегда знали, что часовня – это часовня. Они и называют её – «хэхэ мя», то есть – «священный чум (дом)». Они рассказали, что некоторых аборигенов-старожилов там крестили и что по сей день периодически рядом с часовней устраиваются обряды жертвоприношения. Налицо уважительное отношение.

Поселенец расположенных неподалеку Собачьих соров, Иван Вэлло поведал, что в шестидесятые годы один сумасшедший, который пас небольшое личное оленьё стадо в окрестностях, сломал на часовенке крест и превратил её в склад своего промыслового инвентаря. Фамилия и имя этого уже умершего человека известна, называть не будем. Скажем лишь, что мы обнаружили внутри поплавки, крючки и прочее, вероятно, принадлежавшие именно ему. Наверное, это он сломал часть крыши и прорубил потолок под установку печной трубы. Так что упаси, Господи, часовенку от следующего сумасшедшего!

ИЗ НАДЫМА ЧЕРЕЗ ТРОЮ СО ШВАРТОВКОЙ У КАФЕ

*Скрылся за кормою Севастополь –
Город славы русских моряков.
Посмотрев на мир через бинокль,
В Чёрном море свой победный вопль
Проорал татарин Барсуков.
Песнь о великом походе*

Места у нас не гавайские. Если не с декабря, то уж с февраля точно всякий северянин начинает мечтать о лете и строить на него свои планы. И редко они связаны с родными болотами.

Расхваливая в предбаннике надымскую строганину, гостивший московский профессор Житков уговорил совершить путешествие на его яхте. Сказал, что не пожалеем.

– Три моря за раз пройдем. Представляете?

– Хорошо, – окончательно сдались мы в парилке и с думой о субтропическом зное шагнули в полярный мороз.

Я никогда не ходил под парусом. Товарищ никогда не видел моря. А мы согласились на круиз Севастополь – Черное море – Босфор – Стамбул – Мраморное море – Дарданеллы – Эгейское море и то же самое в обратном порядке.

* * *

Спустя шесть месяцев – полный набор: синее небо, слепящее солнце и бирюзовые волны. Всё это – вот оно, даже руку протягивать не надо. Только щурься.

За плечами – двое суток хода и приятных водно-дачных впечатлений. Периодические штилы. Русская служба Би-Би-Си и турецкие мотивы из транзистора по вечерам. Обилие вкусной еды. А потом – шелковые закаты и ночи черные, как мазут.

«Нейтральные воды. Нейтральные!» – с удовольствием мычу, наслаждаюсь. Никогда не думал, что окажусь в ней-траль-ных (ох, какое словечко!) водах. Чудно!

Теоретически можно, например, прыгнуть за борт и тонуть в совершенно бесхозной акватории, вне всяких зон ответственности. Но на фиг надо, жизнь прекрасна!

Ветерок. Яхта «Виктория» с плеском режет воду.

Сажу на палубе, цитирую себе под нос вчерашний пассаж Женьки Смирнова:

«На зюйд-весте был пролив турецкий,

Вечно летний закордонный берег.

На норд-осте в тундре таял снег...»

Что там дальше, не помню: «молодецки... ковчег...»? Ну, да Бог с ним!

– Вадим! – орёт с кормы литератор Смирнов. – Иди быстрее, налили уже.

На борту нас девять. Всех уже устраивает размер парусника, хотя, увидев его впервые в севастопольской Казачьей бухте, кое-кто ужаснулся: «И на этом через три моря?!». Нам нравится, что оба рулевые – коренные севастопольцы, морские офицеры запаса. Один – Василий – всю жизнь проходил на крейсере Черноморского флота. Второй – Виталий – на атомной подлодке Северного. Виталий, кстати, сказал, что подводники – не моряки. В силу особенностей навигации и частоты вдыхания свежего воздуха они скорее космонавты.

Любопытно, что еще в юности, аж в 1959 году Виталий был статистом-ныряльщиком в фильме про человека-амфибию. «Во-он там!» – показал он, когда мы, покидая Крым, обходили какой-то мыс.

Еще Виталий скупо сообщил о личной трагедии. Пару лет назад его единственный сын, подводный спецназовец, погиб во время учений на Дальнем Востоке.

В целом же, морские волки стараются ничем нас не загружать и в основном рассказывают местные байки. Например, о том, как некая субмарина в Севастополе дважды в течение года утонула на мелководье. Никто не пострадал, но и служить на ней желающих не стало. Несчастную порезали на металлолом.

Мне по рекомендации друзей позволено стать коком. Я стараюсь, варю борщ и плов. Потом мы расписываем в кубрике «тысячу».

– До Босфора осталось миль сто шестьдесят и все хорошо, – предварительно итожит Радик и уточняет, – все хорошо: море, мили, узлы, закуска. Вот только Смирнов жульничает в карты.

Женька Смирнов вину отрицает, пригрозив, впрочем, на самом деле провиниться, если на него не перестанут клеветать.

При этом глазки у оппонентов масляные. Отдых проходит душевно.

Вчера было два значительных события. Во-первых, с утра идущую яхту окружили дельфины. Вызывая восторг, десяток афалин сопровождал нас где-то с полчаса. Потом мы им наскучили, и они отправились собственным путем. Море вновь стало пустынным, если не считать пластиковых бутылок и пакетов, изредка попадавшихся по курсу и иллюстрирующих степень загаженности планеты человеком.

Во-вторых, перед обедом бросив за корму длинный фал со спасательным кругом, мы купались. Особенность купания состояла в том, что, судя по лоцманской карте, под нами при этом была глубина два километра восемьдесят пять метров. И не хочешь, да задумаешься.

А водичка показалась теплее, чем в Севастополе. Все-таки, ближе к средиземноморью.

Третий день пути. Время к обеду. Показался берег, и в дополнение к российскому мы подняли красный флаг со звездой, опоясанной полумесяцем. Как того требует международный этикет.

Разойдясь с нами, в полумиле проследовал сторожевой катер. Яхта почему-то осталась ему безразлична. «А где «железный занавес»? – растерянно подумал я. – Где черноусые стражи с каверзными вопросами на чуждой мове?».

Но катер ушел к нейтральным водам, а наша палуба сохранила девственную экстерриториальность. Никакого досмотра, никакой проверки документов, никакой гортанной тюркской речи. По-прежнему мы ласково окутаны домашней обстановкой и русским языком «адмирала» Житкова: «Да не туда, твою мать! Занеси все это в штурманскую!». И женщина Ольга молча спускается с лоцманской картой и линейкой в чрево парусника.

Наш коллектив глазееет на вырастающую из моря и сквозь дымку далее все более обретающую зеленый цвет сушу. Берег становится ближе. Стали четко различимы два старинных, средневековых форта, охраняющие вход в Босфор. Виталий опять стоит за штурвалом и с важным видом знатока комментирует:

– Вот эту крепость еще Ушаков брал.

– А как она называется, – спрашиваю.

– Не помню, – расслабляясь, смеется Виталий.

Мы запускаем двигатель и скручиваем паруса, потому что в Босфоре под ними ходить запрещено. Освободившаяся от давления ветра яхта приобретает на волнах легкую бортовую качку и в такой пританцовывающей манере, тарыхтя дизелем, не спеша суется в пролив.

«Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем...» – глядя на кильватер, вспоминаю признание Есенина. И тут же мысленно бахвалюсь перед покойным классиком: «А вот мне повезло». Потом, цепляясь на корме за стальную лесенку, уходящую под воду, сую туда же пятки. Окликаю народ:

– Вы видите, что я в Босфоре ноги мою?

Народ оборачивается, улыбаясь.

На берегах показался праздник по имени Стамбул. Под субтропическим солнцем красивые и разноцветные, как фантики, плотно, плечом к плечу поставленные особняки разных стилей ползут от воды в гору, густо крытую южным лесом. Дальше по курсу видны серые минареты мечетей. Бесконечно тянется крепостная стена византийских времен, вдоль нее по низенькой набережной снуют авто. Чередой выстроились открытые кафе с людьми за столиками. Некоторые из них лениво смотрят в нашу сторону.

По всему видно, что погода здесь бывает только замечательной. Глазам открывается непостижимый для россиян уют. Очевидное кажется нереальным блаженством. И мы входим в это блаженство.

На бакене, который яхта едва не чиркнула бортом, сидит, деловито вертя головой, большой черный баклан – первый встреченный нами поселенец Турции.

– Смотри! Справа от нас – Европа, слева – Азия! – подбоченясь одной и театрально поведя другой рукой, изрекает Радик. Мне остается глупо ухмыляться. Переживаю что-то вроде культурного шока.

Проходим под навесным мостом с пролетом немислимой, полуторакилометровой протяженности. Житков замечает, что мост проектировал инженер Керенский – сын того самого, Александра Федоровича. Миновали устье бухты Золотой рог, остались позади справа храм Святой Софии и Голубая мечеть. Впереди показался выход в Мраморное море и там дальше, слева – Принцевы острова. Вспоминаем – это где изгнанный Сталиным Троцкий в 1927 году сидел.

Попутчицы-москвички, насмотревшись красот и вытянув ноги под мачтой, радостно и громко затягивают балладу про нечаянную приморскую беременность:

– Ой-ёй, в глазах туман, кружится голова-а...

Русские бабы и в Турции – русские бабы. В песнях те же «страдания».

* * *

После полудня. Стамбульский яхт-клуб «Atakey marina». При входе в его акваторию сделали три круга, пока, наконец-то, нас заметили и проводили на место стоянки. При этом впереди шла под мотором большая надувная лодка со скучающими турецкими мужиками. Мужики были без служебного лоска и опознавательных лычек. Не фасонистые, не то что наши.

И процедура проверки документов характер носила, если сказать – формальный, то это значит – ничего не сказать. В отличие от родного Севастополя скрученные паруса никто не щупал и в сумки никто не посмотрел. Краем глаза глянули на стопку паспортов, улыбнулись и похвалили судно: «Настоящая деревянная яхта».

«Виктория», действительно, сделана из красного дерева, которое, говорят, не любит кушать морской червь. И только палуба согласно морской технологии сотворена из тика, поскольку тик имеет противоскользкую особенность при намокании. По мне, так сей парусник – просто шикарен.

Но наш тринадцатиметровый кораблик окружен сотнями стоящих у причалов других парусных и моторных яхт. Глаза разбежались. Разнообразие и великолепие. По сравнению с половиной из этих агрегатов символ нашего представления о роскоши – «Мерседес-600» – недорогая консервная банка. М-да-а...

Но пора и в город выйти. Толчемся в тесном кубрике, собираемся. Надеваем свежие футболки.

– Ребята, вы не видели мой загранпаспорт?

– На какого хрена он тебе нужен?

– Как это? Мы же за границей! А я еще и турецкого не знаю!

– Обойдешься русским. И кого, к черту, интересуется твой паспорт! Не дай Бог, потеряешь. Мы еще никогда документы с собой не таскали.

– ???

– Чего стал? Давай, шагай!!!

Гурьбой выходим за пределы яхт-клуба в шум мегаполиса. С этой стороны город опоясан трассой, по которой несется поток машин. В нем много ярко-желтых авто размером с «Жигули», это такси. Поднимаемся на виадук, там стоят цыганки. По виду такие же, как и в России, только без самодовольства на физиономиях и без орденов «Мать-героиня» на блузках. И протягивают они не ладони за подаванием, а розы. Вопрошаю попутчицу:

– Ленка, что это значит?

– Не вздумайте брать, – отвечает командой бывалая туристка из Москвы, – а то не отвяжутся!

* * *

В стамбульском общественном транспорте почти нет женщин. А в электричке – их нет совсем. На весь вагон только три девицы из нашей команды. Все остальное пассажирское содержимое – смуглое и черноусое.

Выходим. Магазины нас не интересуют – лишь поглазеть при случае. Поэтому с вокзала по прямым и кривым улицам направляемся к осколку Византийской империи, к осколку того самого Константинополя, который на Руси звали «вторым Римом». Направляемся к храму Святой Софии, по-турецки – Айя Софии.

Святая София – единственное сохранившееся здание VI века на Земле.

Обалдеть! При этом Голубая мечеть, построенная тысячу лет спустя, – процентов на сорок мельче. Масштаб у Софии такой, что петербургский Исаакиевский собор в сравнении с ней – подросток. Жаль только, что турки изуродовали храм изнутри: соскоблили фрески, навесили какие-то дурацкие круглые щиты с арабской вязью. Вот судьба – девятьсот лет это был христианский храм, а потом пятьсот лет – мечеть. В последние же десятилетия его превратили в музей истории религии. Но почти за полторы тысячи годков так намолено, что какой уж там «музей»!

Через час выходим из храма во дворик. Там мраморные надгробия с греческими письменами. Разглядываем. Рядом – какие-то диковинные деревья. Тихохонько тырю-прибираю несколько семян в карман – авось в России прорастёт.

Вдруг по всему городу из репродукторов начинает голосить муэдзин. «Да, да, – вспоминаю, – намаз бывает пять раз в сутки». К некоторому моему удивлению, никто из стоящих и проходящих турок в ответ на призыв к молитве не раскатывает коврик и не падает на колени. Жизнь Стамбула продолжает течь без остановки. «Понятно, – отмечаю, – видно, что Турция – государство светское».

В ста метрах от Софии – кафе. Отходим, садимся, пьем пиво. Рядом какой-то невзрачный домик размером с павильон у надымской остановки, только каменный. Через некоторое время отдаю себе отчет, что за полчаса туда вошло около сотни человек, и при этом никто не вышел. «Как они там помещаются и что им там надо?».

Оказалось, что «домик» – это вход в подземное водохранилище античных времён размером с половину футбольного поля. Выход отдельный. Своды поддерживаются классическими колоннами. Раньше на них горели факелы, теперь – электрические фонари. Из неглубокой, прозрачной воды глазают на туристов, лениво двигая плавниками, здоровенные зеркальные карпы. В гулкой тишине огромного подземелья, глядя на высеченный из мрамора древний лик, и не подумаешь, что на всё это давит сверху огромный город, бегут авто и ультрасовременные трамваи.

Кстати, стамбульские трамваи фешенебельны. Да, фешенебельны – подходящее слово. Чеховский хозяин Каштанки сказал бы что-то вроде «наш трамвай супротив ихнего, как плотник супротив столяра». Что есть, то есть. Без преувеличения. Вот, скажем, чистота на улицах не лучше российской: сигаретные окурки повсюду. А трамваи – класс. На таком трамвае мы и едем на рынок, который у моста Галата через бухту Золотой рог.

Стамбульский рынок – это музыка там и сям, гортанные крики и горы вкуснятины. Лично меня поразило не обилие золота, не полсотни сортов лукума на одном прилавке. Я обалдел от разнообразия в лавке пряностей. Именно в этой лавке стало кристально ясно, почему на востоке не едят русские щи и белорусские драники. Для них наши вкусы – такая же святая простота, как для нас – традиционная пища чукчей.

* * *

Интересный эффект, который потом был обнаружен всюду: спрашиваешь по-русски, тебе отвечают по-турецки, но всё всем понятно.

Сказал «Россия» – оживляются, добавил «Сибирь» – поднимаются до восхищения. Один англообразованный торговец аж из-за прилавка с горячей речью вылез:

– Ай хэд бин ин сайберия: Омск, Томск, Казахстан. Ван манс. Турист. Рашен гёрлс – красиво.

Что до упражнений в иностранных языках, то у меня они закончились быстро. Попросил в уличном кафе чаю по-английски – официант наморщил лоб. Попросил по-немецки – вызвал ещё большее страдание. Потом лик мастера подноса прояснился и толкует мне по-своему:

– Ты впредь не выёживайся, потому что слово это звучит по-русски и по-турецки одинаково. Так что говори не «Тее» и не «tea», а просто «чай».

Повторяю: произнёс он всё это по-турецки, но я с лету понял. Так и пошло. Например, в нескольких шагах от столика читаю – «Durak minibus». Соображаю – «Остановка микроавтобуса». А там дальше продавец черешни выкрикивает: «Бибиля, бибиля». Это значит... Ну, то и значит! Кстати, вчера наши девушки этого продавца «бибили» чуть не довели до инфаркта. Он-то стал с ними торговаться, потому, что так на Востоке принято. А Зоя с Леной начали торговаться потому, что им в кайф было турка приморить, ведь времени свободного навалом. Ну и приморили. Сначала это был самый оптимистичный и соблазнительный мачо Стамбула. Обтягивающие джинсы, энергичные телодвижения и смеющиеся, с огоньком глаза. На десятой минуте улыбка с лица стерлась, и оригинальные движения тазом по диагонали прекратились. Потом физиономия имела одну тенденцию – темнеть. Сначала раздражением, потом гневом и, наконец, безнадегой. Когда в итоге он узнал, что речь идет о размере покупки всего в полкило, то чуть не заплакал. Кажется, и сегодня он не отошел от вчерашнего: стоит и довольно злобно выкрикивает своё «бибиля, бибиля». Уже никакой сексапильности. Турецкие полицейские – душечки. Ласковые, как баптистские проповедники. Даже в Голубой мечети полисмен кроется стеснительным румянцем, когда видит объектив видеокамеры. А, может, это Ленкино присутствие в краску вгоняет. Темнеет. Возвращаемся на яхту. Барсуков побывал на рыбном рынке, и вот на ночной палубе под «Smirnoff» едим небольшую акулу. Акула-катран – гадость, конечно, редкая. Мочили в яичном белке, потом жарили и теперь жуем из принципа: не всё же акулам нас истреблять, пусть хоть раз будет наоборот. Профессор Житков не участвует в трапезе, а громко ругается матом. Владимиру Александровичу очень не нравится запах. «В Надыме за такого «осетра» тебе бы морду набили», – тыкает он в кока, то есть в меня пальцем.

* * *

Новый день. Под хорошим ветром вышли в Мраморное море. Небольшой шторм: моряки сказали, что балла четыре. Наше суденышко демонстрирует преимущество яхты как конструкции: чем сильнее ветер, тем устойчивее она режет волну. Идёт, так сказать, «как влитая». Только с креном и брызгами. Перекрикиваю шторм, обращаясь к седовласому рулевому:
– Что нужно сделать, чтобы не заболеть морской болезнью.
– Выпить, – кричит в ответ.
– А если не поможет?
– Выпить ещё.
Забрались в кубрик, приняли Scotch wiski «Red lable», закусили арбузом.
– А что, ребята, – спросил при этом Житков, – куда пойдём дальше? Может в Чанак-кале? Там рядышком – гомеровская Троя. Вас интересует?
– Ещё бы!!! – чуть не поперхнулись мы и воодушевлённые опорожнили дополнительную бутылку.
Проснулся я уже в Дарданеллах.
Бурые и желтые, выгоревшие под солнцем склоны Галлиполии напомнили, почему-то, Ставрополье. А слева по борту виднелся полуостров Малая Азия.

Где-то я, кажется, слышал, что человечество здесь приручило лошадь и изобрело штаны.

Поздним вечером подошли к Гелиболу, пролетарскому портовому городку без всякого гламурного налета. Кое-где с высокой пристани турецкие мужики ловили под огнями порта рыбу удочками. Смирнов тут же забросил снасть и вытащил четыре штуки размером чуть более спичечного коробка, но был радостно взволнован. Мы похвалили добытчика.

Отойдя от пристани, я купил в ближайшем магазинчике несколько бутылок пива. Вернулся, раздал товарищам. Откупорил свою и обратил внимание, что на внутренней стороне пробки напечатано четыре каких-то слова. Сравнил с пробками собутыльников. У них слов было по паре. Вернулся в магазинчик, предъявил пробку продавцу. Он глянул на неё и немедленно вручил мне бесплатно ещё одну бутылку.

Не смотря на то, что время клонилось к полуночи, рядом с причалом вовсю шла торговля сувенирами, а в спортивном вольере кипел футбольный матч очень взрослых дядей. А мы с устатку после дороги улеглись в темном кубрике.

Назавтра показался Чанак-кале. На склоне горы, слева над городком исполинскими буквами из белых камней выложена дата – 18 марта 1915 года. Тогда турки опечалили молодого, инициативного Черчилля, устроив кирдык англичанам в ходе местного побоища.

Проходим мимо мола, на котором десятка два семнадцатилетних (на вид) юношей и девушек школьного вида (форма – белый верх, черный низ) посылают нам воздушные поцелуи, а некоторые даже танцуют. Парочка юнцов ныряют перед яхтой в воду и плывут. Не раздеваясь.

В ответ на эту демонстрацию явной дружественности, мы в недоумении машем ручкой. Полагаем, что здешние ребята по флагу судна страну определяют лучше, чем мы у себя по автомобильному номеру определяем регион. И в голове топорщится вопрос: «Где же их заслуженная нелюбовь к России за двести лет мордобитий от первого Петра до последнего Николая?» И просится вывод: «Раз нету, то надо бы и нам добрее быть».

Причаливаем, швартуемся.

Судя по флагам над соседними яхтами, наши коллеги на стоянке слева – голландцы, справа – англичане. Те и другие – пенсионного возраста.

Сервис – очень недалеко. Ближайшее кафе – в четырех метрах от борта. В четырёх!

* * *

Прогулки по Чанак-кале были в разных направлениях. Сначала пошли направо. В каждом уличном «предприятии общественного питания» – пиво. И везде – доллар за кружку. Пробуем. Двигаемся дальше.

За некоей наблюдательной вышкой военной полиции находится скромный военно-морской музей под открытым небом. Дежурный матросик в белой форме застенчиво переминается на палубе старого турецкого эсминца. Среди немногих экспонатов – глубинные английские бомбы и русская торпеда образца 1925 года. Рядом высится крепость. Под её стеной – пушка невообразимых размеров.

С высокого пирса парень ловит мидий. Ловит очень просто: бросает в Дарданеллы большой тройник, привязанный к толстой леске, и вытягивает по две-три-четыре раковины каждый раз. Складывает улов в корзинку. Вспоминаю, как в «Atakey marina» нас дразнили косяки крупной кефали. Закрываю: «С голоду тут не померёшь».

Проходим вдоль дальнего края набережной. На лавочке сидят местные девчонки и явно строят глазки. Мелькает дурная мысль: «Не похож ли я на разведённого Абрамовича?»

Возвращаемся на «Викторию». К этому времени жара спадает, ласковое светило клонится к закату. На пристани собирается рыбный рынок, где все плещется и шевелится в широких, мелких посудинах. Над ними стоят вечерними продавцами те, кто днём был тружеником моря. Они не просто загорелые, а почти обугленные под солнцем. Мы долго выбираем товар, потом на яхте варим и едим каких-то трубчатых моллюсков. Вкусно, но из-за отсутствия опыта разделки несколько хлопотно.

С девяти вечера – вся набережная заполнена народом. Чинно гуляют разновозрастные пары, играет музыка, работают кафе. Мы подумали, что угодили на общегородской праздник. Но позднее оказалось, что такое – каждый день. Не то, что у нас в России.

Мы втроем настолько порадовались за турок, что сидели на палубе яхты почти до рассвета. А утром предстояло ехать на раскопки легендарной Трои. И поехали, соответственно, не выспавшись и не проветрившись.

Такси гонит за городом быстро. Мелькают поля и сады. Я снимаю видео. Историк Радик читает продавщице Ольге краткую лекцию по Троянской войне. Приехали. Ой, что сейчас будет?!

Там, где нас высадил таксист – музейный павильон. Он вызывает наше недоумение. Три-четыре планшета, один макет и десяток скромных экспонатов типа фрагментов керамики. Рядом спит в тени помещения маленькая, беспородная собачка.

Идем дальше.

Недоумение от площади раскопок. Складывается впечатление, что они составили менее половины площади всего исторического памятника.

Но раскопки идут и сейчас, только опять же вызывают недоумение. Работают только четыре человека. И это при таком колоссальном объёме культурного слоя!

Получается, что после знаменитого исследователя Шлимана всем на Трою стало наплевать, хоть и написано про неё столько, сколько ни про один другой объект археологии.

Ну, что ж... Всё равно – это та самая Троя, про которую рассказывают школьникам и студентам всего мира. Насладимся.

Смирнов подходит к толстущей стене, сложенной задолго до нашей эры и, упираясь обеими руками, говорит: – Раскачаем?

Мы сомневаемся:

– Женя, она, черт знает, сколько тысяч лет простояла, не раскачалась.

Тобольский человек Смирнов идет дальше. Надежда раскачать и завалить чего-нибудь его не оставляет. Ахиллес наших дней!

Барсуков, хлебнув под тенью огромного инжира минералки, заново начинает лекцию про ахейцев и троянцев. Особо упирает на роковую красоту легендарной Елены. Получается, как всегда – шерше ля фам.

Нагулявшись, бредём к троянскому коню. Конечно, этот деревянный аргамак восьмиметрового роста – не исторический оригинал, про который мифы сложены и песни поют, а турецкий новодел. Но выглядит колоритно.

Забираемся по лестнице вверх, в чрево. Садимся на лавочку где-то внутри конского крупа, отдыхаем. Немногочисленные иноязычные туристы периодически пробираются туда-сюда по лестнице, недоуменно и стеснительно косясь на нас.

Ольга подмечает:

– Если бы такая лошадь стояла в России, то в ней висела бы табличка – «Приносить и распивать категорически запрещено».

Хохочем.

Радик угрожающе шутит:

– А я вот сейчас нацарапаю тут гвоздиком одно слово.

Опять хохочем.

Ольга достает из пакета бутерброды, Евгений – одноразовые стаканы.

– Ну, за Елену Троянскую!!!

Проходящий мимо европейский джентльмен в шортах, глянув на нас, спотыкается:

– Excuse me!

– Да ладно, чего уж там, дядя...

Путь обратно в город показался значительно короче.

* * *

Мы простояли в Чанак-кале почти трое суток.

Очередной вечер, опять умильные массовые гуляния на набережной.

Наступившей ночью я в качестве эксперимента ушел один в городок, прошел его весь до полного отсутствия фонарей, до огородов, упирающихся в лес на горе. Здесь практически ни черта не было видно. Обратно к морю двинулся другим путём. В какой-то старинной, полуразрушенной каменной казарме, где, двести лет назад жили, наверное, янычары, шла дискотека. Рядом переминались с ноги на ногу группки молодых людей. Претензий ко мне ни у кого не имелось.

Утром проснулся от окрика Житкова. Сообразил, что нужно выскакивать на палубу с камерой. И точно: навстречу, совсем рядом, в надводном положении по Дарданеллам шла угрюмой черной косаткой НАТОвская подлодка.

Только-только выглядывало солнце. У храпящего под мачтой Барсукова на могучем животе дремала развернутая книга Джульетто Къезы «Прощай, Россия!»

Я снял всё это на видео и пошел досыпать. В близкой перспективе (часа через три-четыре) намечалось Эгейское море.

* * *

Обалденный цвет воды в Эгейском море – цвет индиго. Мы стоим у пирса острова Бозджаада, который греки называли Тенедосом. В гавани прозрачность воды до дна, где мы видим морских ежей. А дно здесь в шести метрах. Плавать не нужно, вода сама держит. Лежи себе, да и лежи. Например, в позе лотоса. Рядышком – кафе под тентом, где местные джигиты проводят время за игрой в нарды. Как принято в Турции, на столиках у них при этом крохотные стаканчики с чаем. В безветрии звучит старенький, сладостный «Отель «Калифорния» группы «Иглс». Земной рай, да и только.

За прошедшие дни мы увидели достаточно, чтобы делать обобщения. Одно из очевидных: в приморской Турции мужики – бездельники. Женщин на улицах почти не видно, вероятно, потому, что они работают на дому или на производстве. А мужчины – на рынке или в кафе: продают, подают, пьют чай или курят кальян. Некий намек на женскую раскрепощенность присутствует только в эстрадных видеоклипах, где восточные дивы не слишком скрывают телесные прелести. Такие клипы беспрерывно крутят почти в каждом баре. Но опять же для мужского пола.

Искупавшись в гавани, идём на экскурсию.

Посреди городка – стела, посвященная основателю современной, то есть, не султанской, а республиканской Турции – Мустафе Кемалю Ататюрку. И в Стамбуле, и в Гелиболу, и в Чанак-кале, и здесь его портреты и памятники встречаются так же часто, как в СССР встречались изображения Ленина. Даже чаще. Портреты Ататюрка висят буквально в каждом офисе, гостинице, магазине, на телефонной станции. Одним словом – культ.

Направляемся в местную крепость-музей. На входе – неперемный портрет Ататюрка и сопутствующая продажа местного вина. Его мы купим на обратном пути.

Лазим по крепостным стенам, претерпевшим за столетия византийцев, генуэзцев, греков и турок. А в восемнадцатом веке еще и русских матросов под водительством адмирала Ушакова. Интересно, как называли остров при нём? Во дворе крепости пара мужиков лениво роет канаву. В отвал постоянно летит керамика. «Да, – думается мне опять, – к археологическому наследию относятся без трепета. Наверное, потому, что оно – греческое. Не признавать же себя нынешним жителям потомками оккупантов».

В верхней половине форта – старинное кладбище, надгробные плиты то с греческим письмом, то с арабской вязью. Посмертное «общезитие» бывших врагов. А вокруг – седые стены, вечное небо и тишина. Впечатляет.

Затем мы гуляем по улочкам. В отличие от Стамбула тут чистенько. Туристов не видать вовсе. Кстати, не считая парома, курсирующего ежедневно до малоазиатского побережья и обратно, наша яхта здесь – единственное судно. Остальные плавсредства – лодчонки рыбаков.

Народа мало. Опять одни мужчины. Редкие встречные исключительно вежливы, даже услужливы.

Забираемся на окраины городка. Тут он ещё безлюднее и совершенно сонен. Так обычно дрыхнут в деревенскую жару, забравшись в тенёк после сытного обеда.

В огородах пусто. Только кое-где ходят куры, да под грушей за высокой каменной оградой стоит привязанная на веревку коза. Чувствуется какая-то непроходящая сиеста. Никто нигде не трудится. «Конечно, – завистливо думаю я, – им не нужно на зиму дрова заготавливать. И валять нужно не валенки, а разве только своего турецкого Ваньку».

Спускаемся по узенькой, кривой улочке, вымощенной булыжником. Среди благоухающих буйным розовым цветом кустарников натываемся на небольшую двухэтажную гостиницу.

Кажется, она без жильцов. Черепичная крыша, почерневшие от времени деревянные ставни. Рядышком – минарет, с которого динамик только что призывал к намазу. В тесном фойе – полумрак, в оконное стекло изнутри бьётся муха, на стене висит схема острова. Рядом, у стойки скучает местный абрек. «Пожить бы тут годик на пару с компьютером, – мысленно фантазирую я. – Полное отсутствие суеты. Глядишь, и написал бы чего-нибудь».

Признаюсь о фантазии Житкову.

– Хочешь быть Горьким на Капри? – ехидничает Владимир Александрович.

– Хочу.

– Погоди, сейчас спросим, сколько это стоит.

Жду Житкова на улице. Выходит.

– Можно договориться за тридцать долларов в месяц.

На маленькой площади – «блошинный рынок». У седоусого старца в феске среди кучи барахла вижу деньги, выпущенные «правительством вооруженных сил юга России» – 1919 год, нумизматическая редкость. Явно какой-то врангелевец бежал от большевистского суда через этот островок и бросил купюры за ненадобностью.

На электрических проводах наблюдаю щегла, который заливается нескончаемой песней. Надо же! Прямо, как из моего детства. Может, он – тоже эмигрант?

На другой день смываюсь от компании. Ухожу за городок, поднимаюсь на самую высокую точку. Здесь – развалины ещё одной крепости и остатки маяка. А также колючки и не по-морскому сухая жара.

Отсюда на все триста шестьдесят градусов видно, что мы, действительно, на острове. Посреди бескрайней синевы, а вернее, как было отмечено ранее – посреди индиго.

* * *

По вечерам мы отдыхаем исконно по-русски. Начинаем и заканчиваем на борту «Виктории». В серединку вклинивается кафешка или ресторан.

И не случайно в начале последнего на острове вечера из кубрика с листком бумаги вылез поэт Смирнов:

– Эй, на барже, послушайте!

– Чего ещё!

– *Крен у яхты – восемь градусов,*

Чаек в море не видать,

А под нашим белым парусом

Тихий плеск и благодать.

*Там, в Надыме – одуванчики
Светят желтыми головками,
А в Эгейском море мальчики
С алкогольной сноровкою.
И привычки неприличные
Среди греческой жары
Выдаются за обычаи
Приполярной стороны.
Там, в Надыме тротуарчики,
Девки с лёгкою походкою,
А в Эгейском море мальчики
Злоупотребляют вод...*

– Хватит! – обрезаю я. – Хватит нам реализма и без рифмы!

Смирнов непреклонен и после секундной паузы, глянув в бумажку, старательно заканчивает, ехидно снизив темп:

*– Заблудились в море зайчики,
Хлопнул парус, галс меняючи,
А в Надыме одуванчики
Полысели, ожидаючи.*

Повисает тишина. Автор зрит в наши невозмутимые глаза:

– Ну, как?

– Сойдет, – говорю я.

– Сойдёт за клевету, – уточняет Радик.

– Бери стакан! – говорим оба.

До конца морского путешествия оставалась неделя, до встречи с Приполярьем – две.

* * *

Через полтора месяца из семечка, подобранного у константинопольского храма Святой Софии, на надымском подоконнике стало расти дерево. Сейчас оно вымахало уже с метр, а я до сих пор не знаю, как называется.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Мама рассказывала, что когда она была беременна, то купила лотерейный билет и загадала: «Если выиграю, то ребёнок будет счастливым».

Выиграла авторучку.

Может быть, авторучка – это символично, и символика оправдывается?

На днях позвонили из издательства: «Мы читали вместе. Очень понравилось. Только, пожалуйста, чего-нибудь сочините для завершения. Понимаем, что вы еще живой. Но всё-таки...».

Да, живой. Живы и многие другие, чему я очень рад. Но, как ни странно, всё это в какой-то степени на самом деле мешает книгу закончить или считать законченной.

Может, и так сойдёт?

Простите.

СОДЕРЖАНИЕ

«Средняя река» в центре Севера

Звезды Порт-Артура

Гостиница

Поселок

Гриша

Капкан

Школа

Пыльцов

Баляев

Надымский парень Николай Пархомцев

 Зачем напялил «паникёрку»?

 Обычные истории

Мой друг Семенов как-то раз

Ноги с тормозов, вам – взлет!

Валеркины откровения

Бытовые неудобства

Об учении, науке и учёных

Хохол и лесотундра

Из переписки с Александром Рябиковым

Золотые зубы

С ружьем на всякий случай

Медведь на шпалах

Маршрут на двоих

 Какие-то пять километров

 Нейтинские озёра

 Ярохой – Ямбу-то

 Воспоминание номер один: Владимир Романович

 Мелочи жизни

 Воспоминание номер два: «Прогулки парижского буржуа»

 Финиш

Прелесть хорошей погоды

Как я был оленеводом

Северные разности

Фуфаечка

Нагрузка на здоровье

Скучная зимовка в Пангодах

Хоть что-то веселое

Порыбачили

Мистика Мыса Жертв

Город под куполом

Народы Крайнего Севера

Часовня в лесотундре

Из Надыма через Трою со швартовкой у кафе

Вместо послесловия